



Екатерина РУДИК

**НА ПЛАХЕ ГАЗЕТНЫХ ПОЛОС
(Исповедь литраба
«Тихоокеанской звезды»)**

Документальная повесть о журналистах редакции газеты «Тихоокеанская звезда» - живого трепетного участника всех процессов, происходящих в Хабаровском крае. О том, как непросто делалась газета, как расцветали и разбивались о плаху газетных полос журналистские судьбы и имена, уходя в тень, в забвение.

Художественно-публицистическое издание
Приамурское географическое общество
2003

Содержание:

Вместо предисловия. [Пока остаток дней в моем распоряженье](#)

Книга первая. [«Тозовцы» и «Тозовки»](#)

Книга вторая. И вся оставшаяся жизнь:

- [Упала тень на стертые ступени](#)
- [Мы правду вечную искали](#)
- [До каких пор?](#) (Размышления хабаровского обывателя)

«Пока остаток дней в моем распоряжение...» (Вместо предисловия)

В процессе работы над этой рукописью было все – болезни тела и духа, скорые «помощи» с кардиологическими бригадами, что свойственно человеку некрепкого здоровья и преклонных лет. Каждый вечер, ложась спать и страшась не проснуться, оставляла на столе рабочую рукопись с прощальным письмом к дочери, (она не может не приехать проводить в последний путь). Утром воровато его прятала, ведь «слепая дама» с косой предпочитает ночи. Письмо - для страховки, чтобы труд мой не оказался на помойке вместе с другими бумагами. Это письмо, с мотивацией моих действий, может служить предисловием книжки, если она когда-нибудь состоится.

«Милая моя, взрослая дочь. Прости, что огорчила тебя, уйдя. Это когда-то должно было случиться. Не плачь и постарайся долго не горевать. Да еще «нагружаю» этой рукописью. Ты ведь знаешь, что я решительно оставила сотрудничество в газете, куда вернулась спустя почти четверть века, но уже в качестве внештатника. Доконала несправедливая, позорная «разборка» в зале судебного заседания, когда автора и редакцию, защищавших наш край от засилья китайцев, народный суд Хабаровска уничтожал, как мух, под прессом денежных мешков. И гордая, мудрая, но финансово аскетическая газета вынуждена была пойти на унижительное «мировое соглашение» с китайцами, захватившими у одинокого старика хабаровскую квартиру, дачу. Все это возмутило, отвратило от средств массовой информации в эпоху, когда «тихо шифером шурша, крыша едет не спеша». Мои устремления посредством газеты как-то поддержать стариков, обреченных на нищету и беззаконие, вывести на чистую воду хабаровских новороссов, чья скоропостижная собственность ничто иное, как грабеж, оказались никчемной затеей, «предметом фу-фу», как говаривал Чичиков, торгуясь с Собакевичем. И вот уже год работаю над этой рукописью. Боюсь, что не успею завершить, «почистить» стилистику, снять следы торопливости. Такое бывает у пишущих о прожитом, чувств много, - жизнь ой какая многоступенчатая была. Достоверно зная, что мир абсолютно совершенен, а это мы - дисгармония, в едином повествовательном поле рассказать о «святом за душой» тех, с кем пересекалась моя судьба, и документально выстроить события в ясную шеренгу - не всегда получается.

Не обольщаюсь, что опубликовать в книжном издательстве – безнадега, все сидят на финансовой мели. Остается – самиздат. Я тут скопила дерюжку на издание. Ты улыбаешься? Старая мать вечно жаловалась, что недоедает, пенсии не хватает, а сама «закуркулила» валюту. Прости, дочь, есть в жизни нечто выше хлеба насущного. Протягивала ножки по одежке случайных гонораров, ваших дотаций в пользу матери-иждивенки, не сердись, пенсию старалась сберечь, правда, не всегда получалось. Сэкономленных денег вряд ли хватит на издание хотя бы 100 экземпляров книги.

Ты спросишь, – зачем я это сделала? Кому нужна исповедь пенсионерки, рядового журналиста, которого сейчас никто не помнит. Другой коленкор - мемуары поп звезды, секс бомбы. Понимаешь, не могла иначе. В моей жизни, среднего формата, был светлый и значительный этап - малая фабрика гроз и грез, редакция газеты «Тихоокеанская звезда» 70-х - 80-х годов, нелюбовь и «молитвенное» отношение к которой сохранила по сей день. Кроме того, изысканный, многими читаемый и почитаемый «ТОЗ», где прошла моя молодость, - живой, трепетный участник всех процессов, происходящих в Хабаровском крае, его нескончаемой истории. А что знают читатели о тех, кто делал газету? На каком нерве, на какой ноте страстей, амплитуде восторженных надежд, сомнений выходил в свет каждый номер, и чьи журналистские имена, судьбы расцветали или разбивались на плахе газетных полос, сотканных из выстраданных строчек, несправедливо уходя в тень, в забвение. Мне дороги эти имена. И невзирая на то, что после скандала на весь журналистский цех не только Хабаровска, но и СССР, меня «ушли» из «Тихоокеанской звезды», я испытывала неописуемую преданность этой газете, приносившей счастье и боль, поднимала ее на ладонях ввысь, пусть безответно. Вот почему во мне, пожилом человеке, потерявшем вкус к происходящему, вспыхнуло забытое желание ждать восхода загорающегося дня, садиться за старенькую «Оптиму», вновь страдать, радоваться, будто «вскрикнула жизнь» на спуске.

Не сомневаюсь, кто-то из журналистов – звезд старейшей краевой газеты напишет о ней выразительней, объективней, глубже. А я, среднестатистический хабаровский журналист – как господь Бог даст. Удивлена и другим. Не знаю, Кто приказал мне этим заниматься, только уж точно это не старческий каприз. Мало ли любовей, привязанностей было у каждого из нас. Здесь чертеж жизни иной. У меня сохранилось мистическое отношение к творчеству. И вот сейчас, «пока остаток

дней в моем распоряжение», словно Кто-то запряг меня, и когда, к сожалению, так мало осталось сил и внутренней энергии, привязал к печатной машинке. В подтверждении таинственного посыла странный факт – при моей безалаберности, неорганизованности оказалась не выброшенной забытая папка с вырезками из газеты, дневниками и материалами, связанными с моей работой в «Тихоокеанской звезде».

С надеждой, что снова наступит утро, продолжаю путь повествования, продиктованный «законами пепельной памяти».

КНИГА ПЕРВАЯ

«Тозовцы» и «тозовки»

«Одно из преимуществ старости – нравственная свобода»

Все возвращается на круги своя. Банальная фраза, но если обозреть последний кусок жизни, она искрит. Мы повторяем жизнь своих матерей. В этой комнате, узкой, как моя отработанная зажигалка, свой долгий век отживала мама. А сейчас эту противную процедуру - ожидание конца в той же комнате предстоит пережить мне. У мамы было великое преимущество – напоследок с ней рядом оставались родные души – «крошечка и выродок», так называла меня старушка в зависимости от температуры наших сиюминутных отношений, и двое моих детей.

По утрам ей было кому рассказать, как провела ночь, где ныло, кололо, какой сон приснился. И если я второпях, собирая детей в школу и опаздывая на работу, не выказывала живой заинтересованности к ее болячкам и снам, она демонстративно закрывалась в своей комнате. Тогда я была уже не «крошечка», а «выродок» (родила меня последнюю, нежеланную). Вот такие крайности – характеры у нас с мамулей не ангельские, но взаимную обиду долго не держали. После очередного скандалчика вечером встречались на нейтральной полосе – кухне и просили друг у друга прощения. А в субботние вечера готовили вкусный ужин, мама, выпив рюмочку – другую, но не более, с вдохновением извлекала из кармана халата колоду карт и соглашалась поиграть в «дурачка».

А сейчас, если не считать вечно голодной собаки Сабрины, в моей квартире, хотя прописано трое, проживает лишь одиночество и тишина. Сын в возрасте Христа, спасая от окончательного банкротства свое частное предприятие, – почтальоны завалили повестками в суды и налоговые службы – работает по 20 часов в сутки. Приходит глубокой ночью и исчезает тихо, молча утром. Не постучит в дверь моей комнаты, не спросит: «Ты, мать, жива?». Аномалия? А может быть это расплата за мою невнимательность, нетерпимость к старенькой матери-покойнице? Во всяком случае, к подобного рода отношениям сын приучил меня за последние годы. Взамен он, абсолютный трезвенник, девок в дом не водил, обедов и ужинов не требовал. И раз в два месяца на трюмо в прихожей оставлял свою долю за квартплату.

Если бы не эти сыновние дотации, мне оставался один путь: обивать пороги соцзащиты или идти в полумойки. Одно дело мести и мыть в квартире, другое - на заплыванной лестничной площадке на всеобщем обозрении, уподобляясь бабке-ёшке.

А каково бабке-ёшке, если у нее за плечами Ленинградский университет, где в нее вдохнули духовность, возвышенность чувств. Конечно, вздор, что с этими ценностями метла несовместима. В наши-то дни бывшие научные сотрудники, инженеры, несшие в себе такую же духовность и освещавшие ею других, оказавшись никому не -нужными стариками, исправно метут улицы, дежурят на вахтах - жизнь заставляет. Еще каких-то десять лет назад подобное существование не могло присниться даже в самом ужасном сне, но нынче пообвыкли. Более того, если очень постараться: затянуть поясок потуже, не траться на лекарства, сигареты - с нашим пенсионным пособием можно и не сдохнуть с голоду. Но тут возникает препятствие в облике гигантских соблазнов. Наше прежнее существование протекало в «вегетарианские годы» - пустые прилавки, очереди, карточки. А сейчас невиданные по изобилию деликатесы в витринах стали для остро нуждающихся экспонатами, а супермаркеты – музеями. Доступ возможен, но карман пуст, и понятно, что ничего, кроме легкого стресса и ощущения обездоленности, к картофельному меню не приобретешь. Но я упорно отказываюсь идти в полумойки. Это значит предать альма-матер. Во мне

сидит завышенное чувство гордости за свой Университет, много лет назад принявший в здание двенадцати Коллегий девчонку с амурской завалянки.

Господи, было ли это – Дворцовый мост, Университетская набережная, «Симанка» на Васильевском острове, где «студентки живут, крепко водку пьют», Летний сад – как забытье в полусне. А может, привиделось? Реальным остался факт, что иной профессии, полученной на берегах Невы, кроме как журналист, литературный редактор, не имела.

Моя трудовая стезя разделилась как бы на две ясные половины. Первая – выразительная, энергичная с немислимыми взлетами и падениями работа в «Тихоокеанской звезде», а вторая – завершающая, при потушенных фонарях в Академическом институте, который нынче возглавляет известный на Дальнем Востоке ученый Павел Александрович Минакир, где в обязанности ведущего редактора входила скукота: редактирование научных статей, препринтов, монографий и популяризация научных изысканий хабаровских экономистов.

Выйдя в 60 на заслуженный отдых, первые полгода буквально балдела от восторга жизни без будильника. Утром за зимним окном темнотища с морозным треском, а ты просыпаешься, в сердце – ёк! Радость: на работу не идти, на остановках не мерзнуть, в автобусах не давиться, объяснительные не писать, лихорадочно придумывая причины опоздания, – трубу ли в ванной прорвало или соседи сверху затопили.

Сейчас не требуется никаких объяснительных, время без остатка принадлежит тебе. Как сказал Сомерсет Моэм: «Одно из преимуществ старости – нравственная свобода». Ты волен хоть весь день сидеть в кресле, дочитывая толстый журнал, доделывая то, что из-за занятости откладывалось на потом, или разгадывать сканворды. Игнорировать надоевшие емкие на всю семью кастрюли для борща. Питаться по-студенчески, на скорую руку – бутерброды с большим количеством чая.

Однако, начитавшись и насладившись свободой, одиночеством, внутренний голос потребовал сформулировать самой себе объяснительную на предмет ничегонеделания – можно ли так проживать и дальше? Я еще не догадывалась, что ко мне пыталась вползть смертельная болезнь. Участился кашель по ночам – явление естественное для злостного курильщика, неожиданное головокружение – еще бы, в меню никаких яблок и особых калорий. Да и годы – седьмой десяток – никуда не денешься.

Осознание того, что я элементарно тунеядствую, весьма беспокоило и вносило дискомфорт в размеренную жизнь. А тут при всей экономии обнаружила, что до пенсии неделя, а холодильник пуст, в кармане ни рубля, и заварки купить не на что.

Однако реальная перспектива нищеты не привлекала. Оставалось одно – вспомнить любимую профессию. Выбрать актуальную для газеты тему. А их нынче прорва – реформа в клювике принесла разрушение всех нравственных координат, наглое попрание прав человека, расцвет мошенничества, жлобский социальный передел, ввергший достойных людей в нищету. Человек с пером оставаться безучастным не может. Мое сердце не разучилось принимать сигналы о бедствии. Вот только бы победить страх перед чистым листом бумаги, написать первую строчку и переступить порог любимой и ненавистой редакции, чего я не делала сто лет.

Ведь в «Тихоокеанской звезде» прошла трудную счастливую школу большой журналистики, а точнее, университет чувств, интеллекта, праведной или несправедливой борьбы за «золотое» перо. Под незримой, но ощутимой опекой с хлыстом и душевным теплом незабвенного «отца Федора» – редактора Федора Георгиевича Куликова.

«В журналистику не с бухты-барахты»

Мы пришли с Ф. Г. Куликовым в «Тихоокеанскую звезду» в один и тот же год, конечно, в разных ипостасях. Он, – будучи редактором из Биробиджана. А я, пройдя в районной газете «Горняк Севера» первый трудовой этап в качестве молодого специалиста, временно безработная. Насладившись романтикой колымских золотых полигонов с бывшими зэка, жгучих морозов, когда слышен шорох звезд, и почувствовав, что вырастаю в эту экзотически суровую землю – еще годок к двум северным, отработанным после университета, – и никакая сила от колымской трассы меня не отлепит, а родители старые, настоятельно звали – усилием воли собрала вещички, взяла билет, на

прощание побывав на озере «танцующих хариусов», вылетела в Хабаровск. В неведении, где зарабатывать на хлеб насущный, «Тихоокеанская звезда», по особым причинам, была сверхмечтой. На счастье, встретила этого удивительного человека. Но поначалу Куликов мне таким не показался.

Если М.М.Фрадкин – ответственный секретарь, к кому не без робости и без всякой надежды пришла наниматься, узнав, что я располагаю дипломом, где значится специальность «журналист», будтожданного гостя, с энтузиазмом, повел, взяв под локоть, в кабинет редактора, то сидящий в кресле, как Будда, плотный, седоватый чиновник моментально остудил отстраненностью, невозмутимостью. Равнодушно выслушав мои краткие страницы жизни: «Хабаровчанка, не замужем, живу с родителями, любимые темы – человек и его судьба», язвительно спросил «на ты»: «Это что же – квартиру просить будешь?». Я мотнула отрицательно головой, мол, смею ли? Перелистав диплом, трудовую, где всего-то пара записей, лаконично бросил Фрадкину: «Испытательный срок – месяц. Найдите ей стол».

Упоительной радости не было предела. Свершилось! Болтливая, как бубенчик, никому во всем свете не признавалась, что об этой газете мечтала с младых ногтей. Ведь путь в журналистику избрала не с бухты-барахты. Пришла к нему, правда, зигзагами. А до того были иные намерения, например, стать директором детдома.

В центре военного Хабаровска, близ площади Свободы, сразу за нашим сарайчиком, сооруженным для козы Майки, возвышалось самое красивое на нашей улице Театральной двухэтажное здание с колоннами, скрытое от прохожих высоченным забором. Под его старинными окнами, похожими на купола, и розовым балконом шумел настоящий парк с высокими тополями. Детский дом (ныне здание Дворца бракосочетания), откуда доносился, вкусный запах кипяченого пригоревшего молока и нескончаемый детский плач. У нас с детдомом был общий забор, где мы, детвора, установили пункт наблюдения – через дырки видели на прогулке ребятишек, одинаково одетых, как близнецы. Если кто-то из них падал и, захлебываясь плачем, звал, никто из взрослых не подходил: ясно, что воспитательницы хлещут кипяченое молоко, которое на вес золота, трепяты на бабьи темы и забыли о маленьких. Хотелось перескочить через забор, кинуться на помощь плачущему, поднять, утешить. Но вступать на территорию запрещалось. Матери по-соседски разрешили для нашей кормилицы, старой козы Майки рвать траву на территории детдома и собирать опавшие листья. Майка давала пол-литровую банку молока, которое мы делили на пятерых, а жевала траву неустанно. Очищая от сорняков запущенные аллеи во время сонного часа и слыша близко, из спален детский плач, нестерпимо хотелось проникнуть в это холодное, помпезное здание с колоннами и увидеть воочию малышей, наверное, их там мучают и морят голодом. А иначе, почему же они плачут? Вот вырасту большая, стану директором детдома, у меня ребятишки будут счастливыми, как я сейчас.

А счастье, если бы не война и голод, было бы полным. Чего стоила игра, придуманная сестрой Надькой – заказывать и носить любую обувь, какую душа желает. После дождя наша улица, что рядом с площадью Свободы, превращалась в бездонное месиво грязи, где застревали не то что «эмки», но и «студебеккеры». А нам, босякам, хоть бы хны, самая благодать. Мы творили обувь, какую прикажет фантазия. Сначала тапочки, потом, по мере погружения в грязь, – туфли, ботинки. «А у меня сапоги!» – кричала сестра, погрузившись по колено в грязь, и вылезая из нее. И мы, малышня, вслед за старшей, лезли за такими же «сапожками» в самую глубину. Цыпки уже не были особым предметом огорчения, с ними в «босоногом детстве» выросли. А у наших матерей только к осени, к холодам начинала болеть голова – в какую обувь одеть детвору.

День у шантрапы нашего двора был наполнен событиями до отказа. Отцы на войне, на хлеб зарабатывать приходилось самим, невзирая на возраст. Главное уметь считать до ста. Копеек. В жаркие дни торговали на базаре колодезной водой, вечером у цирка – букетами саранок, которые собирали на старом кладбище, близ железнодорожного вокзала, сдавали в аптеку для лечения раненых солдат ромашку, сухая, она весила всего килограмм в набитой до отказа наволочке. И почти каждую ночь выстаивали в длиннющей, притихшей очереди за желанным хлебушком. Мама поднимала меня чуть свет, стягивала одеяло, ласково уговаривая, – ой, как не хотелось рано вставать! – и наконец, рассердившись, тащила меня, полусонную к умывальнику. Мы шли по темной улице. В чернильной тьме прятались изгороди, палисадники, дома, а солнце безмятежно спало где-то там. «У солнца нет матери, и его некому будить пораньше, чтоб осветить нам путь», – рассуждала я, и мама смеялась над моими словами. У магазина чуть ли не на ощупь мы находили свою очередь, занятую с вечера, я пристраивалась к полу спящим, а мама уходила на Волочаевскую,

в большой розовый дом НКВД, изнеженным женам энкавэдистов стирать белье. Как иждивенка, жена всего лишь красноармейца, она получала по карточкам меньше всех нас граммов хлеба. Возвращалась мама к полуночи. Опухшими от стирки руками развязывала узелок. Мы не спали и ждали этого счастливого момента, не сводя глаз с узелка – огрызки, корки сладостных белых булок делились, как в сказке о трех медведях, только наоборот – мне, самой маленькой, побольше, а маме доставалось меньше всех. Впервые в жизни я узнала о существовании на земле белого хлеба благодаря ленивым женам хабаровских энкавэдистов, не желавшим утруждать свои нежные ручки стиркой белья. А утром, также рано, мама шла на глажку высушенного белья.

Когда кончилась война и ко многим вернулись отцы, а наш папка все не возвращался с японской, вчерашние голоштаные Витьки, Сережки стали богачами – они торговали «Дукатом» поштучно. Где отцы доставали такое нездешнее курево – загадка. Но одна папиросина «Дуката» стоила столько, сколько ведро воды или букет цветов. А ходить с пачечкой папирос весело, это не то, что таскать на коромыслах воду – плечо горит, или собирать ромашку в приставучем, злом облаке мошкеры.

При этом все девчонки с нашей улицы Театральной мечтали быть артистками, циркачками – городской цирк-шапито в пяти шагах, на площади Свободы. Огни, празднично одетые люди, музыка, доносящаяся из-под зеленого купола, неудержимо влекли. По «заборной книжке» проникали в святая святых. Едва дыша, пробирались через конюшню, ощущая запах свежих опилок, пота, видели гимнастов, жонглеров, в ярких, расшитых золотом и серебром костюмах. От всего этого захватывало дух. Насмотревшись и наудивлявшись, даже подумывала, не стать ли мне артисткой цирка. Выучила и распевала марш лилипутов: «Мы все те же на манеже сейчас, встречаем вас улыбкой глаз». Во всю училась делать реверансы, кланяясь невидимым аплодирующим зрителям. Но вскоре решительно разочаровалась. У соседки по двору тетки Насти снимал угол клоун Казаченко. Детвора ходила за ним стаями. Однажды он повесил на изгородь «многопудовые» гири, с которыми работал на манеже, а ветхая изгородь от такого тяжелого груза даже не покосилась. Когда подул сильный ветер, гири взвились в воздух, и шлепнулись в огороде. Мы кинулись ловить, обнаружив, что сделаны они из картона. Об обмане растрезвонили по всей улице Театральной. Обожание мое потускнело.

Из всех предметов в школе я признавала только уроки литературы. И в старших классах мои сочинения были лучшими. Учительница читала их вслух и ставила неизменные отметки: пять с плюсом дробь двойка (в числителе – содержание, в знаменателе – грамотность).

В нашей семье и книг-то никогда не было – все, что горело шло на растопку. Так было во время войны и после нее. Отец, вернувшись с японской, многократно перекладывал печку. То ли в дымоходе сидела какая-то заковыка, то ли у отца, купеческого сына, о чем мы вслух не смели говорить, руки росли не из того места, печка ни в какую растапливаться не хотела. Этажерка для книг пустовала. Существовало лишь одно табу – на газету «Тихоокеанская звезда», которую выписывал отец. В семье ее почитали, кратко называя «ТОЗ».

По вечерам, когда бочка была полна, воду носили ведрами с водокачки близ цирка, дрова на утреннюю растопку наколоты, мать после ужина старательно вытирала стол. Он был единственным в доме. На одном его конце отец, вооружившись очками и ножницами, чудом сохранившиеся в доме, – тогда иголку за просто так не купишь, читал «Тихоокеанскую звезду», а на другом я, притулившись с края, писала школьное сочинение. И наблюдала за действиями отца. Эмоций особых он не выказывал, но понравившиеся статьи, по его понятиям нетленки, бережно вырезал. А я с придыханием думала: «И мои статьи кто-то будет вырезать!»

Дело дошло до того, что, вздыхая о мальчишке с другой школы, наша была женская, Толе Забелине, дала ему кличку «ТОЗ». Моя влюбленность стала известна всему классу, и девчонки, подначивая, докладывали: «Твой «ТОЗ» во дворце пионеров вчера был», «А я с «ТОЗОМ» падеграс танцевала. И ничего хорошего в нем нет».

Тогда же, почти рядом с детдомом, ближе к площади Свободы, стали строить красивейший, по меркам хабаровчан, живущих в завалюхах, пятиэтажный дом, где нынче Дом книги. На года два леса заняли почти всю улицу Театральную, оставив для пешеходов узенькую деревянную дорожку с навесом из досок. А потом леса сняли, и мы стали очевидцами, как в новый дом въезжают счастливыцы. Мы впервые видели такое количество новоселов. А среди них единственно знакомое лицо: «Надька, смотри, писатель Наволочкин!» – Он выступал в нашей школе со стихами, и так мне понравился, заворожил, что я, краснея и заикаясь, уже в школьном гардеробе тихонько, чтобы не

смеялись надо мной, спросила: – как можно сделаться журналистом. Наволочкин удивился, причем здесь журналистика. И несмотря на банальность его ответа, что нужно много читать, думать и учиться, вспыхнувшая святая любовь к Николаю Дмитриевичу, впервые увиденному мной настоящему писателю, не трансформируясь, в чистоте, сохранилась по сей день. И вел он себя при заселении скромно, не суется, как другие. На грузовиках везли мебель, домашнюю утварь с неизменными фикусами. Стоя, разинув рты, среди собравшейся челяди любопытных, мы с Надюшкой слышали команды: «Давай, давай! Осторожно, куда прешь?!». Хозяев новых квартир можно было легко отличить от грузчиков – по одежде, сытости, командному тону. «Надька! - тихо вспыхнуло во мне, - Не веришь, я буду жить в этом доме!» Она посмеялась: «Фантазерка!» Это и впрямь казалось фантастичным. Новоселы этого красивого дома, видимо, какие-то особые люди, как Наволочкин. А кто я и где живу? Во время дождя в нашем домике, врытом в землю, начинался музыкальный концерт: на кроватях, полу стояли тазы, чашки, плошки, куда звонко капала вода – крыша текла и кровля как сито. О существовании в хабаровских квартирах кранов с горячей и холодной водой, теплых сортиров мы не догадывались. Спустя много лет сестра приехала из Волгограда погостить, и напомнила: «Ты что у нас, цыганка? Откуда ты знала, что будешь жить в этом доме?» Да ничего я тогда не знала, верила в счастливое будущее. Но «будущее прекрасно, потому что нас еще там нет».

«В голубом плаще к бродягам»

В школе нам вдалбливали Горького, а я усвоила свое – несказанно хотелось также как он, пройти с котомкой по белу свету, всматриваясь в людские судьбы. Почему человек, с его волей, мозгами, способностью созидать прекрасное, ломается, не выдерживает, падая на дно. «Пятна проклятого прошлого»? И однажды, прорываясь к человеку дна, вляпалась в историю, оказавшись в пикете милиции с бродягами. Взамен я, сопливая девчонка, узнала, что есть гнусные люди во фраках и другая жизнь – непонятная, беспощадная в своей жестокости, о которой умалчивали школьные учителя, программируя светлое будущее, где борьба присутствовала как невинный аккомпанемент. Об этом много позже написала документальный рассказ: «В голубом плаще к бродягам», неостребованный по простой причине - люди дна стали массовым явлением. Но в те годы, спустя десять лет после войны, хабаровская милиция поименно знала асоциальных типов и чего от каждого из них ждать.

В девятом классе учительница литературы, вальяжная самодостаточная Руфина Израйлевна, задала сочинение на дом: «Человек в пьесе Горького «На дне». Тема была по душе. С пафосом, вдохновенно писала о том, чему учила наша Руфина – человек был затравлен, унижен, и только при социалистическом строе он по праву стал «венцом природы». Так увлеклась, что забыла, ведь я должна идти к однокласснице Нинель Корышевой, помочь написать сочинение и сдать у нее задачу по алгебре. Украдкой сняла с вешалки новый модный плащ сестры. Это была первая после войны сногшибательная покупка старшей сестры Лизы. Она в пятнадцать лет пошла на работу и нас, пока два брата и отец сражались на фронте с врагом, спасла от голода – с завода приносила жмых, из которого мама варила совсем не кислый, хоть и без сахара, кисель, заменявший хлеб. А сейчас моя красавица Лизка – невеста. Вот и купила этот роскошный плащ из настоящего дудерона. Втайне от Лизы его надевает средняя сестра Надюшка. А я чем хуже?

Одноклассница жила в пятиэтажном доме геологов на Льва Толстого. На лестничной площадке третьего этажа слышала громкий, решительный голос мужчины:

- Иди, иди отсюда, бродяга. Ночлежку на чердаке устроила. Вот сейчас в милицию отведу. – Та, кого гнали, в старой прожженной телогрейке, в больших не по размеру галошах, одетых прямо на спущенные чулки, видно, пробиралась на чердак.

– Порядочный дом в притон превратили, - доругивался мужчина в чесучовом плаще.

На шум открылась дверь квартиры и вышла седая женщина в чистеньком фартуке.

– Что здесь происходит? – Бродяжка кинулась к ней, как к спасительнице:

– Отовсюду меня гонят. С чердаков, подвалов. Я трудолюбивая, маляр-штукатур. У меня муж офицер был. Куда я сейчас пойду? – И взаправдашние слезы струились из глаз.

– Эх ты, бедолага, чай, молодая. – Посочувствовала ей женщина в фартуке. – Устройся в домоуправление дворником, там тебе и крышу дадут, не будешь по чердакам мотаться. – «Бедолага» внимательно, преданно слушала, будто вот сейчас готова на все. – Значит так. Иди в 23-е домоуправление, это на Саперной. Там моя приятельница сейчас дежурит. Скажи, от Марии Ивановны. Она не оставит в беде. Знаешь, где улица Саперная? – Бродяжка отрицательно мотнула головой. – Как же быть? Я бы проводила, но ко мне сыновья в гости приехали, а ты откуда, девочка, – обратилась она ко мне.

– Да вот, к подруге пришла.

– К Неллечке Корышевой? У тебя есть время? Знаешь, где Саперная. Отведи ее. – Начисто забыв про математику, я обрадовалась такому предложению. Еще бы! Увидеть воочию, а не из книг, настоящую бродяжку, человека дна, и повести его в новый светлый путь.

Старушка дала мне указание, как найти ее приятельницу, и шепнула на прощание:

- Отведи непременно, ты ведь комсомолка. Надо помогать людям.

Мы вышли из нелькиного дома. Ледяной ветер швырял в лицо дождь со снегом. Подопечная покорно шла за мной, пока не появились огни улицы Карла Маркса. Ее чулки в галошах промокли до колен. Она пыталась прятать голову в узкий воротник телогрейки. Почему эта женщина так опустила? Ведь при Советской власти родилась. И, видно, жила безбедно, даже зуб золотой. Кто же виноват, что она стала такой? Как можно деликатней я спросила ее об этом.

- Лапушка, я тебе всю жизнь свою расскажу. Зови просто Тосей. Мне ведь всего 27 лет. Вот сейчас зайдем в одно место на минутку, мне согреться нужно, и все по порядку расскажу. А потом ты поведешь туда, куда говорила эта добрая женщина. Мне моральная помощь нужна. Начну жизнь сначала. Еще не все пропало. – Эта последняя фраза доконала меня. Тося выражалась точно так же, как Сатин из пьесы Горького. Интерес к ее судьбе захватил меня.

Ободранная как кошка, в хлюпающих галошах, полных растаявшего снега, Тоська, заведя огни гастронома, зашагала быстро, широко, грудь нараспашку, уже не закрываясь от пронизывающего ветра. А я рядом, в модном плаще, ежилась под удивленными взглядами прохожих. «Ну и что же, – успокаивала я себя, – смотрите, я как писатель Горький, изучаю людей дна». Перед гастрономом она беззастенчиво задрала юбку и из потайного кармана в штанах вытащила красную тридцатку. Решительно направилась в отдел, который облепили мужчины, живо нырнула в толпу. С шутками-прибаутками растолкала очередь, строя глазки и кокетничая, пробралась к прилавку. Только тут я поняла, что моей подопечной нужна водка.

- Чекушек не осталось, пришлось пол литру купить, – запихивая бутылку в юбочный карман, весело произнесла она. – Где пить будем? Я все места знаю. Пойдем, тут недалеко.

- А как же домоуправление? – пыталась заикнуться я.

- Вот сейчас согреюсь, расскажу свою жизнь, и пойдем. – Она юркнула в подъезд соседнего маленького гастронома и, ориентируясь, как кошка в темноте, спустилась в подвал, держа меня за руку. Другой рукой достала бутылку и прямо на ходу зубами сорвала сургуч с пробкой. Мы присели на какие-то ящики, и я услышала, как забулькала водка. Тоська долго пила. Потом передала бутылку мне, приказав: – Теперь ты. Не бойся, а то ничего рассказывать не буду. – Я никогда еще не пила, и чтобы не злить, не стала отнекиваться, зажав языком горлышко, перевернула бутылку, булька не получилось, но Тоська не заметила и начала рассказывать:

- Мне, если честно, тридцать лет. Пять из них работала буфетчицей. Потом – недостача. Вот и все.

- Как все?! – вырвалось у меня. Я надеялась услышать необыкновенный потрясающий рассказ о причинах, сокрушивших, растоптавших ее молодость, и, возможно, когда-нибудь написать. А тут – «всё».

- Что, не понимаешь? За недостачу по головке не гладят.

Она и не собиралась начинать новую жизнь, быстро хмелела, язык ее заплетался, путала, повторялась. И я со всей очевидностью поняла, что реального врага, по чьей причине молодая женщина опустила – не было.

- А на какие средства вы сейчас живете?

- Продаю известку, мне знакомые строители достают. Ночую, где попало. Весь гардероб на мне. Одним словом, отбросы общества.

Глубоко разочарованная, я решительно поднялась с ящика, когда на лестничной площадке раздались шаги, чиркнула спичка, в руках элегантно одетого красивого мужчины с модным галстуком на белоснежной рубашке.

- Антонина, кто с тобой? - он еще раз чиркнул, поднес спичку к моему лицу. – Э, да какая молоденькая. В нашем полку прибыло! – Спичка погасла. Он протянул руку к бутылке и опрокинул ее в рот. Я ошарашенно озиралась.

- Это моя знакомая, - горделиво произнесла Тоська.

- Пойдем, - потребовал он, вытирая рот платком, белизной мелькнувшим в темноте. - Моя жена уехала, квартира свободна. Хватит по подвалам мытариться.

- Оюшки, - обрадовалась Тоська и чмокнула его куда-то в рукав.

- Не ты, - оттолкнув Тоську, красивый мужчина больно схватил меня за руку. – Откуда же ты, детка, взялась такая?

- Не троньте, не смейте! - взвизгнула я и почувствовав, что там, куда он меня тащит, может случиться ужасное, заорала: - Негодяй! – и что было сил неистово отпихнула, кинулась из подвала. Услышав за собой шаги, заметалась на лестничной площадке. В темноте нащупала дверь. Она вывела во двор. Проскочила мимо сараев и оказалась на центральной улице. Здесь за мной он не погонится, а я все равно бежала. Сердце стучало как оглашенное. Мысли путались. Как же так? Почему это? Красивый интеллигентный человек и такой грязный мерзавец. Мир, люди, какие вы?

Потрясенная, я абсолютно равнодушно и даже с ненавистью восприняла «пятерку» за сочинение – не хватило мужества порвать его.

Но неприятности, связанные с Тоськой, на этом не закончились.

На Первомайские праздники наш десятый класс впервые решил собраться вместе. Мне с Нинель поручили закупить для торжества лимонад и вино. С нагруженными сумками, из которых торчали горлышки бутылок, мы шествовали по Карла Маркса, блистающей гирляндами ярких цветных лампочек, флагами, мимо Дворца пионеров. И вдруг кто-то громко окликнул:

- Лапушка, погоди! – я оглянулась и ахнула: у открытого павильона, где торговали газировкой, а может, чем покрепче, в кругу подвыпивших, небритых мужчин стояла Тоська, картинно простирая руки. Вместо прожженной телогрейки на ней болталась помятая шинель до пят. Бросившись мне навстречу, дыша жутким перегаром, стала прилюдно обнимать, подчеркнуто громко обращаясь:

- С праздником! С Первомаем, с днем весны и труда! – и потянула к своим друзьям. – Знакомьтесь, это моя подруга. Учится в высшей школе, - почему-то наврала она. Пропойцы улыбались. Протягивали руки для знакомства. Окруженная персонажами горьковского «Дна», я не знала, как себя вести. Остолбеневшая Нинель испарилась. И тут появился милиционер. Взяв под козырек, строго произнес, почему-то обращаясь ко мне:

- Ваши документы?

- Нет у меня документов. Школьница я. - Честную компанию при появлении милиционера как ветром сдуло. Он повел меня, словно преступницу, среди праздничных людей через дорогу в пикет милиции. На нас оглядывались.

Лавочки тесной комнаты пикета были забиты такими же бродягами, как Тоська. Одна с одутловатым лицом, без резинок на спущенных чулках, не замечая небрежности в туалете, бойко, с вызовом напирала:

- Так что, начальник? На сколько посадишь? Только не в одиночку, компанию сердце жаждет.

- Сидите и не паясничайте, - устало произнес милиционер с тремя звездочками на погонах, сидящий за столом. Седые виски, благородное лицо, подтянутый, он и вправду наверное был начальником. И на все двести похож на киноактера Столярова.

- Вот и скамья уголовников, - невесело подумала я и осторожно присела с краю на освободившееся место.

- Уведите Ляпунову. А вы? В какой школе учитесь, гражданка? Почему оказались среди бродяг? - спросил главный милиционер.

- Я ничего плохого не сделала. Неужели нельзя разговаривать с тем, с кем хочу? – мужественно храбрилась я.

- О чем могут быть беседы у школьницы с бывшими рецидивистами, занимающимися спекуляцией и воровством? – я, насупившись, молчала. И уже жестко зачастил вопросами:

- При каких обстоятельствах познакомились? Что вас связывает? Будете молчать, сообщим директору школы. - При мысли, что о бродягах и моей дружбе с ними узнает наш класс, взмолилась:

- Не надо фамилии, не надо имени, я все расскажу. Только, только не смейтесь.

И я выложила все начистоту и про домоуправление, и о задании доброй бабушки. Когда стала рассказывать, как мы сидели в подвале, и туда пришел на вид красивый, интеллигентный мужчина, оказавшийся хуже Тоськи, в глазах капитана появились веселые огоньки:

- Так-так. Красиво одетый, по вашим понятиям должен быть хорошим *человеком*. – Вдохнул, молча разглядывая меня, и подвел итог: - Значит, заинтересовались людьми дна? Эпоха не та, дорогая девочка. – Он долго и много говорил умные толковые слова о кузнеце, кующем собственное несчастье: - Вот вы видели сидящую здесь женщину. Лет пять назад это была весьма эффектная, солидная дама, что называется «и в кольцах узкая рука». Мужа посадили за махинации, имущество конфисковали. А привычка широко жить осталась и привела ее в компанию мошенников. С Антониной Кривцовой, вашей знакомой, ближайшие подружки. Кстати, эта ваша Кривцова отбывала срок за попытку убийства квартирной соседки в нетрезвом состоянии.

Потом взял начатый протокол со стола, порвал его:

- Идите и обходите таких людей стороной. Не торопите жизнь. Все узнаете. – И уже провожая, признался, улыбаясь: - А вообще-то в своей практике я впервые встречаю подобное. Повзрослеете, интерес к людям дна не исчезнет, приходите, расскажу. Моя фамилия – Гринберг.

Я вышла из пикета и попала в объятия Нинель.

- Выпустили? Что сказали? А я стою с сумками как дура. Откуда ты этих бродяг знаешь? За что тебя в милицию? – тараторила она. Просила, требовала, клялась, что тайна умрет с ней. Нет, Нэлка не отстанет...

- Помнишь, я к тебе шла за задачкой и не пришла.

- Еще бы, весь вечер прождала. Понадеялась, и из-за тебя схлопотала двойку за сочинение.

- А эту женщину в шинели сейчас видела? Ну, ту, что меня позвала. – Нинель кивнула. – Так вот, я думала, что она героиня Горьковского «На дне». Ошиблась. Милиционер говорит – эпоха не та.

В чем же суть нынешней эпохи? Что и кто ее создает? Журналистика поможет мне открыть таинственный мир человека, проверить глубину мрака и света, в которой мы живем, поднимет над завалинкой. И шла к этой цели, вонзив рожки в землю, с необычайной страстью и волей. Не догадываясь, что между детством и садом радостей земных лежит сильно и грубо пересеченная местность.

«Скрип кирзовых сапог»

Мне казалось, что в «ТОЗе» работают необыкновенные люди, из иного, неведомого мне мира. В этом я убедилась, проторив со своими заметками тропку к зданию на улице Калинина, где когда-то работал Гайдар. Но первый свой опус сама и похоронила. Побывав с классом на школьной экскурсии на Хехцире, так была очарована сопками, красотой природы, что вместо краткой заметки исписала всю ученическую тетрадь. В «Счастье на сопках» было все: и пение птиц, и описание солнышка и дуновение ветерка. Чувствуя, что я что-то не так сделала, прежде чем отнести в редакцию, а планка «Тихоокеанской звезды» была для меня в поднебесье, поперлась проконсультироваться, по соседству, в Крайлит. Мимо этого кирпичного здания на Ким-Ю-Чена с красивым балконом я пробегала сотни раз. «Крайлит – краевая литература», сделала перевод я, значит там должны быть хабаровские писатели. Прочитают, подскажут.

Но писателями здесь и не пахло, а сидевшие в первом кабинете за столами две женщины на мою просьбу замахали руками: «Девочка, ты не сюда пришла. Мы цензоры. Даем разрешение на публикацию». – Но я пристала, как банный лист: «Если вы даете разрешение, то прочитайте» - И совала тетрадку той, что внешне была добрее. От моего натиска она сдалась: «Маша, посмотри!» Ее соседка по столу нехотя перелистала странички, почти не читая: «По нашей части ничего запрещенного нет».- Я не могла понять, о каком запрете они говорят. Важно было узнать подойдет ли это для «Тихоокеанской звезды». «Ты девочка, не к нам, а в эту редакцию обращайся. Там тебе все объяснят. Знаешь адрес?» «Назубок!» И я бесхитростно объяснила, почему не могу пойти, на что цензорша, снизойдя, пояснила: «Просто как читатель могу сказать, не о качестве, а о размерах. Такой большой материал ни одна газета не напечатает. Надо ужать в раз десять». С тем я и покинула

Хабаровскую «краевую литературу». Лишь много позже поняла, что за безобидным названием «крайлит» скрываются узаконенное стукачество, душители свежей, небанальной газетной мысли, острого факта, злободневных статей. Мне просто посчастливилось попасть к добросердечным бабенкам, не вышвырнувшим меня за порог крайлита.

А тогда ужимать «Счастье на сопках» никак не получалось, да еще в десять раз. Эта тетрадка долго валялась среди учебников и ушла в печку, на растопку. Господи, как я нуждалась в умном, образованном человеке, кто бы понятно объяснил, как не нужно писать. И я несла в «Тихоокеанскую звезду», подчас, детский лепет. Переминаясь с ноги на ногу, робея, терпела насмешки журналистов.

Респектабельные, красивые как боги, при галстуках и в белоснежных рубашках Сергей Рослый и черноглазый, как цыган, Петр Баранов покатывались со смеху при чтении моих листочков, выданных из ученической тетради: «Послушай, Сергей, потрясающий заголовок нашего юнкора: «Дом культуры есть, а культуры нет».

Елена Дроздова не смеялась. Пикантная, недосыгаемая, с копной роскошных рыжих волос, она величаво шла по редакционному коридору, как по подиуму. Переписывала набело мои опусы, вздыхала: «Учиться тебе надо. Видишь, тавтология. Запомни, словосочетание «усталые, но довольные» - штамп. Его следует избегать. А здесь синонимы поискать надо. Попробуй, найти синоним к часто повторяемому тобой слову «радость». «Светлость!» – живо откликнулась я. Елена Васильевна добродушно смеялась. От нее пахло вкусными духами и веяло материнским теплом.

Когда я заканчивала школу, это Елена Дроздова ходила к редактору с тонкой пачкой моих публикаций и добилась своего – мне дали рекомендацию для поступления в Университет. Во дворцы у Невы, куда я ринулась из хижин у Амура, и где конкурс был космическим. Как пели студенты: «В золотые двери факультета ты вошла в кирзовых сапогах». Под «сапогами» непрозрачно намекалось на провинциализм иногородних студентов - низкий уровень культуры, прямолинейность, невежество, скудость знаний. Как сейчас говорят, с дуба упала и шишкой расчесывается. Все это, увы, было свойственно мне и компенсировалось моей безоглядной искренностью, с руками вразлет, бесхитростностью и неистребимой жаждой знать. Профессор стилистики, «папа Хавин», заметив сию черту, взялся курировать провинциалку. В свободную от своих лекций пару брал под руку и, как истый петербуржец, вел через Дворцовый мост в «Эрмитаж». В залах останавливался перед каждым шедевром, рассказывая об его истории создания. Задавал вопросы, что я чувствую, глядя на ту или иную картину. Я робела перед седовласым профессором и очередным творением мастеров кисти, отчаянно терялась и будто на экзаменах лепетала какую-то чепуху.

Иное дело театр, куда любила ходить одна. Как братец Кролик прилип к смолянскому чучелку, так и я к БДТ, Большому драматическому, Товстоноговскому. На галерку билет стоил 50 копеек. Суточное пропитание студента с четвертинкой хлеба легко жертвовались во имя потрясения чувств и духовных основ. На сцене страдали и царили, пленяя, блистательные Смоктуновский, Фрейдлих, Юрский, Лавров, Копелян, Лебедев. Возвращаясь, не замечала вечности, сокрытой в красоте зданий на улице Зодчего Росси, праздничного шума Невского, прелести отраженных в Неве огней. В душе теснилась невыразимая тоска, лихорадочно наплывали мысли: почему, в любую эпоху, так много муки, боли несет человек в своем сердце. Судьба безжалостна. Неужто прав Шопенгауэр, говоря: «То, что людьми принято называть судьбою, является лишь совокупностью учиненных ими глупостей». А какую же глупость учинили Чацкий, князь Мышкин? Их порывы не поняты, любовь осквернена, и сами они обречены на одиночество. Открыть ключиком дверь, ведущую к природе человеческих деяний, помогали великие умы. И я сидела в публичке до последнего звонка, испытывая торжествующую радость от знакомства с малоизвестной газетой «На литературном посту». Так называлась в 20-х годах «Литературная газета», где лаборатория творчества Блока, Асеева, Куприна, Достоевского, Бальмонта раскрывалась так обнаженно, прозрачно, что ничего подобного не прочитаешь ни в одном учебнике русской литературы.

Освободившись частично от «кирзовых сапог», я не освободилась от других пороков, усложнивших всю мою дальнейшую жизнь. Как так? - спрашивала я себя в минуты, когда в споре следовало постоять за себя, а я этого не умела делать. Почему при моей дерзости, отваге, чему было бесчисленно примеров: могла бесстрашно жить одна в таежном, засыпанном снегом домике, посиневшая, с соплями переплывала Амур - во мне поселился и жил дух раба. Он сидел молчком, не рыпался, а потом вдруг возникал. Беседуя в университетском коридоре с вальяжным профессором-пушкинистом Макагоненко, вернувшимся из Америки и щедро угощавшим

заграничными сигаретами, у меня тряслись коленки. То же самое происходило, когда ко мне в Охотский радиоузел приходил сам секретарь райкома партии Борода. От внутреннего волнения вела себя неестественно, фальшиво. Откуда взялся этот недруг?

Не тогда ли в расстрельном 37-м году, когда отца, сына купца, посадили в тюрьму на Знаменщикова? Вся огромная семья хлебопашцев Гриценко, человек 37 с детьми и снохами, во главе с дедом Федосием, первопоселенцем на землях Амурской области, была давно раскулачена и выслана на рудники в Соловьевск. Этой участи отец избежал, скрывшись ночью и захватив маму, детей. Долго жили в лесах. А окончательно отец бросил якорь не в глубинке, а в большом городе Хабаровске: здесь легче затеряться, а главное – подросших ребятишек надо было учить. Уже лет 15 на месте дедовских мельницы и маслобойни в Завитой действовал городской мелькомбинат, и все эти годы отец трясся, ожидая ночного стука в дверь. Воронок прибыл. Отца арестовали. И тут недюжинную волю проявила мать. Собрала ораву детей, мал мала меньше, а я еще сидела в ее огромном пузе, она сутками дежурила на Знаменщикова, мозолила глаза тюремному начальству. А сама, кто-то научил, вела переписку с Завитой.

Моя мама была писаной красавицей. Так говорили приезжающие с амурской заимки односельчанки. Когда она в девушках в колодце брала воду, девчата бежали и кричали: «Пойдем, на Дуньку наглядимся». Первый муж ее – лихой красный командир был изрублен саблями беляков, и она сама, 18-летняя вдова, партизанила, чему нашлись свидетели. Из Завитой ей удалось получить соответствующие бумаги. По этой ли причине или из-за детского табора у стен тюрьмы отца выпустили. Однако хребет ему крепко перебили. При его уникальных способностях экономиста, помогавшего деду в коммерческой деятельности, он, умный, сильный мужик, жил тускло, заземленно, по принципу: ниже травы, тише воды, лишь на родной кухне – герой. Да и мамаша при людях не отличалась бойкостью. Человек высокой внутренней культуры, от нее никто худого слова не слышал. При она была невосполнимо малограмотной, внушая нам, что отец работает «еспедитором», и до старости читала по складам.

Но ведь я – результат их генов, их пережитого, намерений. А намерения были просты, и мама от меня, взрослой, не скрывала, что тринадцатого ребенка, хотя половина от болезней, недоедания померла, в нищету рожать ни в какую не хотела. И когда подошло время от меня законно избавиться, вышел сталинский указ о запрете аборт. Для увеличения народонаселения страны указ мажорный, а для моих родителей – минорный, а точнее, удар. Что только не предпринимала мама, по наущению бабок, дабы избавиться от меня, не помогло. Возможно, отсюда проистекло мое богатое «лестничное остроумие» – только когда дискуссия завершена, уже покинув собеседников, начинаю соображать, как надо было ответить, что сказать, и тогда приходили убедительные, блистательные аргументы, что хоть немедленно возвращайся и договаривай, но поезд-то ушел.

Вот с таким багажом, не догадываясь о его содержании и корнях, а по сути путанно-нервным человеком, склонным к самобичеванию, готовым запылать восторгом, лишенным «хладного рассудка» вступала в жизнь. Вышла из дверей факультета в полумодных сапожках, до «супер-пупер» всегда чего-то не хватало, то денег, то вкуса. Но генетический скрип кирзы сопровождал меня всю жизнь.

«С мечтой придешь, от мечты – погибнешь»

И вот новенькая в «Тихоокеанской звезде». Но ни кабинета, ни стола, как велено было редактором, мне не нашли, чем чертовски обидели, хотя, как позже узнала, так поступали со всеми, кто проходил испытательный срок. Посадили в библиотеку к Лидии Косенко изучать подшивки – рубрики, тематику, неизвестные имена коллег. В тот день к Лидии Николаевне то и дело забегали журналисты с вопросами: «Не вернулась? Куда она могла запропасться? А вдруг волки съели?» И вообще в атмосфере царил некая тревога. Оказывается, вся редакция ездила на Корфовскую за грибами. И в лесу потерялась 18-летняя Вика Маловинская, учетчица из отдела писем. Кричали, звали, вернулись без нее. Редакция стояла на ушах. Говорили о ней добрые слова, будто прощались. И я, никем не замечаемая, завидовала этой незнакомой девчонке, которую все так любят. Появилась она, высокая, с осиной талией только на следующий день, и девушку все обнимали. Пройдет много лет, и мы станем с ней друзьями.

И второе событие, скорбное, постигло редакцию в первый год моего прихода в «ТОЗ» – безвременно, на 45-м году жизни, после долгой, мучительной болезни умер журналист Лев Малышев. Я его помнила еще по прежней редакции, на Калинина. Да и не вспомнить его было невозможно. Как-то покидая кабинет Лены Дроздовой, я вздрогнула: в редакционном коридоре твердой поступью на меня шел живой ... Маяковский. Точь-в-точь как на фотографиях, высоченный, пиджак висит вешалкой, молодой и совсем лысый. Видя мое замешательство, двойник поэта голосом не горлана-главаря, а земным спросил: «Девочка, ты кого-то ищешь?» Взирая снизувверх, пролепетала: «Уже нашла, спасибо». И еще долго ошалело, зная, что это неприлично, смотрела ему вслед.

А сейчас он лежал в гробу. В красном уголке редакции, в глубочайшей тишине народу набилось до отказа. Вика Маловинская рыдала навзрыд, поправляя и без того аккуратно уложенную гирлянду, рыдали женщины, мужчины украдкой прикладывая платки. А люди шли, шли. Представляете, траурные лица, в абсолютном безмолвии грудные всхлипы, едва сдерживаемые. Такой искренней скорби мне еще не приходилось видеть. Ни любимой жены, ни детей возле гроба усопшего не было. Семей, домашним очагом для него оставалась редакция, которой Лев Петрович отдавал себя люто, не жалеючи, с радостью. А отдавать ему было что – всеми журналистами признанный писательский талант и доброе, сострадательное сердце. «Универсальные знания», «глыба», «мощный интеллект» – все эти эпитеты, характеристики не только из прощальных, дежурных речей на панихиде. Сколько лет работала в «ТОЗе» и позже, первым в плеяде самых ярких журналистов в истории газеты называлось имя, с прежними характеристиками, Льва Малышева. Но называлось не с трибун на День печати или юбилейных торжеств, а под водочку, в узком кругу старожилов-«тозовцев», кто с ним работал. Время неумолимо и этот круг сузился до малюсенького кружочка. «Сохраните только память о нас, и мы ничего не потеряем, уйдя из жизни» – гласит мудрость. Такой журналист, как Лев Малышев, хабаровский двойник Маяковского, не только по облику, но и творческому, неукротимому темпераменту не заслуживает столь глухого забвения. И, возможно, о нем еще напишут. Я лишь малый свидетель его последних дней. Даже то, как он уходил из жизни, говорит о недюжинной воли. Уже обреченный, смертельно больной продолжал работать, возглавлял секретариат. Не потому, что газета без него бы не вышла, и дома его никто не ждал. «Мне здесь легче дышать, и, кажется, не так грызет боль» – говорил он, перечитывая и правя ворох рукописей. А когда боль была уже нестерпима, корежила большое тело и таблетки не помогали, звал Маловинскую, просил: «Вика, пойдй возьми красненькую». При этом напоминал: «Будете хоронить, не печальтесь у гроба. Смертию смерть поправ. Чтоб негрустная музыка звучала». Но звучала траурная музыка. И редакция не припомнит, чтобы проститься с журналистом пожелал весь цвет интеллигенции Хабаровска. Заслуженные артисты, ученые, в полном составе краевое управление культуры, поэты, писатели. Среди них редактор журнала «Дальний Восток» Николай Рогаль, композитор Юрий Владимиров, главный режиссер театра драмы Цициновский.

Никого из них я тогда не знала. И каждого, поименно, потихоньку на ухо, когда мы уже стояли близ могилы, на кладбище, называла мой гид Л. Н. Косенко. Она же, позже, давала исчерпанную характеристику «тозовцам», «ху есть ху». Вездесущая и бесхитростная Лидия Николаевна не без гордости говорила о традициях, о том, что когда-то в «Тихоокеанской звезде» были собственные корреспонденты в Америке, Японии, Китае. Одним ухом слушала, одним глазом читала, а сама с тревогой думала: время испытательного срока уходит. Неужели «с мечтой придешь, от мечты погибнешь»? В этом плакате, встречавшем новичков в ленинградской молодежной газете «Смена», где проходила практику, я уже не видела цинизма, а отмечала горькую истину. Но долго засиживаться в библиотеке Куликов не дал и бросил меня в командировку в Чегдомын.

Память – штука ненадежная. Вернуть фрагменты прожитого помогают дневники. Часть их, готовясь к последней черте уничтожила, но, удивительно, все, что связано с «ТОЗом», сохранилось.

«...Осенний вечер чудный. Огни Хабаровска вместе с запахом пожухлых еще теплых листьев уплывают. Вторая полка. Снова в поход. На мне прежняя куртка с капюшоном, фотоаппарат, тот же рюкзак, что и на Колыме. Только здесь, в Чегдомыне кругом асфальт, в палисадниках цветут георгины. Бегают маршрутные такси. Во! Цивилизация! В шахтоуправлении расследовала письмо коммуниста, водителя, критикующего всех и вся. А сам с хитрецей, шахтерский КРАЗ паркует возле дома, бабкам за бутылки возит крадучись уголь, запчастей к машине нет – стоит в ремонте, ждет когда подвезут. Сие – частность, и не интересно для читателя. А вот если противопоставить. Найти

хорошего человека, поразмышлять, что движет. Нашла! Рубаха-парень, последнее ближнему и любимой шахте отдаст, творец. Столкнуть их и заголовок пришел: «Им и звезды светят по-разному»

«...Спускалась в шахту. На Кадыкчане, что на Колыме, куда глубже залегание углей. Однако пока доползла до солнышка - тяжелая каска с лампочкой давит на голову, да каждая штанина по 20 кило, чуть дуба не дала. Но я-то налегке, с блокнотиком, а ведь под землей и бабы работают. Адский труд. Непостижимо, но шахтеры любят свое ремесло, не представляют жизни без этих вагонеток, поблескивающих черным лаком кусков угля. Как об этом без дешевого пафоса, не сфальшивив, поведать читателям? Может людей подбадривает звездочка возле каждого шахтерского домика, означающая – ударник, передовик. Удивительно и то, что молодые ребята посещают вечернюю школу, все как один читатели шахтерской библиотеки, патрулируют по вечерам поселок, гоняют пьяниц, обживших как дом родной сквер на центральной площади. Однако по выходным и сами водку пьют как на Колыме – изрядно, зарплата позволяет».

«...Вот уже неделя как в Хабаровске. В газете ни строчки, хотя тружусь как пчела, наверное, бездарная. Испытательный срок на исходе. Неужели отворот-поворот? Какой позор, стыд! Чтобы поддержать себя, вбиваю в мозги постулат Сомэрсэта Моэма, что талант – вопрос количества, прочь малодушие. Зав. отделом промышленности Панченко, к которому временно прикреплен, с недоумением поглядывает на меня. Сделала два варианта «звезд», не решаюсь отдать, недовольна ни тем, ни другим. И я лихорадочно пишу третий. Если я тупая, так мне и надо. Почему Он, Создатель, так несправедливо распределил свои искры? А по радио звучит печальная песня: «Напиши мне, мама, в Египет»

«... За что мне это? Отец устроил скандал: «Спать не даешь. Машинка всю ночь стучит. Свет на кухне до утра горит. Это долго будет продолжаться? У тебя сознания нет, мать больная, не щадишь. Ищи себе квартиру» Куда мне податься. За окном уже первый снег. И я себя спрашиваю – во имя чего, сцепив зубы, ты пытаешься сотворить конфетку. А тут еще и угол для жилья искать надо. И падающий первый снег, жданный, любимый не радует».

«Ура! Ура! Мир прекрасен! «Звезды» пошли! Отмечен! Даже сухарь Панченко, вернувшись с планерки, нехотя сказал: «Свежо. Найден оригинальный журналистский ход. Поторопитесь с другими материалами. Что у вас на очереди?»

«... «Пятеро под землей» ложились в строки, боюсь сглазить, полегче, без надрыва. И все равно в коротких снах, прямо за столом – штреки, шахты, мгла и перфоратор, с силой вонзившись в угольную скалу, дрожит так, что подземелье сотрясается и нет хода. «Так ведь я могу летать!» Делаю сильный толчок, и легко оказываюсь под чистым голубым небом, где-то внизу слышится гуд перфоратора, но уже не страшно. Я лечу с такой веселой скоростью, что не могу сманеврировать – передо мной почему-то провода от трамвайной линии, где у базара к редакции поворачивает «пятерка» - сейчас попаду в электроток и просыпаюсь. Неудержимо кричит будильник».

«...Снова пофартило, очерк о шахтерах отмечен, но на доску лучших не повесили, - не много ли для новенькой. Панченко подобрел. Временно? Стена отчуждения с редактором рушилась. А в город входит зима пургами, злым ветром».

А тут новое задание на оперативность, умение достоверно расследовать причины срыва плана на Хабаровском заводе керамзитного гравия. В те годы бурно шло строительство панельных «хрущевок». Переход от трехслойных к более экономичным однослойным панелям, которые изготавливаются из керамзита, замедлился по причине нехватки этого легкого заполнителя. Единственный в крае завод, ходивший в передовиках, нынче с планом не справлялся. Из крайкома партии позвонили и потребовали незамедлительно разобраться, сообщили, что в цехах уже работает крайкомовская комиссия. Впервые ехала на редакционной машине, как принцесса. Но эта «принцесса» не имела представления, что такое керамзит и с чем его едят. Не доезжая до проходной, попросила остановиться и возвращаться, не ждать. На заводском дворе уже припарковано несколько новых «Волг». Значит, комиссия здесь. Но я не собиралась пополнять ее ряды, а намеревалась незаметно, как бы ненароком побеседовать с рядовыми рабочими. Это удалось. В цехе тарельчатого питания только что побывала большая процессия, возглавляемая директором, он вешал лапшу на уши гостям. Рабочие помалкивали, еще не разошлись, но в них «накипело» невысказанное. А тут нарисовалась я, рупор общественности и мне без заминок показали книгу мастеров, которую от комиссии припрятали подальше. В этой книге все как на ладони – часы, дни, недели и причины простоев. Мастера дружно объясняли технологию изготовления керамзита, расшифровывали непонятные термины – «тарель», «сульфит-спиртовая барда», «футеровка печи», водили по цехам.

Я успевала только записывать. Картина прояснилась, – с новым директором здесь поселилась элементарная бесхозяйственность, работа в авральном режиме надоела всем. Чтобы отметить, знаю, что ничего толкового не скажет, пошла к директору. В его кабинете секретарша убирала недопитые чашки, вазы с фруктами. Хозяин кабинета попытался мне то же мучное изделие на уши вешать – изыяны в проектировке заводских помещений, плохое качество глины. Но ведь даже при таких условиях план выполнялся с лихвой.

Композиционно материал легко лег в свои берега: вступление – что есть керамзит для строителей края; далее – неубедительный рассказ директора о том, что виноват чужой дядя, а в заключении – дневник простоев в популярном изложении (рабочие просили своих имен не называть), опровергающий беспомощные доводы директора.

Через два дня материал был опубликован, и с утра раздался телефонный звонок из крайкома. Трубку взял Панченко. Кто-то на том конце орал, я покрылась пятнами – по мою душу. Где сделала ошибку? Написанный текст, чтобы подстраховаться, предварительно прочитала по телефону мастеру. Панченко положил трубку и воззрившись на меня, стал пытаться: «Почему вы игнорировали товарищей из крайкома партии? Не поставили их в известность о результатах своего расследования? – Помолчав, ворчливо продолжил: – Но копнули глубоко. Это вас спасло, иначе пришлось объясняться там!» – И он указал большим пальцем в окно, в сторону Амура, заговорщицки тихо спросив: – Но мне-то вы скажете, как вам удалось узнать больше, чем проверяющим». Я смутилась. С самого начала постыдилась у рабочих спросить, какой он, керамзит. И только покидая завод, в проходной с этим вопросом обратилась к сторожу. «А вон, касатка, смотри, брак валяется». Тьфу ты! Я по керамзиту в цехах ходила. Знал бы о моем невежестве Панченко и эти крайкомовские дяди.

Все годы студенчества в университетских аудиториях шла незатихающая дискуссия, какие знания предпочтительней для журналиста – вширь или вглубь. Изучить досконально какую-то одну сферу человеческой деятельности или по верхам знать все? Сейчас понимаю, что эти споры надуманы. Журналиста забрасывает судьба в отдаленный район, а там и шахты, и сельское хозяйство, и судостроение, и транспорт, и школы. Знания неукротимо набираешь, общаясь с людьми, и чем больше доверительных контактов, тем ближе истина и достоверней твой будущий материал. Способность рассеять потемки первичного незнания, расшифровать сложную ситуацию, сделав ее прозрачной для себя, и есть первый этап работы над темой.

И еще одна деталь. Журналист как личность со всеми его духовными высотами, добродетелями, столичными университетами ничего не значит, являя собой ноль без палочки в новом коллективе, пока не опубликовал свои материалы – этот несгораемый, ценный или уцененный товар и есть твоя визитная карточка в газете. Речь идет не о седовласых членах редколлегии, которые годами могли не выдавать ни строки, почивая на лаврах руководящих должностей, а о нас, литрабах.

Куликов не лепил новенькую, тыкая носом в торопливые, неумелые строчки. Ненавязчиво присматривался, быстро ли поднимается новая штатная единица с уровня районной газеты. Не случайно районку читатели называют «наша сплетница». В маленькой газете, несмотря на то, что «ТАСС выручает нас», вечный голод на строчки, материалы идут в набор не выношенные, написанные на бегу, и журналист профессионально не растет, а как бы замирает на средней стадии творческого развития. Все это я испытала на собственной шкуре и сейчас яростно боролась с казенными фразами, по привычке выскакивающими в оперативных материалах. Федор Георгиевич, если я верно схватывала характер героя, почерк трудового коллектива, был снисходителен, когда меня заносило в психологию поступков, прощал орфографические ошибки (на это есть корректор), мяконько поправлял и не чинил препятствий для публикаций.

Заметное «потепление» редактора к новому литрабу пробудилось, возможно, благодаря «Известиям». В этой центральной газете, редактируемой незадолго до того Аджубеем, появился мой большой материал «Удельный вес золота». Свои впечатления об уникальной Колымской трассе, о витиеватых судьбах золотодобытчиков писала по свежим следам. В «Тихоокеанскую звезду» материал не годился, до журнала «Дальний Восток» еще не доросла и не знала, что с ним делать. Рукопись лежала у меня на столе, когда в отдел зашел собкорр «Известий» по Дальнему Востоку Арнольд Пушкарь. Полистав ее, заметил: «Не возражаешь, попробую пробить в своей газете. Все не доберусь до планеты Колыма. А здесь я ее вижу». Об отданной рукописи уже и забыла. И вдруг на День печати, 5 мая под рубрикой «Из блокнота журналиста» почти на всю полосу, строк пятьсот,

мой материал. Читали все. Куликов тоже. Может, и проникся к своему литрабу, давая возможность самовыразиться. Тогда я не догадывалась, что Куликов – мой добрый талисман.

За первые два года, благодаря заботе редактора – только он решал эти вопросы, я сменила три квартиры.

От «подарка» отказались

Сначала поселили на Пушкина, в бывший дом священника, где подростком жила и возрастала Вера Мурзина – Побойная (псевдонимы – Павлова, Гудкова, Сизых, Фирсова) с маманей Полиной. Здесь 17-летняя Вера родила сына Сережу Мурзина, и вскоре, после развода с отцом Сережи, привела сюда жениха и хорошего человека Бориса Побойного.

В огромной комнате с печкой и высоченным потолком, вмещавшей в себя все хозуслуги, было где развернуться. Только вот мебели не оказалось. С Ларской под снегом обнаружили дерматиновую спинку от дивана сталинских времен, заменившую тахту. Интерьер комнаты дополнили пять больших и маленьких столов, планируемых на списание в редакции, и шкура отощавшего секача на щелястом полу, привезенная из командировки. Ковер два на три из ватмана над «тахтой» разрисовала Эля Кириченко, художница, изобразив буйную дальневосточную фантазию, продолжавшуюся и на бумажном абажуре, размером с пляжный зонтик.

Летом жизнь здесь была как на курорте. В стекла высоких окон бились упругие ветки ивы, а за ними лежала притихшая, почти как деревенская улица Пушкина. На огонек забегали друзья, журналисты, литераторы Виктор Соломатов, Арнольд Пушкар, Валя Бавин, с гонорара – Лариса Ларская с сопровождающими ее лицами, реже неизменная парочка - Гриша Ходжер с Мишей Беловым. Пили чай, вино, читали стихи, главы из неопубликованного. Вопреки скукоте одиноких вечеров здесь бился радостный, молодежный фейерверк идей, миражей, фантазий.

Включается проектор памяти и на невидимом полотне возникает маленькая смешная история. Как-то в воскресный день собралась элита во главе с Виктором Соломатовым. Все вино выпили, насмеялись, а расходиться не хотелось, было весело. Вдруг Витя Соломатов вспоминает, что у Нади Кореновой, преподавателя философии политеха день рождения, и он приглашен. «Подарка у меня нет, – объявил Виктор. - Подарком будете вы!». И мы, человек семь, с хохмами поперлись на Карла Маркса. На лестничной площадке мы попрятались кто куда. Дверь открыла нарядная улыбающаяся хозяйка. При словах Виктора: «Надюша, поздравляю! А вот мой подарок!» - мы, как братья-черноморы, один за другим стали вступать в прихожую и в зал, где за празднично накрытым столом с обилием заморских бутылок и закусок уже сидели Эдик Корчмарев с Раей, какие-то гости. У изумленной именинницы челюсть отвисла, когда она увидела «подарок» в полном составе. В недоумении замерли сидящие за праздничным столом гости, где нам, явно, места не будут предложены. Тикали в тишине минуты, мы переминались, смущенные, с ноги на ногу, хозяйка стояла как вкопанная. Хмель с Виктора слетел. Наконец, он подал голос: «Что ж, от подарка моего отказываются, а без подарка гостем быть не могу». Спускаясь по лестнице, трезвая, как стекло, Ларская ругала нас: «Шуты гороховые. Хозяйку в глупое положение поставили». А Виктор был всерьез огорчен, не беря греха на душу, оправдывался: «Культура – тонкий пласт, ее может первый дождичек смыть. У людей не хватило юмора». Но мы долго печалиться не стали, собрав последние рубли, заглянули в гастроном за «сухарем», чтобы вместе почитать «Облака в океане» Хемингуэя, добытые Виктором.

Но пришла зима и беспрепятственно проникла в эту комнату, сдув начисто друзей и меня саму. Три тонны угля, завезенные редакцией, печка сожрала за два месяца. Последнюю порцию приберегла к Новому году. А потом хоть с утра до вечера вой: «Ой, мороз, мороз». К утру вода в умывальнике замерзала, сбор по выходным на ближайших стройках щепок, досок стужу не изгонял. Начались сбои со сдачей срочных материалов в номер - писать и печатать на машинке в перчатках не научилась. И тогда мне дали однокомнатную квартиру на Кубяка, в новом доме. Здесь уж ко мне на огонек кроме Веры Побойной и Лидочки Косенко никто не заглядывал. Хабаровская богема тусовалась в центральных кварталах города, да и не до тусовок тогда было, многое изменилось в личной жизни. И взор с лоджии на Амур привольный радовал бы по сей день. Но вызвал в кабинет

Куликов и, подавая готовый ордер, в приказном тоне заявил: «Будешь жить в квартире Карпычева, собирай вещички». На мое неактивное сопротивление добавил: «Потом спасибо скажешь».

Оказывается, подчитчику Анне Долговой, проработавшей четверть века в редакции, и столько же лет стоявшей в очереди на жилплощадь, крайком партии отказал в ордере на квартиру, где жил наш сотрудник Толя Карпычев. Такие дурацкие законы процветали: нетворческим работникам в крайкомовских домах проживать не позволялось. И нас с Анной поменяли.

Впрочем, и про три квартиры мне припомнили, когда я вылетала (по доброй воле) из редакции. Однако, пока газету редактировал Куликов, беды не знала. Он гонял меня в командировки, где Макар телят не пас, как сидорову козу, в поисках интересных людей. Белоглинка, Кольчём, Хаканджа, Софийск. Да и нет, пожалуй, места на карте Хабаровского края, где бы я не побывала с журналистским блокнотом.

«Колымские уроки-страшилки»

По сравнению с Колымой работать в командировках журналисту здесь, в Приамурье во много раз безопасней. Там как? От прииска до прииска километров сто, через сопки, перевалы, тундру с неизменными мишками. Общественного транспорта - с гулькин нос. Например, на недоступный участок Джелгала, где последний до меня журналист был по заданию Берии, добиралась на лошадях, через стремительные речки. На одной из них, Джелгалинке, за неделю до моего перехода, утонул старатель с мешочком на килограммов пять золота - в уши лошади попала вода и взбесившееся животное сбросило седока, золотишко и потянуло на дно. Моя лошадь Малютка пересекла бурную Джелгалинку с величавостью новенького катера. А основной вид транспорта – попутки. Водители, за редчайшим исключением - бывшие ээки. Кто знает, политический или махровый уголовник? После реабилитации или отсидки им возвращаться некуда и для многих малой родиной остается Колыма. Поднимаемся на перевал, одно колесо над пропастью и на сто верст – ни души. И я придумала тактический ход. Прежде чем сесть в кабину, фотографировала водителя «на память», чтоб вез без глупостей – не убил, не вышвырнул на перевале. Ход, конечно, беспомощный. Рецидивист свое грязное дело сделает и фотоаппарат уничтожит. Но психологически чувствовала себя бодрей в кабине, поглядывая на пропитое, обросшее лицо шофера. К счастью, мне встречались хорошие люди.

Самобытность колымской жизни неповторима. И я ни на минуту не пожалела, что избрала эту удивительную землю для работы после учебы в Ленинграде, хотя желающих добровольно ехать сюда, кроме нас, двух дурочек, не было. На предварительном распределении мы с подружкой Элькой Богдан, безответно влюбленной в негра, так и написали: как можно дальше, глуше, - чертовы романтики. На нас приходили с других факультетов смотреть как на придурков. Можно понять эстета и питерского пижона Валерия Николаева, вдохновленного девчоночьей отвагой – за ним оставалась в силе ленинградская прописка и сохранилась квартира на Мойке.

Защитив диплом, в ожидании окончательного распределения, я уехала на недельку к сестре в Волгоград. Возвращаюсь, и что же? В общаге, на вахте встречает Валерка, потерянный, чуть ли не со слезами, и выпаливает: «Слушай, есть две новости. Одна хорошая. Другая – мрак. С какой начать? С хорошей? Твоя Элька выскочила замуж за негра. Едет в Африку. А мне пришел вызов из редакции «За честный труд». Что за идиотская газета?» Никакая не идиотская. А газета бывшего Гулага, редакция в Магадане, а моя межрайонка – на Колымской трассе. Так меня одурачила ближайшая подруга. И когда я получала от нее письма: «Лежу под пальмами, южное бескрайнее солнце, рядом плещется Великий океан», не завидовала. Может, совсем чуточку. Всем хороша была журналистская работа на загадочной планете Колыма, вот только категорически запрещалось упоминать в печати о «путевках Берии», приведших моих героев – бульдозеристов, маркшейдеров, скреперистов, драгеров на эту суровую землю.

В конце 60-х на Колыме вся власть принадлежала ни обкому, ни райкомам партии, а Главдальстрою и директорам приисков, дающих золотой план. Они были полновластными хозяевами валютного цеха страны. Редактор «Горняка севера», подчистую реабилитированный политический заключенный Кравцов, получил редакторскую должность не только по

профессиональным качествам (работал в московской газете, где ему и вручили страшную «путевку»), а весьма своеобразным способом. И этого не скрывал. В Сусуманский район из Главдалястроя прибыла по своим делам комиссия. Претенденту на редакторское место было предложено изыскать для гостей ящик пива. В условиях Колымы это как пучок звезд с неба достать. А здесь иной подтекст – насколько коммуникабелен редактор, знает ли подноготную своего района. Мой редактор был осведомлен, кинулся в ноги к предприимчивому человечку, прятавшему «пучок звезд» в подсобном помещении столовки.

Да и с ночевкой в колымских, командировочных условиях – сплошной анекдот, а подчас и ужастик. Гостиниц, понятно, нет. Как-то на приiske «Пятилетка», известном на весь район своим клубом, построенным в сталинские годы по типу Большого Академического театра в миниатюре, поселили у одинокой, бедовой дамочки. Весь вечер к ней ныряли хахали и я как в студенчестве должна была на это время «погулять». Когда терпение мое иссякло, хозяйка сжалась, прием закончила и расстелила свою пышную постель, приказав: «Ложись к стенке». А сама стала переодеваться в ночную рубашку. Я оторопела – все ее тощее тело, от плеч до пяток исколото игривыми и трагическими надписями, рисунками. Что экашницы ходят с татуировками, не было новостью, насмотрелась в райцентровской бане. Но спать в одной постели... Физически это было выше моих сил. Ночь я провела в клубной библиотеке, на подшивках газет, под аккомпанемент жующих книги и основы этого здания-монстра крыс.

Надолго запомнилась ночевка на приiske Бурхала, куда мы приехали с журналисткой Эммой Савиных готовить материал для целевого номера. Директор поселил нас в управлении, в своем помпезном кабинете. Дежурная принесла постельное белье, заварила чай. Но что-то мне было неуютно и неприятно. Захватив белье, пошли в пустующий детский сад. Хотя пришлось спать, согнувшись на маленьких кроватках, зато проверенное место ночевки. А по утру, подходя к управлению, увидели массу машин. В чем дело, юбилей нескоро. Оказывается, ночью в управление ворвался давний, тихий житель, отбывавший здесь срок по Нюрнбергскому процессу. Напился, озверел, вспомнив молодость, убил сторожа и ту самую дежурную, приносившую нам постельное белье. Залег в директорском кабинете, там его, спящего, и взяли. В ту ночь он прикончил заранее отточенной финкой пятерых, в том числе собутельника и сожительницу. Потрясение было столь сильным, что вернувшись в Ягодное, не заходя в гостиницу, где мы временно обитали, Эмка, в общем-то, умеренно пьющая, ринулась в гастроном, купила бутылку коньяка. В который раз бурно обсуждая пережитое, что было бы с нами, останься на ночлег в кабинете директора, мы в своем номере хладнокровно распили коньяк, будто воду, не почувствовав ни единого градуса. Это меня напугало.

Иное дело командировки в Хабаровском крае. Здесь ты не иголка в стоге сена. Райком партии в курсе твоего маршрута. Поселят у достойных людей, не откажут в моторной лодке, если глубинное село заинтересовало. Сопровождающего дадут в случае дальнего пешего пути. Вот это и есть авторитет газеты. И я столько раз отправлялась в путь с Хабаровского речного вокзала, что берега Амура, маячившие за бортом теплоходов, изучила надежнее навигатора, хоть звание присваивай – почетный речник. А с дебаркадеров в глубинку, опять же на попутках, мотовозах, «Аннушках», санях, пешкодралом. Вот только Шантары остались в задумках. Обошел и объехал их Валентин Бавин, написав серию очерков «Голубая планета». Такую роскошь мог позволить себе пишущий член редколлегии, как Бавин, человек без суеты, интриг, взыскательный к другим и особенно к себе.

«Голубая планета Бавина»

Большой, нескладный, с эйнштейновской гривой светлых волос, он отвоевал себе право печататься хоть и редко, но широко и ярко. Редко, быть может, потому, что приняв от М. М. Фрадкина секретариат, держал на плечах много лет выпуск газеты. К нему из девяти отделов поступал весь шквал газетных рукописей – передовые, информации, очерки, фельетоны. Всю эту, пока рукописную, продукцию он вычитывал, давал жизнь или возвращал авторам, дабы оградить редактора и газету от макулатуры. В оценках был осторожен, немногословен. По работоспособности не уступал своему учителю Фрадкину, и даже пошел дальше. Печатался, был молод, честолобив и полон творческих сил. До сих пор помню его по 80-100 строк прелестные эссе:

«Чайка», «Озеро счастья». Вроде бы ни о чем. Летящая беспокойная птица близ Утеса, то вдруг неподвижно замирала обессиленная, то, взмывая в голубизну неба, уподоблялась силой авторского слова метерлинковской синей птице. Или резко очерченное бликами поздней осени кривоватое дерево над Утесом с последним трепещущим теплым листом. Подобные зарисовки вроде бы ни о чем были полны несказанной поэзии, авторской инстинктивной догадки о непостижимости и гармоничности мира.

Нечто подобное, безотносительно к Бавину, играючи, пробовали писать и мы. Когда рабочий день заканчивался, собравшись в кабинете у Веры Побойной в ожидании очередного собрания или торжества, соревновались в импровизации. Задание: на подоконнике расцвел красный цветок пеларгонии, в окно бьет снег, форточка полуоткрыта, за ней – мрак, пурга. Коля Рябов, я и Вера брали чистые листы и ручки. Включив фантазию, витая в небесах и отключенные от окружающего, писали. Потом каждый из нас читал. По стилистике, второму «дну», подтексту получались маленькие шедевры, но кто бы вздумал отдать в печать словесные натюрморты.

В партийной газете подобные фортели не допускались. Однако Куликов сам в душе поэт, многое позволял Бавину. Есть основания предполагать, что Валентин как журналист расцвел при Федоре Георгиевиче. Ведь была маленькая драма в его творческой жизни.

Выпускник МГУ, он возжелал ощутить романтику, запах леса и тайги, как и мы, начитавшись Аксенова «Апельсины из Марокко». Распределился в незнакомую, но с необычным названием газету «Тихоокеанская звезда». Ведь в городах и весях СССР были гольные «...правды» – пермская, магаданская, калужская. Приехав в Хабаровск при параде чувств, он, однако не пришелся ко двору. Его материалы сокращали, возвращали. Валентин не любил на эту тему распространяться в наших разговорах. Отработав добросовестно три года, – представляю чувства молодого человека с наполеоновскими замыслами, ощущающего свою не востребованность, – Валя решительно написал заявление об уходе. Свою комнатку на Карла Маркса, где набивался творческий люд, ставшую, по словам его студенческих друзей, филиалом общежития МГУ, он передал Вике Маловинской. И поезд увез его в Казань. Видимо, у Валентина было достаточно времени, чтобы сделать переоценку ценностей. Хабаровск зацепил его за живое, и новый редактор Куликов пригласил гордого журналиста в редакцию. Вот тогда начался взлет Бавина, ставшего в газете вторым человеком после редактора.

Меня поражала его многостаночность. Наряду с очерками, насыщенными поэтичностью, лиризмом, он мог, как орешки щелкать (или так казалось) – писать передовые с обилием штампов: «советский период – это самое дорогое в нашей истории», «обязанность каждого коммуниста – овладеть великой теорией марксизма-ленинизма, вырабатывать в себе большевистскую закалку и идейность». Как в нем могло это совмещаться? Подобных вопросов я ему не задавала, понимая, что только у универсала, умело поющего гимны развитому социализму и пристально всматривающегося в росинку на молодом цветке, может быть журналистское будущее.

Валентин знал нечто такое, о чем мы, журналисты из младшего эшелона, небитые, возвращенные на оттепели, не догадывались. И что его, очевидно, мучило. Он не был человеком решенных вопросов, а душевные силы его уравнивал другой дар – обостренное чувство долга, не позволяющее углубляться в собственные сомнения. К новому ответственному секретарю относились с почтением, и не только потому, что от него зависело, попадет наш «шедевр», могущий оказаться мутью голубой, в корзину или пред очи «отца Федора». В Бавина были немного влюблены все одинокие «тозовки», втайне проча его себе в мужья. А почему бы нет? Единственный в редакции достойный холостяк. Конечно, не Аллен Делон, но уж Пьер Безухов – точно. Самостоятельный, не пустозвон, за бабьими юбками не бегает, в совместной жизни непременно будет надежным, верным другом. Этой участи – тихих, бесплодных мечтаний, не избежала и я. Привлекал его спокойный нрав, трезвость, (ненавидела пьющих до соплей мужиков), а главное то, что рядом был бы творческий человек. Представляла, что у каждого из нас будет рабочий стол, мы будем читать друг другу написанное, спорить, помогать, поддерживать друг друга. Но Валентин Васильевич относился ко всем «тозовским» дамам благожелательно и ровно, никого не отмечая. За исключением Л. Н. Косенко, с ней он отводил душу. Хотя у Лидии Николаевны сыновья – в возрасте Валентина, они понимали друг друга с полуслова. И тем не менее, не согретый женской заботой, ласковыми, теплыми руками, погруженный в ворох рукописей, он годами оставался один на один с самим собой, без намеков на возможный марш Мендельсона. Пока не встретил ту единственную, любимую, которую так долго ждал – Светлану Березовскую. Но это свершилось много позже. А

пока, возглавляя штаб редакции, вершил судьбу журналистов второго эшелона. И если материал подписан Бавиным к печати, ты готов любить весь мир.

«Мертвые» точки – от Каткова

Но подобные удачи были не часты. Причин тому немало. Упреки Панченко, что я не вся выкладываюсь на газету, считала не справедливыми. Очерковые материалы писала медленно, и только дома, ибо рабочий день был закручен до предела оперативками. На первых же порах мне «подложил свинью» мой любимый, бывший тренер Алеша Катков. Организовав при газете спортивный клуб, он попросил меня быть чем-то вроде секретаря. Алексей Пантелеймонович – личность в спортивном Хабаровске легендарная, энтузиаст, новатор. Сам классный гимнаст, он тренировал хабаровских гребцов. От желающих отбою не было. Еще бы! Узенькая шлюпка, одиночка или двухпарка, фигурные весла и вперед по амурским волнам – мечта любого пацана. Нас со школы в секцию народной гребли пришли три девчонки, в том числе Эмма Иванова, отличница по математике, скромная, тихая – будущая жена Каткова. Но тогда ни о чем подобном и мыслей не было. Строжайшая дисциплина, тренировки на износ, с рук не сходили мозоли от весел, и такие бицепсы на девичьих руках, что кавалеры шарахались. Во всяком случае, мы могли постоять за себя. Алеша Катков был нашим кумиром. Трековый спорт, которым я тоже занималась, оказался вторичным, хотя требовал немалых силенок. Да к тому же на летних каникулах я еще и работала, нужно было купить новую школьную форму и «фрумынки» на осень. И как на все хватало жизнерадостной энергии, сил, смеха. С утра – на стройку, где у ГУПРА возводилось здание нынешнего фармацевтического факультета мединститута. Олифила железную кровлю, от палящего солнца кисть шипела. «Рабочий класс» во главе с бабой Галей, отсидевшей восемь лет на зоне, взял надо мной шефство, чтоб не рухнула с карниза. Потом нас перебросили на жилое здание по Фрунзе, будущий крайисполкомовский дом. Цементировали ванны. 15 ведер цемента, шлака, извести, в соответствующих пропорциях, энергично размешивались водой в огромном баке, и по два ведра этой тяжелой массы приходилось таскать на пятый этаж, кран почему-то не работал. Баба Галя, видя, как я упираюсь, взбираясь с непосильной ношей по лестнице без перил, заваленной комьями штукатурки, причитала: «Не родишь ты, девка, не родишь», – и мастерски материлась. Когда начальство отсутствовало, баба Галя, ничуть не заботясь о качестве, вместо цемента внаглую насыпала шлак, да еще заставляла стоять «на васаре». А я, комсомолка, не могла послушаться бригадирши. Сейчас в этом доме живет моя подруга Тамара Дошкаева, сестра Валерия Шульжика. Она 77 раз делала ремонт в ванной комнате, бесполезно, там все сыпется и крошится. Такие «бабы Гали» строили пол-Хабаровска, можно представить масштабы разрушительной силы, заложенной в сооружения. Но тогда об этом остро не думалось. Навкалывавшись до упада, я, как малолетка, работала до обеда, не возлегала дома в тенечке, а садилась на трековый велик – с командой велосипедистов брали курс на Корфовскую. Нешуточные подъемы, стремительные спуски, туда и обратно в город, прямой наводкой – на берег. Как с корабля на бал, с велосипеда на банку шлюпки – и до моста, что через Амур, в энергичном темпе – 33 гребка в минуту. Катков стоит с секундомером на берегу, засекает время. Мы не стали звездами спорта, хотя работали по классу мастеров. И когда в Ленинграде встречала друзей-хабаровчан, те были почему-то уверены, что учусь в Лесгафта, спортивном институте.

По дерзкой инициативе Каткова в Хабаровске впервые появились байдарки и каноэ. Алеша дал фору скептикам, утверждавшим, что эти хрупкие, нежные суденышки не приживутся на волнах беспокойного Амура. Много лет они бороздили воды нашей реки.

Я благодарна судьбе, давшей в юности спорт. Он научил преодолевать осязаемую мертвую точку: это когда уже абсолютно сил нет, находить их. А еще в секции гребли я познала близкое, жуткое дыхание небытия. Это случилось перед краевыми соревнованиями. Катков гонял нас на тренировках до полубморочного состояния. Отрабатывали короткие дистанции: от городского пляжа до дамбы горводоканала и обратно, с каждым заходом убыстряя темп, сокращая секунды.

На одной из тренировок, на нашу двухпарку с Розой, студенткой физвоса пединститута, перспективной спортсменкой, опытного рулевого не нашлось. Желających же прокатиться на

халяву, когда девчонки упираются на веслах, было предостаточно. А среди них – длинный, тщедушный пацан, буратинисто-любопытный Эдик Корчмарев. Удостоившись радостной чести быть рулевым, напевая легкомысленно «Нет, не люблю я вас. Но и любить не стану», он проявил о нас единственную заботу, – спрятал под майку наши наручные часы, мешавшие при гребле. И по отмашке Каткова мы взяли бурный старт. Против течения «рисую берег» - это должен уметь рулевой, ринулись к городской дамбе, а обратно, - почти по середине Амура, где течение мощнее – к финишу. Это на одиночке гребец на банке весь извертится – что там, за спиной. А здесь рулевой. Но наш Эдик с неотвязным романсом «Нет, не люблю я вас», чуть ли не привстав, будто он не в семейных сатиновых трусах по колено, а в белом капитанском кителе, победно озирал приближающийся многолюдный пляж. Скорость у нас была приличная. Чувствуя близость финиша, призвала: «Роза, поддай!». И тут я оглянулась и обмерла – на нас быстро, с напором шел пароход, бросилось в глаза близкое – руку протяни - огромное колесо, грозно шлепающее лопастями. Ни притабанить, ни проскочить его мы, онемевшие, парализованные, уже не успевали - столкновение неизбежно, и тогда раздавит. Не размышляя, прыгнули в воду, кто куда. Но вынырнуть не удавалось, надо мной - вся махина судна. Глотая воду, задыхаясь, спиной ощущала холодные, скользкие выступы, очевидно, машинного отделения. Двигаясь, как по лабиринту, пыталась вырваться к свободной воде, и каменела при мысли, что попаду под колесо. Воздуха не хватало, глаза вылезали из орбит, сознание затуманилось, чувствуя приближение конца, – Господи, как бездарно умираю, почему-то в голову пришла мамина молитва «Отче наш». Не помнила, как оказалась на поверхности, головой ударилась о железный борт судна. Слабо отметила, с другой его стороны появились две головы Розы и Эдика. С палубы бросали круги, на шлюпках к нам с берега мчались гребцы, – весь флот Каткова был поднят на ноги, а впереди - сам тренер. Толпа загорающих наблюдала за происходящим. Ухватившись за чью-то шлюпку, я истерически рыдала. То же самое происходило на берегу, уже в солярии с Розой – послешоковая реакция. То, что Эдик утопил часы, было мелочью. На тренировках Роза больше не появлялась. Эдика Катков разжаловал.

Хабаровск тогда был городом не великим. Через два дня, когда я собиралась на тренировку, одну, с испуга, я все-таки пропустила, мама кипятила на печке белье и, смахивая со лба пот, говорила: «Ты слышала, бабы судачили, на Амуре пароход раздавил лодку с девчонками. Будь поаккуратней». Я промолчала.

И вот спустя много лет мы с Алешей встретились в редакции, и он предложил поучаствовать в работе клуба. Я должна была присутствовать на его заседаниях. А главное - редактировать заметки и быстро продвигать их в печать. Спортивные босы, кроме Каткова, писали так, что все приходилось переписывать заново, в терминологии незнакомых видов спорта была дурак дураком. И первая подборка оказалась как первый блин, комом. Да еще в присыпочку. В поисках синонимов бесконечных в текстах «нокаут», «ринг» внесла «боксировались», «подиум», «лежал недвижимый». В секретариате, положившемся на эрудитов, членов клуба, без правки пропустили в печать. А потом вся подборка пошла на редакционную доску в «Тяп-ляп», позорящую журналиста. Сверкнула сразу на двух досках: «Лучшие» и «Тяп-ляп». После случившегося, с Катковым мы лишь раскланивались, он долго не мог простить мне «ляпа». Но и без спорта оперативки поглощали весь день.

«Железобетон» – вне конкурса

В то время основная задача газетчиков – подготовка к печати материалов рабкорров. Под сенью ленинского термина истинных рабочих и крестьянских корреспондентов было раз, два и обчелся. В основном партийные функционеры. Их железобетонные отчеты о результатах очистительной бури Великого Октября (нынче переворота), партслужении без сна и отдыха на генеральном направлении, указанном очередным пленумом, съездом, были безлики, скучны. Высказывания, цитаты, казенный набор марксистско-ленинских фраз, призывы перетекали, не разнообразясь, от съезда к съезду. Как и передовые статьи, их, вряд ли, кроме крайкомовских работников и нештатных пропагандистов, кто-то читал. Однако без передовой статьи выпуск газеты был недопустим. Тематику планировали на месяц. Для многих передовая - самый легкий журналистский хлеб, этот жанр оплачивался по повышенной таксе. Как правило, для передовицы

брались по телефону два-три факта, положительных или отрицательных, из жизни, например, системы профтехобразования, и насыщались идейно выраженной галиматьей. Менялась тематика передовицы, а словесная броня из лозунгов оставалась той же. Передовицы писать я не умела. Можно, конечно, общие фразы «позаимствовать», а точнее украсть из партброшюр, что напропалую и делали коллеги. В этом не было ничего зазорного – от перемены мест в изданиях впечатление остается неизменным. И потому сочувствовала молодому журналисту и коммунисту со стажем Саше Сутуруину, получившему выговор за плагиат – списал часть передовой статьи «Член партийного комитета» из журнала «Партийная жизнь». Когда мы в нашем кругу обсуждали случившееся, стали известны детали. На редколлегии Саша мужественно признался: «Факт налицо. Готов нести наказание». Редактор, которому донесли из крайкома партии о плагиате, кипятился: «Ладно бы пару фраз списал, так он размахнулся, из свежего номера столичного журнала полстатьи содрал слово в слово». После этой разборки авторы передовиц поутихли с заимствованием, но не надолго.

Вне конкурса шел «железобетон» из ТАССа, уполномоченного указывать всем большим и малым газетам страны, где, на каких страницах надлежит поместить один и тот же проверенный, утвержденный текст, скажем, выступление генсека. Ему вторили местные, хабаровские партийные боссы. Об эксклюзиве и речи быть не могло.

Если над очерковым заголовком мы ломали голову и перья, более того, удачные заголовки стимулировались особо, путем выдачи премии в сумме пяти рублей, что утверждалось редколлегией, и здесь уж в передовиках ходил Гена Личко, не раз одаривавший авторов статей оригинальными находками, типа «Комфорт...наоборот», - то пропагандистским материалам придавались столь же тяжеловесные заголовки. «Борьба КПСС за единство своих рядов», «Прислужники антикоммунизма», «Вымыслы буржуазных пропагандистов и расцвет коммунистических идей» - они отвращали взор взыскательного читателя, зато были услугой для крайкомовских работников. Править, сокращать «простыни» агитпроизведений не рекомендовалось. Попыткам соблюсти элементарные законы литературного языка препятствовали капризы авторов – партбоссов, отказывающихся подписывать свою статью. А чаще тому же Саше Сутуруину давалось задание: «Поезжай в крайком партии, к Николаеву. Он поможет тебе написать статью». То есть даст указание написать так, как написал бы сам, если бы умел. Изложить на бумаге «указания» партчиновника такого ранга, это как бы сесть в его кресло, войти в образ, для этого внутри нужно иметь настоящее искусство. А потом, когда статья написана, журналисты подобострастно высиживали в «предбанниках» крайкомовских кабинетов в ожидании желанной закорючки, подписи «автора», между тем, выпуск газеты задерживался.

А чего стоила организация откликов, дабы выразить в газете всенародные чувства на какое-то событие в стране. Единодушно одобряем (протестуем, осуждаем, клеймим. гордимся). Взлетел новый космический корабль, и народ на страницах газеты рукоплещет. Читатели и впрямь искренне радовались. Но читательские письма придут позже, а отклики нужны срочно, в номер. И откликаются журналисты под чужими именами, предварительно созвонившись с псевдоавторами. Пишется «за того парня» легко, искренне, мы тоже рады новому космическому подвигу. Иное дело, предсъездовская трудовая вахта. Набившие руку на откликах многостаночники-журналисты особо не утомляли себя поисками истинных героев, а монтировали «отголоски» по принципу «Два абзаца из свинарки, два абзаца из доярки – вот вам к празднику подарки». А еще сложнее, когда готовится полоса откликов на резолюцию Директив по очередной пятилетке и, в частности, на доклад Генсека под общей «шапкой» «Идеям великого Ленина побеждать в веках». Обзваниваешь парткомы трудовых коллективов: «Одобряете? Давайте фамилию фрезеровщика. Предупредите, что от его имени будет заметка. Сообщите адрес для гонорара. Спасибо». Особенно доставалось герою соцтруда Петру Панасенко, он был безотказен. В каждой бочке, пардон, затычка. По-существу отличный мужик, многократно выручал нашего брата, а из него плакат сделали. Но в целом, недостатка в именах передовиков для откликов не было.

Но не столько рабочему человеку, сколько чиновникам хотелось маленько славы, победных реляций на весь край о своей неутомимой деятельности. Графоманы от журналистики, потрясая званиями, грозя пожаловаться в парторганы, стаями и по одиночке прорывались в редакторский кабинет, и давили на «шефа». Их невнятные труды приходилось переписывать заново, внося свежее слово, мысль, логику и приглашать авторов для согласования. Такие, как правило, капризов не

выказывали, покидали кабинет гордые «своим» литературным творением и возможностью увидеть свое имя в газете.

«Внештатники»

Хорошо пишущих внештатников было негусто. А такие, как Л.В.Мамаева, Д.Э.Бауман – находка для журналиста. Расставь запятые, убери острые углы (внутри нас неистребимо жил цензор), придумай привлекательный заголовок, и материал готов на полосу. Даже то, что Лидия Васильевна, находившая острые темы из школьной жизни, писала мелкими буквами, не ручкой, а карандашом, не умаляло достоинств. Сначала Мамаева была автором, принадлежащим только Вере Побойной. А позже, когда Вера пошла на повышение и возглавила отдел пропаганды, учительница приносила карандашные наброски мне. Ее приход в отдел школ, как солнце, ибо и человеком она была замечательным, с печально одинокой, но неунывающей старостью.

На дистанции с журналистами держался Д.Э.Бауман, стремительно входил, оставлял материал, исчезал. Меня, свою ученицу, решительно не хотел узнавать. Учитель зоологии Дмитрий Эдуардович нас, шестиклассников называл не иначе, как «парнокопытные», чем приводил класс в радостное возбуждение. Будучи автором газеты, в моих воспоминаниях не нуждался, полгорода школьников – бывшие ученики Баумана. Другое дело, Гринберг, в то время самый высокий начальник охраны общественного порядка в крае. Он как-то принес Вере Побойной материал и как только полковник милиции с благородной сединой, уже не похожий на Столярова, переступил порог кабинета, я сразу узнала в нем бывшего начальника пикета милиции, «застукавшего» меня, школьницу, исследующую доморощенными методами причины падения Тоськи. О чем не преминула ему напомнить. Всмотревшись в меня, полковнику изменила солидность: «Это вы? Люди дна! Вот это здорово! Вера Павловна, вы представляете, эта девчонка была задержана с бродягами». Но Вера уже углубилась в правку принесенной статьи. А я пошла провожать Гринберга, вспоминая детали той далекой весны безоблачной юности, когда во всем ищешь удивительное.

Однако напомнить Бауману о «парнокопытных» и о том, как мы его обожали, не решалась. Дмитрий Эдуардович был автором бесценным. Человек энциклопедических знаний, он, имеющий лишь среднее образование, поражал эрудицией, остротой, емкостью мысли, глубиной познания предмета, о котором писал, о генетике ли, о школьном симфоническом оркестре, или о природе жестокости в маленьком человеке.

По сей день считаю, что отдел школ, науки и культуры – один из интереснейших в редакции. Бездонны темы учительства, артистической, писательской жизни, научных открытий. У работающего в этом отделе создавалось впечатление, что каждый, чуть ли не пятый житель края пробует себя в поэзии. И свои перлы шлет в газету. Судя по редакционной почте, то была эпоха письма. Их приносили учетчики из отдела писем целые кипы. Моя задача – не проморгать по яркой строчке, интересному образу истинный талант, толково, нестандартно ответить автору. В основном же поступали стихи типа: «Только состав бегит за составом, шальные ветры гудут».

Огромная поэтическая почта обрушилась на редакцию в год столетия Ленина. Чего только не было в ней! «Ульянов Владимир Ильич! Непомеркнет его клыч. Партия Ленина народов ядро. В растяжку знамена, в ведро». «Солнечная погода» - поясняет автор. Или сравнивает вождя с лесом: «Стоит стеной народу гений. Твердыней сплава! Но пушист». Неведомый автор оказался провидцем, предугадав, что в конце века в молодежном сленге типа, «стремно», «уматно», вспыхнувшем подобно пожару в прериях, появится слово «пушистый». Что оно означает? Одним словом не объяснишь. Поясняет анекдот: «Спрашивают: «Лягушка, почему ты такая зеленая, скользкая, страшная?» На что та отвечает с вызовом: «Да я сейчас болею. А вообще-то я белая и пушистая». Так что «народный гений», по словам автора, был «пушистый».

Особенно «достал» меня стихоплет - маньяк, направлявший в редакцию на мое имя одну за другой целые тетрадки. Поэмы сленга, степа и абсурда, годящиеся для популярной тогда в «Крокодиле» рубрики «Нарочно не придумаешь». К примеру:

«В.И.Ленину сто»

Горит звезда полночная.
Луна как тыква мощная
Ветер листьями шелестя
Словесность в рифму не хотя
Ложится грубо по началу
Как лодка тянет до причала
Ох! нет! Лишь с виду это так
На дели, Сукин не простак
На всех узлах уксус и соду
Всем телом я болтаю воду
Даю мозгам большую взбучку,
Чтоб, получить для вас шипучку.

В сноске автор поясняет, что сукин сын не кто иной, как Есенин. Но причем здесь Ленин? Возможно, увеличивается шанс для публикации?

С утра до вечера в кабинете теснились авторы, признанные, а в основном непризнанные поэты и прозаики. А среди них один был особенно неутомим, назовем его Лев Краевский. Он приносил пачки бездарных повестей, каждая объемом на пять номеров «ТОЗа». Когда успевал их пластать, непостижимо. Но цепко утвердившееся за ним как в издательстве, так и у нас кличка графоман Льва отнюдь не обижала. Знал вода камень точит. И что же, прошло четверть века, и по радио слышу: «Член российского союза писателей Лев Краевский». До 70 лет он неуклонно шел к этой цели и таки добился.

С колес на полосу «Литература и искусство» шли стихи Сергея Тельканова, Миши Асламова, Коли Кабушкина. Потихоньку переписывая в свой блокнот блистательные стихи Виктора Еращенко, на ум невольно приходила чья-то крылатая фраза о том, что и вправду огурцы и гении растут в провинции. Еращенко не печатали. Виктор был умница, и объяснять, стыдя себя, почему это происходит, ему не нужно было. Негласно, где-то в верхах существовал список хабаровских поэтов, кого «пускать» на страницы партгазеты не рекомендовалось. Могу биться об заклад, если бы его книга «Избранное», появившаяся в печати в 90-х годах благодаря его другу и хорошему человеку Валерию Симакову, была напечатана при жизни Виктора, она бы такие силы вдохнула в него, что преждевременная смерть отступила бы. Но сколько же муки вместились в поэтическом сердце, если оно пело своим неповторимым, чистым голосом и было услышано лишь на хабаровских кухнях под водочку. Делая вид, что ни о каком списке не догадываюсь, методично сдавала его подборки в секретариат, которые с той же методичностью возвращались. Лишь однажды короткое стихотворение из двух строф все-таки проскочило на полосу, на недолго подбодрив поэта.

Из Амурска со стихами приезжала красивая девушка с потрясающей судьбой – Лада Магистрова, рекомендуясь «журналистка-комендант». Это же надо! Написала в районную газету критический материал о безобразиях в рабочем общежитии. А в ответ ей – мол, легко писать, а ты попробуй навести порядок, и предложили быть комендантом. И она, хрупкая, эстетка, вместо занятий «божьем промыслом», бдений над поэтическими строчками, со всем своим моральным бесстрашием разнимала кровавые драки, не однажды шла на нож. Устраивала в общежитии вечера поэзии, пытаясь пробудить в бывших уголовниках ростки светлого мироощущения. Мы говорили с Ладой до позднего вечера в притихшей редакции. И тогда она еще не ведала, не знала, какие тяжкие ухабы лягут на ее пути. Она станет жертвой состояния своей души, утонченной, доверчивой. А в результате, член союза российских писателей Лада Магистрова, хозяйка трехкомнатной квартиры, на старости лет окажется поэтом-бомжом. Возьмет в руки метлу, повяжет платочек на голову и за койку в общежитии будет мести улицы авиагородка. Тот же Миша Асламов, ослабевший «отец» обнищавших хабаровских писателей, добудет ей комнатку в обвальном фонде, но без прописки, откуда ее, больную, в преклонном возрасте, могут в любой момент вышвырнуть. И по-прежнему неустанно, со святым крестом в душе, она будет любить людей, своей неповторимой поэтической интонацией петь о них.

Светлой звездочкой на творческом небосклоне Хабаровска промелькнула и закатилась незаурядная судьба нашего автора, члена союза художников Эли Кириченко. Кареглазая, с прямым, хорошо очерченным носом, высокими скулами, с крылатостью в движениях, Эля, выпускница

художественно-графического факультета, была художником от Бога. Ее иллюстрации к сказкам Пушкина «У лукоморья», изданные Хабаровским книжным издательством, не знают аналогов, и за последние 80 лет были проиллюстрированы в Хабаровске впервые. В отчетах о достижениях хабаровских художников ее имя неизменно называлось в одном ряду с Г. Павлишиным, в дуэте с В. Романовым она подвергалась упрекам в «явном увлечении внешними приемами и стилизацией». По душевному настрою и обстоятельствам жизни Эля была мне близка. Ей непременно хотелось написать о художниках. И мы сидели локоть к локтю, пытаясь из ее рассказа выткать ткань будущей корреспонденции.

Вечно безденежная, полунищая, будучи на свободных хлебах, она решительно отказывалась от халтур, которые подкармливали таких же бессребреников-художников. За жизнерадостный плакат с флагами, с солнышком, с цветочками, на которые Эля была непревзойденным мастером, с серпом и молотом, платили столько, что можно было безбедно жить полгода с маленьким сыном Женькой. Но она решительно отказывалась, работая сутками над очередной книгой, перебиваясь с хлеба на воду в ожидании гонорара из издательства. И когда получала искомое, швыряла деньги как ничего не значащие бумажки. Прежде всего, рассчитывалась с долгами, у нее был длиннющий список – кому и сколько. Могла купить сразу два пальто – голубое и белое из джерси, кучу детских ботиночек, костюмчиков на вырост, впрок краски, кисти, холсты. Как-то, подогнав такси к редакции, пригласила нас с Верой к себе, к черту на кулички, на Заводскую. Чего только не было на столе – сыры, колбасы, фрукты, ликеры. Закупила в ресторане, ибо на прилавках не найти. Но не это поразило нас, а пейзаж на стене – синие сугробы снега с густыми тенями под рассеянным светом бледно-золотых звезд, ясно освещавших снежные хлопья – холодно. А за окном летняя жара 30 градусов. Заметив наше недоумение, пояснила: «А к декабрьским морозам я рисую весну».

Вскоре гонорар улетучивался. И снова она бедовала. Пирожки с лотков становились самым изысканным блюдом в ее меню. Именно их Эля принесла мне в качестве передачи в 3-ю горбольницу, куда я загребела с обострением язвенной болезни. Эля заявила в палату вечером, и мы, забравшись подальше от больных в закуток, рассматривали листы с новыми этюдами. Так увлеклись разговором, что потеряли счет времени. Когда пошла провожать гостью, оказалось, что больничный гардероб с ее пальто давно закрыт, на улице зима. Ничего не оставалось, как дожидаться, когда свет в палате выключат, лечь спать валетом на узкой больничной койке.

Иллюстрации к «Сказкам дремучей тайги» у нее уже были готовы. А вот над текстами она билась с удвоенной силой, просиживая в публичке допоздна, изучала материалы о поведении кабарожек, лис, секачей. И если бы не помощь Н.Д.Наволочкина, вряд ли ее замысел мог реализоваться. Писатель, очевидно, так проникся к неповторимой самобытности рисунков Кириченко, что взялся за редактирование текстов, отдав им душевные силы и писательский талант. Первая книжка Э.Кириченко вышла на славу, тиражом 300 тысяч экземпляров и имела прекрасную прессу.

Наконец усвоив, что Андерсена из нее не получится, она стала иллюстрировать народные сказки. Привозила из Москвы со всесоюзных конкурсов дипломы, призовые места, продолжая жить от гонорара до гонорара. Потом от пенсии до пенсии, обретая облик городской нищенки. Что стало с Элей – непостижимо. Душевная гармония разрушалась. Она перестала быть в ладу сама с собой. Некогда золотые руки, созидавшие чудо, уже давно тянулись не к мольберту, а в буквальном смысле – за милостыней.

А я еще не теряла надежды встряхнуться, найти в себе силы заявиться в редакцию к молодым и незнакомым коллегам. Впрочем, куда прешь? «Несчастный друг! Среди новых поколений докучный гость и лишний и чужой». Ну что ж, пусть лишний и чужой, но без маленькой прибавки к пенсии в виде гонорара мне – хана.

«За яйца – не продаемся»

В наше время среди внештатников не было таких, кто бы писал четко «для рубля», авторы меркантильных помыслов не преследовали. Да и видеть в газетном творчестве источник обогащения, тогда было не в чести. Среди журналистов, даже членов редколлегии, мы не знали таких, кто бы испытывал «сытость в острой форме». Стимулировался труд весьма скромно. Мне,

младшему литсотруднику, положили зарплату 80 рр. Почти столько же получал мой отец, подрабатывавший в свои 70 лет вахтером в управлении ДВЖД. У журналиста, понятно, предполагался гонорар, но это такой капризный доход – он мог быть велик, в размере зарплаты, а если шла черная полоса, без публикаций, то светила дырка от бублика. Но, даже имея в совокупности эти два источника дохода, покупать было нечего – полки магазинов пусты. Воспользоваться служебным положением – такое в голову журналиста и прийти не могло.

Возвращаемся, бывало, с Верой, мы с ней жили по соседству, с коммунистического субботника, в сетках – по буханке хлеба, и рассуждаем, чем сегодня кормить семью. А в этот апрельский субботний день весь город за бесплатно трудился на рабочих местах, чистил и мел улицы Хабаровска, а мы, журналисты, в первых рядах с утра чуть свет бегали по предприятиям и в темпе «очень срочно» делали праздничные репортажи в номер о вдохновенном труде горожан.

Любой материал, даже такой, проходной, а «для вечности» тем более, – пишешь, пропуская через сердце. Побывала на субботнике, например, в «Электропроекте». Сажу в тихом редакционном кабинете, но вижу другое: звучит праздничная музыка, оживленные лица инженеров, как один явившихся на субботник не мыть и убирать, а экспериментировать новую технологию электропередачи. Что-то не клеится, идет мозговая атака, раздаются реплики, возникают идеи, и через них ты, чужой человек, открываешь характеры, секреты инженерной смекалки.

Наш вклад как участников комсубботника заключался не только в срочности, а в безгонорарности публикаций – за этот номер журналистам не платили. По дороге с работы обходили полупустые магазины, с пачковыми супами на полках и килькой в томатном соусе, кляня всех и вся, даже скверного вина в продаже не было. Да и внешний антураж одежды газетчиков оставлял желать лучшего. Вера Павловна, уже тогда популярный газетчик, а на ногах – какие-то калоши из кожзаменителя, как она называла «говнодавы», по случаю купила. Впрочем, Веру спасали почитательницы, вязали ей жилеты, кофточки. А в основном экипировались мы, как и все хабаровчане, в отпусках, по месту отдыха. Москва кормила не только рязанщину и нижегородцев, но и дальневосточников. Из Москвы везли конфеты, колбасу, сыр и даже мясо. А однажды был случай, когда из первопрестольной привезли кур... хабаровской птицефабрики. Но поднять подобную проблему на страницах газеты никто бы не позволил.

Досконально было известно, что чиновники крайкома, райкомов партии пользуются спецобслуживанием. Даже знали, где располагаются спецпункты, куда, понятно, газетчикам, хотя «Тихоокеанская звезда» являлась органом крайкома, доступа не было. Замахнуться на льготное обслуживание, когда хабаровчане проживают в режиме «пуритане», не смели. Впрочем, пардон, был такой случай. Как-то перед Первомаем Володя Шулятьев, бывший собкорр газеты «Лесная промышленность», на чье место прибыл из Москвы молоденький журналист Боря Резник, забежал ко мне в отдел и шепнул:

- Тебе нужны яйца?

- Не поняла...

- В маленький гастроном завезли. Едем. Договорился с директором и с машиной тоже.

Я ехала и мечтала о предстоящих блюдах – яйцо в мешочек, омлет, по-барски, из семи штук яичница.

В тесном предбаннике нынешнего «Грига», где я когда-то познавала природу людей дна, собралась толпа жаждущих блатных. Пока осматривалась, из директорского кабинета выглянула красная, жирная морда, и на весь предбанник объявила:

- Тихоокеанская звезда. Кто из газеты? – я автоматически сделала шаг вперед, но Володя схватил меня за руку. - Второй раз спрашиваю, кто из ТОЗа за яйцами? Нет журналистов, тогда универмаг!

- Вот гад, - кипел Шулятьев, когда мы отъехали несолоно хлебавши. – Я ведь просил конфиденциально, а он, жулик, опозорить хотел. И, вытаскивая солидную пачку денег, – оказывается, желающих яичницы было полредакции, вопрошал: – Что я людям скажу?

Поестъ прилично можно было в ресторане. Наши любимые с Верой «Центральный» и «Дальний Восток». Позволяли мы себе такую роскошь не часто, и каждый визит воспринимали как маленький праздник. Чтобы он не носил сомнительный характер по поимке завсегдатаев – мужиков, мы с Верой, девки чертовски молодые, видные, приглашали с собой или Андрея Ивенского, или Николая Рябова. Посещение, подчас завершавшееся большим застольем, непременно приурочивали

к щедрому гонорару, чтобы не слишком страдал семейный бюджет. Нередко встречали наших авторов, хабаровскую богему и живую легенду Всеволода Иванова в окружении почитателей. Сдвигали столы, забывали, где мы, в бесшабашном порыве соревновались в остроумии или слушали колоритные эпизоды из еще не написанного.

Как-то перед очередной красной датой в редакции был объявлен конкурс на лучший материал. Победитель получает аж 50 рэ. Я давно мечтала написать о своей главной учительнице – библиотекаре Т.И.Кузьминой, распахнувшей передо мной поразительный мир книг, светлом, чистом человеке. Очевидец Ленина, участница Волочаевских боев, в послевоенные годы она занималась хабаровской шантрапой, превратив по вечерам библиотеку им. Гайдара в театр, где мы ставили спектакли. После прочтения книг «Медок», «Урожай», везла нас к пчеловодам, на хлебозавод. А сама Татьяна Ивановна одевалась бедненько. Ходила в ботинках или валенках, которые всегда «хотели есть». Что двигало ею? Писала трепетно, с любовью.

На летучке утром были объявлены победители конкурса. Мы с Верой разделили первую премию! И еще один сюрприз: в обеденный перерыв побежали в промтоварный магазин «Восток», что близ рынка – из надежных источников поступил сигнал, что в продаже должны быть супермодные кофточки.

Ну, как не отпраздновать два таких события. И после работы Андрюня Ивенский повел нас в «Центральный». Сидим, это мы, две привлекательные дамы, в белоснежных, с обильными воланами блузках, от удовольствия не дышим. Еще таких в Хабаровске ни у кого нет. Вдруг взгляд Веры надменно застывает на стайке появившихся в зале официанток ... точно в таких же блузках, явно из одной коробки. Да это же униформа обслуживающего персонала! Настроение было испорчено, но не надолго. Нам не привыкать, как убедил Андрюня, мы, журналисты, тоже услуга...

«Деньги – это всегда приятно» – говорил Шопенгауэр. Но из них мы культа не делали. Когда при разметке гонорара одному из постоянных авторов, ныне доктору наук, и по сей день успешно сотрудничающему в «ТОЗе», вместо домашнего адреса я увидела расчетный счет Сберкассы, это вызвало удивление и антипатию. Хмырь, куркуль. Так мы его стали звать. В гонорарах, премиях за лучший материал мы видели не столько денежную сумму, которая, конечно, радовала, сколько эквивалент творческого признания. Более того, весьма ревниво относились к коллегам – передовикам в гонорарной ведомости. Подобных чувств не испытывали к Вере Побойной. У нее были неизменно самые высокие гонорары.

И тем не менее с краской стыда за свою надменность, бестактность вспоминаю внештатницу Елену Новаковскую, деликатную, интеллигентную женщину преклонных лет. В неизменной кокетливой шляпке она приезжала с поселка Горького с театральными рецензиями. Вдова, муж нелепо погиб, осталось двое поздних детей-студентов столичного института. Их надо было доучить. Все наличные она высылала детям и билась как рыба об лед. Маленькую заметку о гастролях, за которую заплатят 5 рублей, и над которой работала, наверное, ночью, она привозила чуть свет, чтобы успела пойти в номер. И я бесчувственно сокращала филигранно переписанные строчки, «выжимала воду». Почему во мне ее судьба не нашла отклика, понимания? Приезжала она по утру, тихо сидела в ожидании на вахте. А я, как всегда, опаздывала на работу, вся из себя психованная. Как-то, пытаясь незамеченной проскочить мимо вахты, увидела Новаковскую, и не выдержала: «Ранняя вы птаха! Что, не спится?» – публично, при курьерах. Она низко опустила голову, и предупредительно пропустив вперед, робко последовала за мной. Как я могла обидеть незащищенную старость, дерзким словом ударить, не задав себе шекспировского вопроса: «Кем ты станешь, когда тебя засеет седина?» Об этом не думалось, как и о том, что пройдут годы, и я окажусь бродячей собакой в поисках газеты, где бы моим строчкам дали приют, а мне – существование, похожее на жизнь.

Понимала, возвращение в «ТОЗ» на правах внештатника в пенсионной кондиции – проблематично. Во все времена тихая мечта редактора – избавиться от журналистского балласта, что и регулярно делалось. А надоедливые внештатники, как правило, без данных Юрия Щекочихина или Бориса Резника, словно бревно в глазу. Не иначе неудачники, оказавшиеся на обочине победного газетного пути. Их суетливые, старческие попытки выползти со своими журналистскими опусами на страницы газет, подвергались молодыми коллегами остракизму. Возможно, в этом есть своя логика, ведь такими же не сочувствующими старшему поколению были и мы когда-то.

«Щелчки как стартовая площадка»

Каждый из нас в те годы, как штучная личность, знал свою цену. Людмила Малиновская, Ольга Тарасова, Андрей Ивенский, Ирина Романова, Александр Климников пришли в редакцию почти сразу после войны. Каждый из них – целая эпоха в хабаровской журналистике. И каждый без исключения пережил малую или сокрушительную трагедию расставания, то ли по старости, то ли по неужности, с «Тихоокеанской звездой», осветившей судьбу и выкачавшей лучшие душевные силы.

Не в счет бывший литсотрудник «ТОЗа», ныне российский поэт Римма Казакова, уволенная из газеты за профнепригодность. Первый раз мы встретились с ней в Охотском аэропорту. Римма готовила для суперпопулярной тогда «Литературной газеты» статью об Охотском побережье. Вернувшись после облета ледяной обстановки, мы сидели с ней на берегу весеннего Кухтуя. Затягиваясь тоненькой сигаретой «Березка», она похихатывала, вспоминая эпизод развода с «ТОЗом». Щелчок, полученный в газете, упрочил ее стартовую площадку для взлета в свободное творчество. Свою убежденность, что в провинции талантливый человек не добьется высот, подтверждали неоспоримыми фактами: «Хабаровские поэты пишут ничуть не хуже столичных, тот же Сергей Тельканов. Но кто в стране знает о его существовании? А если ты к тому же работаешь в газете, чья ненасытная утроба поглощает все силенки, иссушая и глуша живые ростки индивидуальности, тебе как большому творцу – каюк».

Я смотрела на Римму с любовным почтением и думала: - Легко ей говорить, она ленинградка, выпускница нашего университета, уже тогда была в Хабаровске знаменитостью. И будущее ее, безусловно, лежало не на амурских берегах, есть родительский причал в городе на Неве. Тем более у нее начинался нешуточный роман с Г.Г.Радовым, писателем, членом редколлегии «Литературной газеты», находящимся на тот момент в командировке во Владивостоке.

Чтобы не вспугнуть судьбу, Римма говорила о возможных изменениях в личной жизни иносказаниями, подтекстами. Когда я однажды условным стуком постучала ей в дверь (занимала она комнату на втором этаже нынешней «Руси»), где мы читали Киплинга, пили сторублевый (какие деньги!) коньяк «Двин», обжигаясь картошкой в мундире – ее коронным блюдом, прославленным в стихах, почтальонша просунула под дверь срочную телеграмму из Владивостока с пронзительными словами: «Родная, я буду любить тебя тысячу лет», - здесь Римма не выдержала и без иносказаний поведала, что в душе растерянность, неведение как поступить. На одной чаше весов судьбы, как я поняла, - надежность, столица, пылкость чувств. На другой – возраст любимого человека, нечто еще. Ну что я, соплячка, могла посоветовать? Да и в советах она не нуждалась. Все решала сама и ее рисунок жизни, запечатленный на ладошке. Мне же оставалось молить, чтобы он был светел и счастлив.

Потом, уже в Москве, где я проходила преддипломную практику в журнале «Крокодил», гостила в Мичуринске у Радова и Казаковой. Московской квартиры они не имели, и будни были связаны с расписанием электричек. Мы с Георгием Георгиевичем, подобным по складу ума, самобытности роденовскому «Мыслителю», ходили на перрон в ожидании возвращения Риммы из Москвы. И он учил меня, в какие словесные ткани можно завернуть острый критический материал, чтобы он попал не в корзину, а на газетную полосу. Скептически относился к Ленинградскому университету, не родившему за последние годы ни одного, кроме Риммы и Майи Борисовой, яркого поэтического имени. А вот Женя Евтушенко без всяких вузов владеет умами современников, если, конечно, рот не заткнут. Тогда у поэта начались неприятности из-за изданной за рубежом «Автобиографии». Подписывая мне свою вторую книжку, Римма говорила: «Моя стоит, видишь на обороте – 15 копеек, пусть твоя будет стоять вдвое дороже». Увы, не сбылось. Вышедшая в Хабаровском книжном издательстве моя повесть тоже стоила 15 коп.

По мотивам профнепригодности не подошел к тозовскому двору Григорий Ходжер. Но он не любил об этом говорить. У ставшего безусловным и мощным мэтром дальневосточной литературы писателя, когда он по пути из издательства заходил в редакцию, мы выпрашивали новые главы его романов, и под грифом «срочно» секретариат отправлял их в набор. Как-то заглянув к нам в отдел, и отпросив меня у заведующего, предложил пойти на речной вокзал, где на волнах покачивался речной ресторанчик. Гриша потащил меня сначала в соседний с редакцией книжный магазин, куда

поступил тираж его книги «Конец большого дома». Здесь же, на прилавке подписав: «Дорогому человеку, Катюше Гриценко – моей любви. Гриша. Автор». Любовью его я никогда не была, просто у писателя было отличное настроение, а вот другом, с кем можно говорить обо всем на свете – этой чести удостаивалась. И в уютном ресторанном зале на дебаркадере, о борт которого билась волна, а в окнах блистала красотища Амура, мы, заказав бутылочку «Агдама», говорили за жизнь, в частности, коснулись лаборатории творчества.

- Я его люблю. - Не отрывая взора от окна, признавался Гриша. – Он мой вдохновитель и главный герой. Когда пишу о нем и о людях, живущих на его берегах, процесс работы над книгой захватывает, возбуждает так же, как любимая женщина в близости – утрачиваешь бег времени, окружающую реальность. Впрочем, процесс творчества более интимен, тонок, драматичен и непостижим, чем любовь. В такие дни, если жена не подаст еду, забываешь, ел ли, пил ли. Ты на другой планете, сердце которой - Амур первой половины этого века. Даже когда сламывает сон – образы, сюжетные линии не покидают. И так днями, месяцами, годами, пока не поставлена последняя точка. Ты когда последний раз меня видела? – наступал собеседник. – Правильно. Год назад. Пока «Большой дом» печатался в типографии, я сидел как проклятый над новым романом. Вот отнес рукопись в издательство. И три дня отключаюсь. Незабвенная супруга ищет меня по друзьям. Она не упрекает, понимая, что от плена воображаемых героев нужно освободиться.

В ресторанчике, прослышав, что среди посетителей Григорий Ходжер, подходили почитатели и просили автограф. Мой собеседник, демонстрируя усталость от славы, командовал: «Катя, подписывай», что вызывало неудовольствие жаждущего автограф. Но эту заминку мы быстро устранили, и счастливый почитатель, передав за наш стол традиционный презент, возвращался на свое место. Если совпадали «окна» в творчестве Михаила Белова, они освобождались вместе и долго. Недавно я перечитала «Улыбку Мицара» Белова и «Конец большого дома» Ходжера. Не прочла – проглотила. Блистательная литература, ярче и пронзительнее детективов, которыми зачитываются нынче современники.

«Профессионально очень пригодные»

Видимо, чтобы не попасть пальцем в небо, то есть в очередной нераскрытый талант, в редакции, при формулировке мотивов увольнения, с термином «профнепригодность» стали обходиться более аккуратно. За годы работы в «ТОЗе» я не знаю никого, кто бы по собственной воле жизнерадостно, как освобождение, покинул стены редакции в никуда. При полном параде нерастраченного таланта, как только ударил возрастной гонг – 55 лет, «ушли» Малиновскую (Шахматову). После чего Людмила Николаевна еще лет пятнадцать ярко писала в «Суворовском натиске». Ее золотое перо высокой пробы в силу необъяснимых причин оказалось в «ТОЗе» слабо востребованным. А пришла она в эту газету девчонкой, и что удивительно, как рассказывают сторожилы, первая ее заметка была опубликована без малейшей правки, что редчайшее явление для новичков. Уже позже Малиновская нашла свою тропу в журналистике. Как ее, например, находит спортивный обозреватель. Будучи уже маститым театральным критиком, довольно в зрелом возрасте стала студенткой, а затем аспиранткой московского института театра и искусства, посмеиваясь над собой: «Я вечный студент». Ее рецензии, пронизанные знанием движения души человеческой, психологии людских поступков, пробуждали в коллегах добрую зависть, а у читателей - восхищение. Почему же «ушли»? Полагаю, что дело отнюдь не в «трудном характере», о чем судачили коллеги. Что касается характера, да, был инцидент, повергший всех в шок. Людмилу Николаевну, блистательного театрального критика, из отдела культуры вдруг переводят в партийный к Жене Бугаенко. Что между ними произошло – неизвестно. Приходим утром в редакцию и ахаем – свой рабочий стол Женя демонстративно вытащил из кабинета в коридор и как ни в чем не бывало сидит на всеобщем обозрении и при тусклом коридорном свете лампочек строчит очередную статью. Нонсенс. Приходят авторы, видят эту странную сцену, недоумевают. Их обоих вызвали, конечно, к редактору на ковер для объяснений.

Как мог внешне невозмутимый Евгений Иванович поддаться на провокацию женских эмоций, неизвестно. Знали другое, Людмила Николаевна, неуступчивый человек, может смело

пойти против течения, на летучке высказать свою позицию, противоположную общепринятой, защитить, поддержать перспективного, но оплошавшего младшего коллегу.

С переходом в отдел партийной жизни ее тяга к искусству всячески пресекалась, и если Малиновская внедрялась в театральные темы, вынуждена была подписываться: «аспирантка ГИТИСа». Но и в партжизни она выдавала такие газетные пласты о человеке земли, что я диву давалась.

Кому она, живущая отстраненно от редакционных кляуз и склок, могла перейти дорогу? Досконально известно – этот человек жив. Назовем его Пиковый Туз. На протяжении многих лет, исподволь, он творил недобрую погоду в «Тихоокеанской звезде» – журналистским авторитетом, острой репликой на редколлегии, когда решалась чья-то судьба, влиял на кадровую политику, зиждившуюся на его личных симпатиях и антипатиях к коллегам, в частном случае с Малиновской, более талантливой, чем он сам. Впрочем, это мое заявление несправедливо. Как истинно творческие люди, оба понимали – талант превыше житейских недоразумений, пробежавших «черных кошек». Малиновская и Туз по крепкому, яркому перу стояли друг друга и знали это. А случилось вот что. Человек незапятнанный, чистых помыслов, Малиновская после очередной редколлегии, где Туз повел себя непорядочно, было это давно, посмела, наклонившись к нему, сказать: «Ну и дрянь же ты!». Сидящие рядом члены редколлегии слышали. После чего лет двадцать, встречаясь изо дня в день, Туз не замечал Малиновскую. Она платила тем же. И только на 80-лети «Тихоокеанской звезды», в 2000-м году, оба уже в преклонном возрасте встретились не как недруги. Акт примирения безысходно запоздал.

Не верилось, что Людмила Николаевна, такая бодрая, легкая, в свои за 70 лет потрясающе моложавая, перенесла инфаркт. У нее на торжестве, как назло, случился маленький казус, сломался каблук китайских модельных туфель. Без тени смущения переодевшись в удобные, рабочие, и оказавшись за одним праздничным столом в «Интуристе», она, смеясь, показывала Тузу коварный каблук, оба сетовали на качество китайского ширпотреба и поднимали тосты за здоровье друг друга. Никто тогда не смел поверить, что Людмиле Николаевне оставалось жить два месяца...

В любом коллективе от нежелательного сотрудника достаточно легко можно было избавиться не только по причине возрастного ценза, но и по внеурочно выпитой лишней рюмке. Чего таить, пили журналисты отменно. Как говорил Чехов: «Водка белая, но красит нос и чернит репутацию». Журналистов с красными носами отроду в редакции не было. Но доброжелателям «заловить» коллегу на «змие зеленом», если очень захотеть, не составляло труда. Невольный грех лежит и на моей душе.

Работали у нас Коля Завьялов, после окончания Хабаровской ВПШ, и Борис Иванов, выпускник МГУ – умные ребята, интересные собеседники и блестящие журналисты. Борис, по специальности философ, обладал удивительным даром так преподнести сухой пропагандистский материал, что читался он как рассказ.

Особенно творчески полно зарекомендовал себя Николай Завьялов, когда возглавил отдел по патристическому воспитанию. На конкурсе по данной тематике, проводимом на союзном уровне, неоднократно занимал призовые места по всем возможным номинациям. Человек бесхитростный, он немало натерпелся от Пикового туза, не выдержал, имел неосторожность сказать ему, в отличие от Малиновской, принародно, на планерке нелицеприятные слова по поводу того, что есть человеческая порядочность. Тем самым обрел себе «доброжелателя». У Николая вообще была трагическая судьба: четверо детей, жена попала под поезд. Удивляюсь, как он так долго держался, уж ему-то было ведомо, что самый доступный способ уйти от горя – бутылка, к чему он был склонен. Но дети и любовь к газете не позволяли пустить жизнь на распыл. Однажды он не вышел на работу, и меня отрядили от профкома узнать причину и доложить, Завьялов почему-то был под особым контролем. То, что я увидела, поразило: осиротевшие комнаты – казармы, отсутствие необходимой мебели, на кухонном столе краюха хлеба. Как мог Николай являться в редакцию в свежих рубашках, при галстук – непостижимо. Никакой пьяной братии я не обнаружила, сын сообщил, что отец с утра ушел на репортаж и, видимо, забыл предупредить секретариат.

Борис и Николай были моими друзьями, и однажды обоим я пригласила на день рождения. Не бескорыстно, для «колера» – собиралась женская компания, без мужиков. а они оба полусвободные, с выдумкой, остроумные. Когда «слиняв» из редакции на часок раньше, прибежала к дому, Коля с Борисом уже стояли с букетиком цветов у моего подъезда, из карманов торчали бутылки с вином, а сами умеренно веселые. Мы вдвоем быстро почистили картофель, сочинили

салат, и к приходу гостей все было готово. Под возгласы «Ура!» прибыла Эля Кириченко с огромным букетом белых гладиолусов, – объездила весь город на такси в поисках именно белых. Напелись, натанцевались. День рождения прошел по-студенчески замечательно.

А на утро, перекуривая на лестничной площадке, кто-то спросил: «Ну, как отметили?» И я, ни сном ни духом не догадываясь, что не за понюшку табака продала друзей, ибо мой рассказ, какие ребята молодцы, что пришли пораньше, и какой отличный салат приготовил Завьялов, слышал Пиковый туз. Уже через час редактор вызвал в кабинет Завьялова и Иванова. Возвращаясь, Николай прошел мимо меня, будто я пустое место. Ничего не понимая, кинулась к Борису – что случилось? – Знаешь, Гриценко, мы такого свинства от тебя не ожидали. К Николаю вообще не подходи, он в таком состоянии, что за него не поручусь.

Обоих заставили писать объяснительные, – почему ушли с работы раньше и пьянствовали в рабочее время. А затем был приказ по редакции. Тогда я еще не боялась Пикового туза, бросилась в бой, без обиняков спросив:

- Это ты бегал к редактору?

- А что ты хочешь, чтобы я молчал, когда этот «патриот» на меня руку поднял.

Мое возмущение, что средства, которыми он пользуется, беспардонны и циничны, оказалось на школьном уровне. Что такое черное и белое Туз понимал лучше меня, растолковывая непросвещенному читателю на страницах газеты, а сам следовал другому принципу: все средства хороши.

Это был у Завьялова второй выговор, а третий не заставил себя долго ждать. Его уволили. Потерявший веру в себя, сломленный, он, говорят, какое-то время бичевал. Затем работал в Охотске и там трагически погиб. Судьба Бориса Иванова, – где он, что с ним – неизвестна.

На очереди на увольнение оказалась Рая Рябенко, слывшая абсолютной трезвенницей, с этой стороны к ней «подобраться» было невозможно. Выпускница Дальневосточного университета, тишайшая, как мышка, работоспособная словно пчелка. Ее симпатичные, непритязательные материалы о проблемах легкой промышленности в крае не казались лишними в газете, тем более на фоне тяжеловесных лозунгов-реляций. По репликам Туза, Рая со своей незаметностью, меланхоличностью, мягко говоря, не вписывалась в образ редакции. В редколлегии же бытовало почему-то мнение, что молодой факультет журналистики в Приморье поставляет слабые кадры (время показало несостоятельность такого суждения). Как известно, прибывшие по направлению из вуза, не проходили испытательного срока. Кроме того, им сразу же полагалась квартира. Можешь хоть в потолок плевать и ни строчки не выдавать, но три года обязан отработать. Раиса не бездельничала, а ей втолковывали: «ТОЗ» – не ликбез». И дали два месяца, чтобы поискала новую работу. В таком подвешенном состоянии она пребывала почти два года.

- Ты не представляешь, в каком аду я живу. Задания не дают. Старые материалы не печатают. Прихожу в отдел как на каторгу. И первый вопрос Панченко: «Ну что, Раиса, нашли работу?» – жаловалась она. А однажды заявила домой ко мне с бутылкой сухого вина и с негромким воем: «Куда мне деться?» К счастью, ей повезло. Переводом ушла в «Суворовский натиск». На новом месте работы встретила будущего мужа, москвича. И живет давно в столице.

На этом фоне особенно остро сетую, что месячный испытательный срок, отпущенный Людмиле Лазаренко, оказался кратким. Красивейшая, неординарной судьбы, светлой души человек Людмила развернуться не успела, а возможно, ей помогли «не успеть». Одинокая мать малого ребенка, она возлагала большие, трепетные надежды на газету, но оказалась в подчинении у Климинова, ведающего рыбной отраслью. Любимые им сейнеры, рыболовецкие станы как-то не привлекали новенькую. Ее пронзительный по остроте рассказ о жизни интернатовских детей, брошенных матерями, который она мне доверительно читала, хватал за живое. Благословив ее и обнадежив, я сказала: «Сдавай заведующему». И что же? Черканный-перечерканный, с вопросительными знаками на полях, он завершался несправедливой оценкой: «ученичество!».

- Как же так? – защищался Климинов, выговаривая автору и посверкивая единственным глазом. – Вы пишете: отец – пьяница, избивает ребенка, а тот, видите ли, на всем государственном обеспечении тоскует по родителям-извергам. Где логика? Да и вообще, это не моя тема. Куда вы забрели?

Позже, работая заведующей литературной редакции на радио, творчески окрепнув, она тосковала о «Тихоокеанской звезде», изредка, по заказу писала крупные рецензии, с яркими

оборотами, ненавязчивыми акцентами и убедительностью. Так могла писать только несравненная Людмила Малиновская.

Анализируя женские судьбы журналисток, кого знала, знаю, прихожу к горестному выводу, – за редчайшим исключением они схожи. Сколько драм, несбывшихся надежд, унижений, несостоявшихся карьер, обид выстрадано и пережито именно бабами с пером и блокнотом в руках. А если к этому добавить крутое одиночество и материнский инстинкт, способный заставить женщину, рожать вопреки всему на свете, в том числе здравому смыслу и общественному мнению, когда ты одна в двух вечных ипостасях – и мама и папа, подобное мужикам, занятым творческой работой, вряд ли выдюжить. Непомерный груз житейских проблем не покидал царственных плеч Людмилы Лазаренко. Меня гнетет запоздалое чувство досады, что редакция по небрежности потеряла хорошего газетчика, а журналистский цех Хабаровска – достойнейшего коллегу. Безвременно, на 46-м году жизни Людмила Лазаренко умерла. Неведомо, как давно ее, статную красавицу с каноническим лицом, подтачивала болезнь, истоки которой – при внешней невозмутимости – «вечный бой, покой нам только снится». Ее похоронили на городском кладбище недалеко от могилы Ф.Г. Куликова. Когда я иду навестить своего любимого редактора, захожу с двумя цветками в соседнюю оградку, на могилу к Людмиле, и разные мысли приходят в голову, в основном из области фантастики: «Прежде чем здесь лечь, друзья мои, вам бы при жизни повкалывать вместе, старшему и младшей, на страницах одной газеты по имени «ТОЗ», досказать то, что унесли с собой, лучшее, недоговоренное. А вы, Федор Георгиевич, окружили себя подхалимами с «курками» в карманах, доверились замшелому коллеге, утратившему зоркость на таланты».

Каким был Климников в молодости, не знаю, говорят, добросердечным, но к пенсионному возрасту, каким его знала, приобрел цвет лица, как у лесоруба, полжизни проведенного в лесах и снегах с бутылкой на перевес. Однако его никто не видел похмельным. И в случае разборки на этой почве провинившегося коллеги, он первым бросался в атаку, высказывая свою непримиримость.

Осколок «Серебряного Века»

Особое место в данной проблеме занимал любимый всеми и даже Пиковым Тузом за талант и смиренность Андрей Ивенский. Вряд ли в истории газеты был столь эрудированный человек, подлинный мастер слова, как наш Андрюня – так ласково называли его. Зная цену предательства, низости, клеветы, не способный нанести ответный удар «по заклятым друзьям», он воспарял над «житейским сором», беседуя с Богом, утопал в поэзии. В ней была его доминанта жизни и творчества. Тончайший стилист и лирик, поистине осколок «серебряного века», волею судьбы оказавшийся на берегах Амура, он знал лично Вертинского, мог воспроизводить низким голосом все до единой его песни, был кладезем знаний мировой поэзии и нес в своем сердце сокрушающую, пламенную любовь к Прекрасной незнакомке. Без этой любви, в которой видел высший смысл бытия, придуманной или реальной, жизнь для него тускнела, лишалась поэтического вдохновения. А еще Ивенский любил свою «Тихоокеанскую звезду», жертвенно и самозабвенно был предан ей.

В его внутренний духовный мир доступ чужаку был заказан. Но если удостоился чести приблизиться, в этом элегантно одетом, с бабочкой вместо галстука, которую извлекал в торжественные моменты из нагрудного кармана, невысоком человеке открывался цветущий сад и нездешняя одухотворенность. По натуре безбидный, Ивенский особенно не вмешивался во внутриредакционные дела, находясь как бы в тени, но оставался неофициальным лидером. Он был нашим культурным кодом, эталоном высоких интеллектуальных запросов. Не случайно, при оценке атмосферы тогдашнего «ТОЗа», как-то промелькнула фраза: «то была эпоха Ивенского». Молодой коллега, не знающий Бодлера, Элюара, вызывал у старого журналиста сострадание. Мы сошлись с Ивенским на Верхарне, чуть ли не скандируя дружно: «О, женщина вся в черном! Сколько дней я ждал тебя среди грома площадей... Гордыней бедра налиты». Испытывая меня, начинал тихим, загадочным голосом: «Простор чудесных волн пред вами лег сейчас, и вал, катясь за валом следом, – а когда я подхватывала: – Уже возносит вас к победам по лестнице, где все – и пена и топаз», был просто счастлив.

Однако мои знания не дотягивали и до тысячной доли поэтической кладовой, которую нес в себе Ивенский. Между прочим, на весьма краткое время я для поэта оказалась той самой «незнакомкой». Задолго до меня в этом почетном ампула были молодые, красивые сотрудницы, в том числе из издательства. Дольше всех продержалась Вера Побойная. Свое обожание поэт выражал своеобразно, дистанцируясь и, как юноша, украдкой вздыхая. Ощущение удивительное, будто ты сидишь не одна в кабинете, и не в одиночестве шагаешь по улице, добрый, всепрощающий дух сопровождает тебя повсюду, без укора, с пониманием, - ты кому-то не безразличен. Ухаживание завершилось двумя листочками стихов, написанных бессонными ночами. И мы оставались друзьями. Но вот защитить, стукнуть кулаком Ивенский не мог. Борцом себя не считал, по причине типичной мужской слабости - он не умел пить. Употребив лишнюю стопку, если это было вечером, шел к темному зданию редакции, где горел свет лишь в окне кабинета «свежей головы». Звонил, стучал, ему открывали. И требовал показать полосу газеты, чтобы убедиться – его лучший фельетон цензоры не выкинули из номера.

Хранители государственной тайны были всеильны. Из готовой полосы материал мог вылететь из-за мелочи – точного расстояния между двумя городами, любых абсолютных цифр производства промпредприятий, переработанных кубов золотых песков, не говоря уже о самом драгметалле (можно было только в процентах). Все это считалось стратегическими данными. В таких случаях безжалостно подвергались резке абзацы и целые куски. Кроме того, цензоры усиленно шарились по газетным полосам в поисках подтекста – неконтролируемых ассоциаций, которые расшатывают, чернят советскую власть. Например, автор рассуждает о каком-то конкретном случае, где налицо нарушение прав человека, и не делает звонкого акцента, что это редчайшее исключение на фоне нашей раскрепосной жизни. И уж совсем гиблое дело, когда весь материал, например, как у Ивенского «Продавец воздуха», посвящен мошенникам с партбилетами в кармане. И несчетно раз было такое, когда вместо того, чтобы печатать тираж газеты, поднимали с постели редактора, советуясь, чем заменить острый, критический материал, запрещенный цензурой.

Успокоившись, что фельетон «коновалы» не тронули, на радостях Андрюня готов был продолжать праздновать победу уже со «свежей головой». Если дежурный редактор оказывался порядочным человеком, он вызывал редакционную машину и отправлял ночного визитера домой, уговаривая водителя дядю Ваню доставить коллегу не к подъезду, а к дверям квартиры. При иных личностных качествах «свежей головы» на следующий день Куликов уже знал о ночном визите, но знал и другое: «грехи простятся за стихи». Ивенский, виноватый и смущенный, сидел в кабинете, мучаясь в догадках, ждать ли строгача или все-таки его фельетон отметят как лучший материал номера. И когда видел, что секретарша Маша Щедрова выходит в редакционный коридор с кнопками, чтобы укрепить на специальной панели вырезку из газеты с его именем, весь светился и шептал мне: «Все, клянусь, больше ни ногой в контору ночью». Однако клятва оказывалась в силе до следующего фельетона в газете. Так что Куликов взял у него письменное обязательство не являться ночью в редакцию.

Столь снисходительное отношение к слабостям старейшего журналиста было редким исключением, не распространялось на молодых. А скорее наоборот – факт употребления алкоголя во много крат облегчал процедуру увольнения неугодного.

«Усталые, но бодрые дубки»

Перечитала написанное и смутилась, складывается впечатление, что в редакции только и занимались выживанием неугодных молодых талантов. Ничуть не бывало. Во-первых, это происходило на протяжении многих лет и другое, речь идет о втором эшелоне журналистов, где отбор лучших – естественное явление.

Как и в каждой творческой среде отбор был не совсем естественный. Помимо профессионализма требовалась некая пробивная сила или смирение вкупе с яркой одаренностью, а также умение держать межклановое равновесие, и в случае нарушения его, на полсекунды раньше нападающего «выхватить из кобуры кольт». Неприкосновенными, прочными дубками вросли в редакцию Климников, Павчинская, Винников, Тарасова, Пошатаев. Никакие заморозки и оттепели

не стронули их из-за редакционных столов, от печатных машинок, в которых заложена или взрывчатка или серебристые ландыши. Кто-то из них писал нервами, потом, сердцем, а кто-то с тихой мечтой гоголевского Акакия Акакиевича выслужить однажды какую-нибудь «шинель». Все они крепко поизносились в этой тяжелой работе и заслужили право трудиться в «Тихоокеанской звезде» столько, сколько позволяли здоровье и энергетические силы. Однако для этого требовалось всерьез похлопотать перед крайкомом партии с соответствующей аргументацией.

Не знаю, хлопотали ли за А.Р.Павчинскую. Некоторое время, пока мне не нашли рабочее место, я сидела в ее отделе писем, который она возглавляла почти четверть века, с небольшими перерывами – отпусками по уходу за ребенком, за больным мужем. Застала ее в предпенсионном возрасте, но на вид четко бальзаковском, ни на пятилетие больше. С глубоким почтением воспринимала хозяйку кабинета – еще бы, жена дальневосточного писателя Вадима Павчинского. Величая его супруга со всем тщанием следила за своей внешностью. В нарядных платьях, скрывающих полноту, при безукоризненной прическе, с молодежавым невозмутимым лицом, она восседала, как царица. Жалобщики, посетители, оказавшись в многолюдном отделе, безошибочно угадывали «главную». Корпя над очередным материалом, я украдкой смотрела на Павчинскую, и неустанно задавалась отвлекающими вопросами, какими кремами она пользуется – ни одной морщинки и как бабе-журналистке нужно жить, чтобы так сохраниться.

Каждый из нас знал, как «Отче наш» – «на гора» выдать план, 1200 строк. 60 процентов авторских материалов и сорок своих, журналистских. За годы работы Анна Романовна отвоевала право не писать собственные материалы. И без того забот, мол, у заведующего хватает – тысячи читательских писем, хотя на них работала дюжина учетчиков, а среди них такие асы, как Юлия Ступак, Зина Макарова, Вика Маловинская. Они первые, утомляя зрение, подчас с помощью лупы, читали почту. Сортировали письма, отдельно откладывали те, что после проверки, правки могут пойти в номер, и приносили заведующей на подпись. У Анны Романовны все сто процентов, когда по строчкам дотягивала до плана, были авторские. Зато вела прием посетителей на высоком уровне – деликатно, с пониманием и чувством. Если редактор требовал сделать обзор почты, она, бедная, покрывалась испариной, нервничала, то был черный день в ее жизни. Лишней траты энергии себе не позволяла и поручала обзор литрабу, который всегда под рукой. Щепетильная до фанатизма к своему здоровью, если кто-то из учетчиков кашлял, чихал, она, прикрывая рот белоснежным платком, чтоб не подхватить простуду, приказным тоном немедленно отправляла подчиненного к врачу. Безраздельно все свои душевные, физические силы берегла и отдавала семье.

Годами ухаживала за больным мужем. Найдя во мне благодарного слушателя, с упоением рассказывала мне о кашках, клизмах и о том, как тяжело пережила его уход. Сейчас предметом ее забот, любви и гордости был сын, тогда известный в городе диктор радио и телеведущий Геночка Павчинский. На ее рабочем столе среди кипы писем стоял портативный приемник, и когда по программе радио шли новости или литературные передачи, прием посетителей заканчивался, письма откладывались – Анна Романовна без помех слушала родной, хорошо поставленный голос сына. Лицо ее розовело, молодело, и вся она была теплая, уютная, домашняя, чопорности как не бывало. Передача заканчивалась, дверь для посетителей открывали, рабочий день продолжался. Она могла часами рассказывать, как ее Геночка талантлив и в нежном детстве заметно отличался от своих сверстников любознательностью, изобретательностью, а она, мама, с него сдувала пылинки. Но вот невестка недооценивает мужа и внука воспитывает не так, как надо. А вчера что утварили? Внучок незаметно пробрался к распахнутому окну, влез на подоконник, чуть не рухнул с четвертого этажа. Хорошо, что Гена, с риском сманеврировав, успел схватить ребенка. Всю ночь не спала, кошмары мерещились.

Покинула Анна Романовна редакцию без драм, тихо, незаметно. Свершилось ее желание заняться воспитанием внука, слушать весь день радио, смотреть, когда пожелает, телевизор, чтобы на экране видеть красивое лицо единственного сына. Что случилось дальше с талантливым диктором, знает пол-Хабаровска. Геннадий Павчинский, купаясь в лучах славы и в любой семье почитаемый, желанный гость, незаметно спился. Почему это случилось, знает один Бог. Недавнего кумира хабаровчан, согнутого вдвое, с черным, нечеловечески пропитым лицом можно было увидеть сидящим на лавочках автобусных остановок на Карла Маркса. Пугал потусторонний, бессмысленный взгляд. Пешеходы, особенно женского пола, останавливались, всматривались и, узнавая, шептали: «О, Господи!» А каково было его матери, ведь падение сына происходило на ее глазах. Анна Романовна прожила 85 лет. А в этом аду последние, стариковские годы жизни.

Когда «тозовцы» пришли проститься с Анной Романовной, не узнали ее уютной квартиры с книжными стеллажами, с хрустальными вазами и люстрами. Это была голая казарма, в центре которой стоял гроб, а в нем лежала покойница с босыми ногами, в разграбленном доме у алкоголика-сына не нашлось для матери даже тапочек, и ни рубля на похороны. Не было ни родных, ни близких, а в «ТОЗе», она уже лет тридцать не работала. По всем параметрам жестких рыночных отношений, покойница, супруга дальневосточного писателя, могла оказаться в морге, среди не востребованных, когда заворачивают в целлофан и увозят партиями в Анастасьевку, где кладбище для хабаровских бичей. Но редактор «Тихоокеанской звезды» С.А.Торбин на редакционные средства застраховал всех своих стариков в компании «Колымской». И как всегда, был предоставлен автобус для провожающих. Естественно, поминки - за счет родственников, значит, без оных. Когда засыпали могилу, Лена Дроздова тихо заметила: «Это не дело, без поминок». Пенсионеры сложились, послали редакционного шофера за бутылкой. И здесь, на кладбище, в автобусе, разлили в задумчивости по каплям, чтобы выпить за упокой души Анны Романовны. Сидящий рядом с водителем Геннадий повернулся к старым «ТОЗовцам», вопрошающе произнеся глубокую фразу: «Налейте и мне. Я тоже к этому событию отношение имею».

«Пересекаются пути-дороги»

В студенчестве, на лекциях о специфике труда журналистов, нам приводили такие социологические данные. На интервью журналист тратит столько калорий, сколько полицейский на разгон демонстрации. По статистике, в шкале ранней смертности на первом месте – рабочие урановых рудников, а за ними - журналисты. В подтверждении этих драматических данных конкретный факт сегодняшнего дня. Из 17 неработающих пенсионеров-тозовцев, опекаемых «Тихоокеанской звездой», кто отдал жизнь газете и пересек возрастную планку в 60 лет, лишь один журналист. Остальные – «нетворческие». Дай им, Господь Бог, долгой жизни.

У газетчиков, как и у балерин, на каком-то этапе, еще далеко не в преклонном возрасте, возникает душевная усталость, творческий стеноз. Так это или нет, но мне пришлось быть очевидцем, как неуютно чувствуют себя самые требовательные из претендентов на увольнение из газеты по данной причине. Такие, как Ирина Романова, человек высокой духовной организации, культуры творчества. Она страдала, что не могла, как прежде, писать много и выразительно. Бывшее вдохновение угасало. Не покидала депрессия, превратив некогда жизнерадостную Ирину Михайловну в замкнутого человека. А ведь я, будучи ученицей школы № 34, помнила Романову веселой, молодой, в зените славы.

К нам в седьмой класс, где не было двоечников, пришел корреспондент «Пионерской правды», девушка с ореховыми глазами, с русой косой венцом вокруг головы и с блокнотом. Первым делом к ней повели круглых отличников, а потом уже меня – я писала бездарные стихи, например, о Стокгольмском воззвании за мир во всем мире. Призналась журналистке, что веду дневник. А ее уважительное ко мне, девчонке: «Разрешите почитать?», заставило очертя голову бежать домой за тетрадкой, напролом через площадь Свободы. На ногах «писк моды» – кирзовые сапоги. А так как мчалась напрямик, а не в обход по протоптанным дорожкам, чтоб сократить расстояние, увязла в грязюке так, что едва не застряла. Но успела. Журналистка еще не ушла и ждала меня. Она что-то выписала из моего дневника в блокнот, а я влюблено внимала ее словам – еще бы, со мной беседует настоящий журналист, которого я вижу впервые в жизни. С публикацией в «Пионерской правде» большого материала на весь «подвал» – запомнилась подпись автора «Ирина Романова» - на наш класс обрушилась слава, шквал ребячьих писем со всего Союза. Достался кусочек славы и мне, которой она посвятила отдельную главку «чтение – лучшее учение». Этот эпизод, как я, запыхавшаяся, в драных носках – сапоги с намотанными шмотьями грязи оставила в школьном коридоре, давала ей интервью, Ирина Михайловна запомнила. Как и мои косички с неприлично огромными бантами... из марли. Но, к сожалению, она не видела во мне ученицу в редакции – о, как я нуждалась в добром наставнике, гуру, когда судьба свела нас в газете. Между тем Ирину Михайловну уважали все и безгранично ей доверяли. К ней шли исповедоваться по самым тонким вопросам жизни. Знали, что конфиденциальность гарантирована. Она умела слушать, соучаствовать, о себе молчать, а если собеседник нуждался в совете - дать его.

Они тогда с Верой Павловной работали вместе в отделе писем и дружили. Побойная только что вернулась из Москвы после окончания ВППШ при ЦК. В ее подчинении была, как и у Павчинской, наверное, дюжина учетчиков – письма поступали в редакцию мешками, с самыми замысловатыми просьбами, требованиями, признаниями. Каждое надо было прочитать, зарегистрировать, занести в журнал, описав суть его. Критерий значимости и судьбу письма определяла милый человек и рабочая лошадка Юлия Ступак. Ей поручалось тянуть эту тяжкую лямку. Положиться на Юлию было можно – высочайший профессионал и содержимое каждого конверта Юлия Александровна воспринимала так, будто сама писала. «Вкусные» письма, изложенные хорошим литературным языком, или затрагивающие необычные жизненные ситуации, задерживались на столе заведующей отделом В.П.Побойной, – выбирай на вкус, ты первопроходец. Рубрики в газете «Письмо позвало в дорогу», «Командировка по просьбе читателей» пользовались популярностью, но Вера, видимо, еще не могла отойти от столичных впечатлений, о чем свидетельствует эта запись в моем дневнике:

«...Высокая, статная, красивая, держит собеседника на дистанции. Одним взглядом глаз цвета или молодых незабудок или холодной стали, может отшвырнуть или снизить. В приватной беседе потрясающе откровенна, расстегиваясь до последней пуговицы: где, кого, куда, зачем... Напомнила ей о письмеце в Охотск, в котором она, Мурзина подбадривая в творческих начинаниях, писала: «Катя, не боги горшки обжигают».

- Я такое писала? Не припомню. Во, хорошая была Мурзина. Сейчас я подобных писем авторам не пишу. Пусть сами выкарабкиваются».

«...Зашла в отдел писем зарегистрировать письмо. Вера Павловна без прически, подавленная.

- Ну, как там моя комната, греет? Хорошие времена были, кавалеры через окошко прыгали.

- А у вас сейчас есть отдельный кабинет?

- Есть. И печатная машинка, и рабочий стол. Так ведь не пишется. Из головы Москва не уходит. Там у меня был соавтор... Говорю себе: «Чего тебе еще надо, ты выиграла лотерейный билет, – познала яркую московскую жизнь, трепетность чувств, наполненность бытия» А потом вот Хабаровск. Господи, уж лучше бы я билет не выигрывала. В мыслях пустота. Я сказала себе, что как только мне ничего не будет хотеться, – я не стану жить. Да еще редактор- эксплуататор требует строчки, упрекает: «Зачем мы тебя учили?»

- Почему вы в Москве не остались? Столичным газетам нужны таланты.

- Куда я с моей оравой? Бабка Полина, дочь, сын, невестка, внук и мы с Борисом. Муж обижался на меня: ты мол, сильная и силой подавляешь. Сейчас видит – я как тесто, стал терпимее, успокаивает: «ты еще сил наберешься». А мне, кажется, я уже ничего путного не смогу написать. Умерла как журналист».

Ей было тогда 33 года. Скажи мне кто-нибудь, что у неустрашимой, с мощным энергетическим потенциалом Веры Павловны был подобный затянувшийся депрессион, не поверила бы не в жизнь, сочла клеветой. Но дневник мой и почерк тоже. Значит было и забыто. А тогда она во многом винила Ирину с ее всемирной печалью и непонятной тоской.

Действительно, последние годы, когда мы сидели в одном кабинете с Романовой – были серьезным испытанием. Происходило нечто непонятное. Точнее, в кабинете абсолютно ничего не происходило. Ирина могла отстранено сидеть часами, упорно глядя в одну, видимую только ей точку. Я затихала тоже, боясь вспугнуть. Если кто-то заглядывал в кабинет, она встряхивалась, но не надолго. Снова тишина и взгляд в никуда. Но к тому времени я была уже малость закаленная. Пройдя школу сначала Ларисы Дашлейгер (Ларской), а потом и Веры Побойной.

«Созвездие загадочных манер»

Лариса считала себя, и не без оснований, прамой в журналистике. «Ларская Лариса – созвездие загадочных манер: на внешний вид – московская актриса, а на поверку – милиционер» – очень в точку писал о ней Николай Рябов Легкая, женственная, умеющая обаять любого, она

курировала сельское хозяйство края. В ее материалах присутствовали два действующих лица – люди села и природа. Ей Лариса придавала многозначный смысл. И ее доярки, птичники, механизаторы шли на полосы газеты без грубого натурализма, с его навозом и пометом.

Как только я пришла в редакцию и получила комнату в доме священника, она меня «вычислила» в друзья. Сразу же вдохновенно стала помогать обустраивать новое жилье, проявляя деловитость. А в редакции, с еще теплыми листами своих зарисовок, заводила в красный угол и читала. Закончив, устремляла вопрошающий взор, ожидая похвалы. И, правда, очередной материал был хорошо скомпонован, динамичен, ничего лишнего. И я верила, что ей, любившей прихвастнуть, действительно предлагали работу в областной свердловской газете, чем она невероятно гордилась, ведь там старейшая кузница журналистских кадров, своих газетчиков – прорва. А вот ее, из провинции, готовы взять. Вскоре Ларскую удостоили чести и доверия – перевели в отдел партийной жизни, избрали членом партийного бюро редакции.

Казалось бы, чего не хватало Ларисе? Есть заботливый отец – главный режиссер Уссурийского театра, чем она тоже гордилась, есть любящий муж – Михаил Дашлейгер, взрослеющая красавица дочь, верная, как сестра, подруга Елена Пролесковская, а ее несло на обочину, в катастрофу.

В те годы в нашей стране не было алкоголиков. Понятия «алкогольная зависимость», «депрессия», «алкогольный синдром» – ни в литературе, ни тем более в газете не упоминались. Будучи как-то в командировке в Комсомольске-на-Амуре, узнала, что впервые в крае здесь создан закрытый стационар для лечения алкоголиков. Заинтересовалась и поразились. В палатах лежали, скрючившись, натянув на головы одеяльца, выдающиеся люди края, герои социалистического труда. Заслуженный строитель, орденосица, чье имя не сходило со страниц газет, и у кого я как-то брала интервью, узнал меня. Подавленный, с дрожащими руками, он поведал свою драму. Запомнился его страх: «Сплю ночью и вижу, – я снова напился, как свинья, ползу весь грязный из кювета, почему-то голый. Меня пот прошиб, ужас обуял, – опять сорвался, погиб. Просыпаюсь, сердце колотится, и как молния вопрос, – пил вчера или нет. Вижу – палата, я – чистенький. Слава тебе, Господи. Привиделось».

Потрясенная увиденным, вернувшись из командировки, побежала к Куликову докладывать о новой теме публикации. Федор Георгиевич выслушал и строго спросил:

- А ты имеешь моральное право писать на эту тему? – Я смутилась, понуро опустив голову, лицо покрылось пятнами. Да, был неприятный эпизод, когда Федор Георгиевич словесно крепко отхлестал меня за эти дела.

В Хабаровске ожидался приезд Ленинградского балета на льду. Об этом мне сообщила Людка, подруга студенческих лет, позвонив из Ленинграда и напомнив: балетмейстер зайдет и передаст презент. В тот вечер я дежурила по выпуску газеты – «свежая голова». То есть с полудня была дома, когда в дверь позвонили две ослепительной красоты дамы. Они привезли пламенные приветствия из Питера, бутылку коньяка и роскошную, с полстола коробку конфет. Поить их чаем и спрятать долой с глаз коньяк, посчитала непочтительным. Тем более гости, «дыша духами» и ленинградскими туманами, не скрывали желания продегустировать презент. Поставила две рюмки, на что дамы, возмущившись, воскликнули:

- А где третья?

- У меня дежурство.

- А у нас премьерный спектакль. Вы что, за Ленинград не хотите выпить?

Как отказать? Первую выпили за Ленинград. Вторую – за успешные гастроли в Хабаровске. От третьей решительно отказалась, чему уже особо не противились мои гости-ленинградки, за разговором весело опустошившие презенты.

Но и этого оказалось достаточно, чтобы Валя Бавин, по традиции сидящий до поздней ночи в своем секретариате, к которому я подошла с полосой, учуял недоброе. Этого бы не случилось, мы работали на разных этажах. Но я обнаружила серьезную опечатку на первой полосе: в выделенном жирным шрифтом сообщении о новом секретаре Индустриального райкома партии, вместо мужской, стояла женская фамилия. Почти то же самое, что на весь край сказать в газете А.К Черная, а не А.К.Черный. Странно, никто, ни дежурный редактор, ни корректора не заметили. От такой ошибки в редакции полетели бы многие головы, в первую очередь – Куликова.

«И как я высмотрела «блоху», одним словом спасла!» - весело спускаясь на второй этаж, думала я, вспоминая первого своего колымского редактора. В его сейфе всегда стояла бутылочка. Во время дежурства он позволял себе прихлебывать ее содержимое. При этом нюх на опечатки у него обострялся, как у собаки на колбасу, дежурный редактор находил такие «блохи», что и корректору-асу не по силам. Эти коварные существа всерьез отравляли жизнь редакторам и обнаруживались подчас при комических ситуациях. Был такой случай. Работник секретариата, уходя домой, обнаружил на рукаве белоснежной рубашки отпечаток от свежей полосы, выругался, а всмотревшись, прочитал на белой ткани четкое: «Предатель А.П. Шитиков». Не веря своим глазам, схватил уже подписанную к печати полосу. И ужаснулся: слог «сед» выпал и вместо «председатель», получился «предатель». Опечатки типа «Ленинград», «реакционный коллектив» вместо «Ленинград», «редакционный» имели свойство так глубоко прятаться от дежурных, что дюжины пар глаз не хватит их обнаружить. И на этот раз Валентин Бавин, увидев бабью фамилию секретаря, схватился за голову, побежал с полосой в типографию. Отпечатанную часть тиража пришлось отправить в брак.

Утром в радужных чувствах на звонок редактора «зайди» полетела в его кабинет. Скажет, вот какая зоркая, Гриценко, начисто забыв о ленинградках. И тут Федор Георгиевич мне поддал: «Кто дал право являться на дежурство в нетрезвом виде! – кричал он, не позволяя мне объясниться. – Сейчас же будет приказ. Ты у меня узнаешь, как пить во время дежурства! Строгача получишь!»

Меня обдало жаром и холодом. В ужасе я уже видела приказ, как вокруг него собирается вся редакция, судачат. Позор, я горькая пьяница. Подобного стыда не переживу. Окна в редакторском кабинете на третьем этаже были залиты солнечным светом, но в тот момент виделось нечто темное, заманчивое в них и приоткрытая створка магнитом влекла вниз. Я шагнула к ней близко, и кто-то вместо меня ультимативно произнес:

- Если появится такой приказ, я вот сейчас спрыгну с этого окна. - Откуда во мне возникло такое намерение, но оно было столь неудержимо, что ничто бы не остановило.

Очнулась я в своем кабинете. В руках почему-то последний материал, уже подписанный к печати, но подпись «Куликов» зачеркнута и красным карандашом «Возврат» Это я писала об экипаже самолета «Аннушка», который при перевозке пассажиров в Кур-Урмийский район, для согрева разводит и пьет технический спирт. И был смертельный случай. Значит, на подобные темы мне запрещено писать и впредь. Таково было правило Куликова, журналист, замеченный в злоупотреблениях, негласно лишился права писать на алкогольные темы. Репутация трезвенницы подмочена крепко и надолго. И я устало, как-то безразлично подумала, что кроме Валентина Бавина, в мое дежурство в редакции никого не было, и никто, кроме него, настучать не мог. Какого черта я, на мою беду, обнаружив опечатку, побежала в секретариат, можно было просто позвонить. Но ни обиды, ни возмущения не испытала, сказав себе, уроком будет надолго.

Прошел год с визита ленинградских друзей, а Куликов не забыл, хотя ведь досконально знал, что это случайность, что никакая я не пьяница. Но и ханжой тоже не была. Всегда могла и умела поддержать компанию, и чего таить, при случае организовать вино-чаепитие.

Не имея ни малейшего понятия об алкогольной зависимости, удивлялась Ларской. Если собирались у меня с гонорара и ей наливали стопку, она кокетливо просила чайную ложку и, считая демонстративно вслух, наливала буквально пять капель. Объясняла, что принимает антибиотики несовместимые с алкоголем. Да мы и не углублялись в мотивы. И она не скучала. Если под рукой оказывалось пианино, Лариса выдавала такое «ча-ча-ча», что только мертвый мог усидеть. Она была веселей, экспрессивней, бесшабашней всех нас, будто не мы, а она употребляла «антигрустинчик».

А однажды, у ее друга из сельхозуправления, Игоря, большого чиновника и «шп» - швоего парня, было новоселье. Получил он поистине царские апартаменты в центре города. Лариса смоталась на птицефабрику, привезла красавца петуха. Пока птица в ожидании торжества гуляла по редакционному кабинету, мы долго искали бант. И не нашли ничего лучшего как «позаимствовать» краешек красной скатерти, которой накрывали стол президиума на торжественных собраниях в редакционном уголке. Толпа у Игоря собралась приличная. Брали всех наших, кого встречали по дороге. Едет по Серышева на своем «Запорожце» Паша Халов, Лариска восторженно кричит: «Павел Васильевич, ты не зазнался? Не снизойдешь пойти с нами на новоселье?». «У кого? У Игоря? Сейчас поставлю свой драндулет у дома и буду».

Торжественно открыв дверь новой квартиры, первым впустили с тяжелым красным бантом петуха. Горделиво обойдя пустые комнаты, он налетел на стол, накрытый на полу, и без зазрения совести приступил к празднованию. Едва отогнали дурную птицу, а потом и заперли в пустой комнате. Разместились на надувных матрасах. Лариса, как водится, начала с чайной ложечки. В разгар веселья Игорю это не понравилось: «За счастливое новоселье пьем. Каплями не годится». Все были просто по-молодому веселы, но не Ларская. Она целеустремленно пила одну стопку за другой. Такой я видела ее впервые. Игорь, чувствуя себя виноватым, вызвал шофера из управления, чтобы везти перебравшую Ларису домой. «А кто будет сопровождать? Миша Дашлейгер увидит меня с Ларисой, обоим шиньон сорвет» – сетовал новосел, ругая себя последними словами. Предстояло сопровождать мне – уничижительное занятие иметь дело с пьяной бабой.

Когда мы подъехали к известному мне дому в Затоне, Дашлейгер уже стоял у подъезда, и ждал:

- Я как чувствовал. Что же вы наделали, мерзавцы? Она ведь лечится. - Мне было стыдно, будто я во всем повинна.

С новоселья началось неудержимо стремительное падение Ларской, продержавшейся трезвенницей в редакции более пяти лет. В понедельник она, как ни в чем не бывало, милой куколкой пришла на работу. Забегала в наш отдел, но, видя мою гневную, неприступную морду, о чем-то шепталась с Колей Рябовым. А вечером они исчезли одновременно. Я уже сострадала не Ларской, а Николаю – если он не знает, то узнает – ему придется доставлять коллегу домой и услышать Мишино «мерзавцы», а может и похлестче. Чувствуя мою замкнутость, Лариса, когда трезвая, не выказывала настойчивости в продолжении наших отношений и уже не читала своих статей, спрашивая: «Ну, как?» Ибо ей было не до творчества. Не скрою, после печального новоселья, еще не раз мы сидели с ней вместе за столом. В выходной день приезжает на такси, возбужденная, принявшая на грудь: «Собирайся, едем к Щукиной. На столе все скворчит и ждет. Мне с Любкой скучно, не тот собеседник, а ты стихи считаешь. - И уже в машине начинает ворчать: – Почему не требуешь, чтобы телефон поставили. Такси гонять за тобой. Вон, Ступачке поставили телефон. А ей он, как дырка в голову. Ни одна собака не приходит и не звонит». Это ее выражение «как дырка в голову» стало в ходу, хоть и звучит грубее, чем «до лампочки».

И уже за столом, глядя на нее, летящую в алкогольных ароматах, забывшую о критической обстановке в редакции, о доме, где ее ждал муж, дочь, обязанностях и обязательствах, мелькала дерзкая мысль: «А ведь и так можно жить, – все трын-трава, улететь в неведомое, сравняться с инстинктами, почувствовать себя свободной от всех и вся». Но это было на мгновение. Последствия ажиотажного состояния известны. Любаша с Ларисой уже накручивали телефон своим кавалерам, чтобы продолжить разлюли-малину. Быстро убрали со стола в ожидании гостей. Я собиралась домой, Ларская пыталась задерживать. Но тут вмешивалась Любовь Ильинична: «Хочет, пусть идет. Детскому саду здесь делать нечего». У входной двери я сталкивалась с Жаном Чесноковым, из его карманов торчали бутылки. За ним поспешал Коля Рябов.

Финал Ларской опять же роковым образом связан со мной. Как-то все воскресенье я промаялась с отчетом по августовским совещаниям учителей, зная, что надо писать, откладывала. Так всегда бывает, когда тема не зацепила за душу и есть резерв времени. Весь измучишься, измочалишься, и когда чувствуешь, – время окончательно иссякает, хватаешь ручку и строчишь как ошалелый, будто злые волки за тобой бегут. Ближе к вечеру в окно на Пушкина кто-то постучал и показалось развеселое лицо Коли Рябова. Удивительное дело - во многих компаниях мы с ним были, но никогда я не видела его выпившим. При этом он не пропускал тосты, и лишь слабый румянец свидетельствовал, что пил не аква дистиллята. Открывая дверь, я выговаривала неожиданному гостю, своему заведующему отделом:

- Николай Павлович, у меня времени в обрез. Завтра должна сдать материал в номер. Еще нет ни строчки. – И тут увидела, что за ним вялой тенью следует Ларская.

- Не вели казнить, а вели говорить, - шутя, потребовал Рябов, усаживая Ларису на мою кровать. – Ей в таком виде не подобает идти домой. Мать гостит из Уссурийска. Лариса поспит у тебя пару часиков и поедет домой. А завтра, как огурец, - на работу. - И уже, уходя, напомнил: - С августовских совещаний - 250 строк и ни одной больше. Давай подпишу, чтоб сразу в машбюро печатали, пока я на планерке буду заседать. – Взяв чистый лист еще не написанного материала, в уголке неровно черкнул «Срочно Н. Рябов».

Под стук машинки Лариса спала на моей кровати тихо, как ребенок, маленькая, беззащитная. Я выключила большой свет. Комната погрузилась во мрак, светила только настольная лампа. Под машинку подложила подушку, чтоб смягчить стук клавиатуры, нервно поглядывая на часы: не дать ей проснуться пока работают магазины, где бы она могла купить бутылку, и шепча: «Спи, спи».

Лариса пробудилась, когда я потеряла счет времени. С мордуленцией, деформированной похмельем, с трудом понимая, где она, огляделась. Из сумочки достала зеркальце:

- О Господи, ну и видок, - стала прихорашиваться. - А где Рябов? Сколько же времени? Одиннадцать. Вот это да! Сколько же денег осталось от гонорара? Рубль? Что же я матери скажу? Она гонорар ждет, а я его тю-тю. - И вспомнив что-то, расхохоталась: - Представляешь, в эту пятницу пили у Валентины, ну знаешь, наша бывшая машинистка. Утром все разбежались на работу, а ключ кто-то прихватил с собой, и хозяйку закрыли. В обед Валентина мне звонит на работу и вопит: «Помираю. Выйти из дому не могу. Принеси похмелиться». Ну я ловлю машину, в гастронорм - и к ней. По себе знаю, каково похмелье - сейчас вот голова трещит. Значит, стою я с бутылкой у закрытой двери, оттуда стоны. Что делать? Я вырвала листы из блокнота, сделала воронку - и в замочную скважину. Часть, конечно, пролилась, однако стоны из-за двери прекратились, значит, на усы попало. - Видя, что я хохочу, Лариса настойчиво стала просить занять 20 рублей. - Представляешь, я сейчас принесу маме денежку, и она успокоится. А завтра перезайму и верну тебе. Ну, пойми, как я к матери с рублем заявлюсь, ведь она знает, что в пятницу я получила гонорар. Нет, я без денег домой не пойду. - И видя мою неуступчивость, добавила: - Не ожидала, что ты такая скряга.

Все магазины города закрыты, бутылку не купишь, размышляла я, не догадываясь о редких способностях Ларской на этот счет. Искомое она могла добыть из-под земли. В буфете аэропорта. Подобный вариант мне, знающей свой город, как родную ладошку, и в голову не приходил. Об этом стало известно гораздо позже. Получив деньги и на радостях расцеловав меня, Лариса исчезла. А еще через минуту в окне сверкнули фары развернувшегося такси, и у меня в тревоге сжалось сердце.

На следующий день на работу Ларская не вышла. А в ее отдел нагрянула серьезная комиссия из крайкома партии с проверкой. Рабочий стол закрыт. Ключ - у заведующей отделом. Ларской нет ни на работе, ни дома. Возможное место ее нахождения - моя квартира. Откуда это стало известно Куликову, наверное, от Рябова. Вызвав меня, красный от злости, редактор, как всегда, и слова не дал мне сказать. Потребовал написать объяснительную, - что меня связывает с Ларской, почему я с ней дружу и что вчера произошло.

Не помню, неужели я могла написать эту дурацкую объяснительную - абсолют глупости, о том, что заведующая партийным отделом Ларская, избранная недавно членом партбюро, и в целом хороший, добрый человек, страдает болезнью под названием «алкоголизм». Будучи в стадии ремиссии, она стремительно делала карьеру, пока не сорвалась, «развязав обезьянку», как говаривала Вера Побойная.

Все это напоминало другой любопытный эпизод. У нас, в машбюро появилась новая машинистка. Чистенькая, незаметная молодая женщина. Но за ней стали замечать странности. Перепечатывая материал, она вносила в авторский текст свои комментарии, подчас, абсурдные, но не лишённые оригинальности. Позже стало известно, что она пациентка медицинского учреждения, находящегося по соседству с редакцией, откуда сбежала - ее разыскивает психбольница. Журналисты смеялись: при таком раскладе для полного комплекта не хватало в редакции уголовного с другого соседнего учреждения, да у тюрьмы стены повыше, не то что в сумасшедшем доме. Между прочим, когда новый автор по телефону спрашивал месторасположение редакции, мы привычно давали координаты: здание между двумя достопримечательностями города - тюрьмой и психбольницей. Ориентир безупречный для успешных поисков.

Ларскую на третий день обнаружили у Власова, собкорра газеты «Советский патриот». Никто не ожидал такого поворота. У Власова была безупречная репутация. Он пошел, видимо, на поводу обаяния Ларской. Жена уехала к родственникам, и его квартиру называли притоном, о чем сообщили в Москву, в редакцию. И как следствие, последовали репрессии. Эта симпатичная женщина, «созвездие загадочных манер», развязав в себе обезьянку, шла, сжигая себя и подламывая судьбы окружающих. Уже уволенная, Ларская с прощальным визитом обходила всех своих друзей. Смеясь, а в душе, возможно, плача, говорила о себе: «Я в Биробиджане цистерну водки выпила, вторую, в Хабаровске не дали допить».

Не нахожу странным, несмотря на отчаянную безалаберность, мелкие уловки, Ларскую любили. За купеческую щедрость, сильно развитое чувство товарищества и сердце, широкое, как улица. Легендарная Люба Щукина, всю трудовую жизнь проработавшая в редакции кассиром, и у которой Ларская в дни запоев квартировала, учила ее уму-разуму:

- Лариска, тебе цены не было бы, если бы не водка. Ты пойми, работа - это свято. Вот мы, считай, одинаково выпили. Утром я - под душ, и на работу, а ты - в магазин. Бросишь пить, будешь человеком.

«Единственная запись в трудовой»

Наивный человек Любовь Ильинична. Сама не прочь выпить лишнюю стопку, не ведала о силе похмельного синдрома у алкоголика, когда тот готов дьяволу душу отдать. Много чего не знала Щукина, ругательная наша Любовь Ильинична, редакционная мамка обиженных, отчаявшихся, одиноких журналистов или просто скучающих. Каждый из нас был осведомлен - в Хабаровске есть человек, к кому можно прийти днем и ночью, и сначала вас хозяйка облает, что в неурочный час заявились, а потом приветит, согреет, выложит на стол последнее. И мы все поочередно, от Жана Чеснокова, собкорра «Правды», и Веры Побойной (хотя Вера много раз обещала – «иду последний раз») до новичков, ныряли в ее комнату с подселением, благо, рядом с редакцией. Здесь было тихо, уютно, покойно. Грузная, с эффектными формами Любовь Ильинична привечала в основном «творческих». Не потому что была интеллектуалка. Ей было просто интересно знать, чем дышат журналисты, о чем спорят. Умилялась, когда читали стихи, украдкой смахивая слезу. Но была остра на язычок, быстро распознавая, кто есть кто из новичков, могла и на дверь показать.

Но превыше всех ценила Зину Макарову. Свою верную подружку. Мы поражались, что их связывает. Машинистка Зинаида Виссарионовна, худенькая, учтивая женщина – сама праведность и безупречность. У них частенько возникали конфликты на бытовом уровне. Был такой случай. Приходит после выходных элегантная Зиночка в свое машбюро, рука перевязана, печатать не может. Конечно, вопросы – как да что. Оказывается, Любаша в гневе запустила в подругу вазой. Все в редакции настороженно наблюдали, чем закончится инцидент, предсказывая - все, конец дружбе. Ничуть не бывало. Зина простила. Может потому, что обе они пришли в редакцию сразу после войны сопливыми девчонками на побегушках. Зина освоила печатную машинку, Люба - бухгалтерию. Так вся их трудовая жизнь прошла в «Тихоокеанской звезде». А в личной - одинокие как персты, они не обзавелись ни ребенком, ни куренком. Как известно, свободная женщина не бывает одинокой. И обе, умудренные житейским опытом, на очередного воздыхателя смотрели скептически: «Оставьте ваши фигли-мигли, мы ваш обман насквозь постигли». Они до старости поддерживали друг друга. Зина до конца терпела вздорный характер постаревшей подруги, покинутой журналистами, ухаживала за ней, больной, беспомощной лучше родной сестры. Это не редчайший случай в редакции вот такой беззаветной дружбы на всю жизнь двух очень разных женщин. Впрочем, именно «нетворческие» - машинистки, телетайпистки, курьеры, операторы, уже совсем старенькие, по сей день не теряют друг друга. Перезваниваются, общаются. Нынешний редактор Сергей Торбин выписал всем старикам бесплатно «ТОЗ», и когда хоть мельком появляется в газете имя старого журналиста, не сговариваясь, звонят, поздравляют, случись – похороны (а это все чаще происходит), собирают из жалкой пенсии на цветочки. Но тогда все сочувствовали Ларской. Убеждали ее бросить пить.

Говорить Ларисе общеизвестные истины, что об стенку биться. Ларская и сама могла написать блистательный трактат о вреде пьянства, ибо расплата была жестокой – она оказалась без работы, потеряла Мишу. Устав бороться за жену, он подал документы на развод. Но неожиданный удар из-за угла Ларская получила от ближайшей подруги. Ее Елена Пролесковская вышла замуж за Мишу Дашлейгера.

Вскоре Ларская покинула наш город на долгие годы, но не сгинула безвестно. Жива, здорова, уже в преклонном возрасте приезжала в Хабаровск, собирала документы на оформление пенсии.

Решительно прекратила пить. И даже при встрече с Любой Щукиной, которая на радостях из своих жалких пенсионных поставила на стол бутылку, чокалась чайной ложечкой с пятью каплями.

«В четвертинках – и Жизнь, и Слезы, и Любовь»

Другую школу, обернувшуюся долгими, на всю оставшуюся жизнь годами, я прошла, получая соответствующие уроки от Веры Павловны Побойной.

По непревзойденной высоте достигнутого, не смею Веру, которую судьба и впрямь зацепила золотым крылом, оградив от капризов сменявшихся редакторов, сравнивать с Ларской. Но тогда невольно сравнивала, сопоставляла чисто человеческие качества. По жизненным устремлениям, властности, честолюбию Вера была прямой противоположностью моей первой подруги в газете. Пожалуй, за 80 лет существования «Тихоокеанской звезды», не было столь популярного среди читателей имени журналиста, как Побойная, неуклонно, невзирая на личные перипетии, нездоровье, утраты, доказывающего свое первенство в газете. На новых сотрудников она производила впечатление сильного человека, никогда никому не проигрывающего. Так оно и было. За исключением трех случаев.

Вера своих материалов из-под пера никогда не читала вслух ни мне, ни кому-либо другому, а сразу же несла в машбюро. Ее аккуратно исписанные, без помарок четвертинки листа были буквально нарасхват у машинисток, первых читательниц. Вера приносила в основном нескучные материалы, к тому же их легко печатать – ясный, четкий почерк. Это не мои листы, многократно мною же правленные – поиск точного слова был бесконечен, и я беспардонно вписывала найденные в готовый материал, композиционно меняла смысловые акценты. Так что живого места подчас на листе не оставалось. Расшифровать мою правку было не по силам машинисткам. Характер ее изучили только Тонечка Шерстнева да Вера Сапожникова.

Побойной печатали материалы, как правило, вне очереди. И вычитав, она сразу же несла в секретариат. Не слезала, что называется, с шеи отвсека или редактора до тех пор, пока не оказывался в номере. Уникальная ситуация для журналиста – ее творения никогда за все годы работы никто не правил и не сокращал. Любителей же приложить руку к чужому материалу было в избытке. Когда выношенное тобой слово, образ, «работающую» деталь выбрасывают – это для автора чуть ли не драма. А незадолго до моего прихода в редакцию, в секретариате трудился, говорят, такой гребешок, что даже не расчесывал, а набело переписывал заметки, информации, даже очерки, невзирая на имена, и просиживая в редакции по 20 часов в сутки. Обиды, стенания, угрозы коллег «разбить очки» правщику не возымели действия. И тогда ему подстроили «козу». Перепечатали из «Правды» передовую статью от слова до слова и принесли в секретариат. Он, как хищник, пером вцепился в текст, перечеркал, написав заново, и заслал в типографию в номер. Тогда ему подсунили «Правду» с этой статьей. Гребешок сначала посинел, потом побелел: он посмел замахнуться на «флаг» номера главной газеты СССР? Отучили. Вера Побойная умалчивала, какую роль в этой «школе обучения» отвела себе, но все ее материалы в первоизданном варианте шли на полосу. Пахала безостановочно как мощно заряженный электродвигатель. Писала, отдаваясь вся без остатка, сначала в волнении грызла ногти до крови, позже переключилась на ручку. А последние годы нажимала безрассудно на сигареты, выкуривая в процессе работы над материалом до пачки за первую половину дня. К середине месяца она сдавала месячную норму строк и, не давая себе передышки, для самоуспокоения писала впрок. Она была обладателем самых неожиданных, звонких тем. К Побойной шли, ехали обиженные, ищущие правду со всего края. И если в рассказах посетителей она усматривала интересную тему для публикации, хотя к ее отделу, не имеющую отношения, это Вера Павловну не останавливало.

Как-то Вера уехала в командировку, а в тот же день в отдел пришла седая взволнованная вдова фронтовика. Огорченная, что Побойная отсутствует, посетительница мягко попросила: «Завтра просмотр, может, выслушаете, что с нами произошло». К ее рассказу равнодушной остаться было невозможно. Вот о чем он. В тот вечер Федосия Михайловна засветло собрала кошелку гостинцев для старшей дочери Софьи и поехала с Заводской к ней в город. В уютной квартире, пока дочь готовила ужин, смотрела по телевизору «Летопись полувека. Год 1942». Именно в 42-м она получила последнее письмо от погибшего мужа. Пожелтевший листочек: «Добрый день, жена Феня

и дорогие детки. Спешу передать вам душевный привет...Дорогая Феня, едем на разгром фашистских извергов. Жив останусь, то увидимся. Это великая будет наша встреча. Пока до свидания. Крепко целую. Ваш муж и отец Проня Вишняков». Встреча не состоялась. В том же 42-м пришло извещение о гибели П.Вишнякова смертью храбрых. Что заставило Феодосию Михайловну всматриваться в голубой экран, чего-то ждать, – она объяснить себе не могла в тот вечер. Многого она не могла себе объяснить. Почему в тот час и в ту секунду оказалась у телевизора (своего не имела). Не иначе, чтобы увидеть на экране – живого Проню, в шинелке. Когда на крик матери: «Проня, Проничка!» вихрем влетела в комнату дочь, старуха-мать стояла на коленях у экрана и сухими губами шептала: «Отца твоего видела. Узнала. В шинелке. Сюда ушел», – показывала она на край экрана.

На следующий день, на повторный просмотр «Летописи» в тесную комнатку телестудии набилась огромная семья Вишняковых – дети, внуки, племянники, помнившие дядю Прокопия. Выключили свет, и на экране, на фоне осеннего глубокого неба появилось черное, смутное движущееся пятно. Оно росло, обретало форму, и со словами диктора: «Огромная сила скапливалась на востоке страны», вырастало в строгие, стройные шеренги солдат. Первый ряд новобранцев- дальневосточников, второй и с края крупным планом – Проня Вишняков, любимый муж, каким его проводили 30 лет назад, отца четырех детей и деда девяти внуков, убиенного войной. В зале крики: «Вот же он! Проня! Дед! Деда! Отец! Папка!». Потом главреж, напомнив: «Завтра пленку передаем в Приморье», вновь пропускал ее на монтажном столе. На крохотном экране замер солдат – муж, отец, молодой, чуточку печальный. Над 23-летним Прокопием склонилась седая жена.

Фотокорреспондент Володя Пильгуев сделал поразительные, говорящие снимки из студии телевидения. Материал вызвал читательские письма. Догадывалась, Вера спасибо не скажет. Но подобной реакции не ожидала. Кем я только не была, присвоившая чужой материал, залезшая ей в карман. И здесь вступил в силу ее принцип, действующий безотказно, – чтобы поставить подчиненного на место, достаточно не обратить на него внимания. Сидим лицом к лицу в кабинете, а меня не существует. О, эти дни молчанки были нестерпимы. После чего я поклялась ни при каких коврижках не реагировать на слезные просьбы тех, кто пришел к Побойной. Но при этом для Веры было в порядке вещей поступить, в отместку, аналогично с литрабом.

В отделе я организовала студенческий клуб «Кругозор». Его участники – представители всех высших учебных заведений края. Мы проводили рейды по студенческим общежитиям, спортивным комплексам. Под особым контролем держали строящиеся в Хабаровске черепашными темпами сразу два института – культуры и народного хозяйства. И коллективно воплощали давнюю идею: выявить, как живет и работает молодым специалистам. В отделах кадров институтов добыли списки выпускников, адреса мест распределения, куда направили почти полтысячи анкет. Больше месяца шли ответы. Их я складывала в отдельную папку. А в результате получилась удручающая картина: более половины выпускников-учителей на место новой работы не прибыли. Кроме того, многие медпункты сел, деревень остались без врачей. Это было уже тревожное явление. Переписка, поиск пропавших душ с высшим образованием оказались весьма хлопотным занятием. Я готовилась написать обстоятельный обзор по проведенной акции. Но не тут-то было. В планах публикаций на неделю этот материал значился за В.Побойной, потребовавшей от меня отчет и резюме, что уже не удивило, но крепко обидело. Об этом я не преминула ей сказать, что опять же оказалось моей бестактностью.

Работа в одном отделе, к обоюдному удовольствию, была недолгой, что позволяло на оставшиеся годы избегать чисто рабочие конфликты. Были иные, и множество за 35 лет неотлучности. Мы могли месяцами не разговаривать и даже годами. Из-за пустяков, в основном по моей вине, порой я взбрыкивала, пытаясь сбросить ее непомерную власть над собой. А уж к старости мы, как два дерева, одно малое, другое высокое, неведомо кем посаженные рядом, где каждый лист знаешь, любишь и раздражаешься. Что уж тут делить. Надо было расставаться в годы совместной работы в «ТОЗе». Не случилось. Оказавшись в преклонном возрасте, не проходило ни одного дня, чтобы мы не позвонили друг другу. Наш пароль при плановых встречах, с обговоренным предварительно меню и напитками, оставался неизменным: «Ну как, Константин?» – «Нормально, Павел». И, тем не менее, эта «дружба на всю жизнь» рядовой пенсионерки и супержурналистки, «засраку» - заслуженного работника культуры, к тому же удостоенной на старости лет стипендией краевой администрации, - об этом она никогда не забывала, даже сидя у торшера, - обоюдно для нас не была песней, легкой, идущей от сердца. Другое дело Лю. Абстрагируясь от званий Веры,

понимаю, что эти два человека несопоставимы, но они прошли со мной по жизни и умолчать нет сил.

«Чист и светел её лик»

Погружаясь в мутный, с просветами водоем нештатных редакционных отношений, с радостью ждала из Ленинграда весточки от своей Лю. Истая ленинградка, Людмила Рябкова не имеет прямого отношения к «ТОЗу», но она преподавала мне уроки бескорыстных, чистых отношений между людьми, когда ради чужого человека можно снять с себя последнюю рубашку, если он нуждается в ней.

Хабаровску исполнилось сто лет, и горожанам от мала до велика вручали памятные значки: на красной эмали треугольника, на фоне заводских труб - цифра «100» и слово «Хабаровск». С этим значком на груди, как с флагом, и с безразмерной сеткой с учебниками за десятый класс, я оказалась в Ленинграде и стояла в очереди за экзаменационными листами в длинном коридоре, – на том конце человек смотрелся карандашиком, петербургского здания 12 Коллегий. Общежитие заочникам не предоставляли, в какие только университетские двери не стучала, даже к декану со своей сеткой на прием попала. Мне предстояло ночь провести на вокзале, о чем безрадостно сообщила по соседству стоящим абитуриентам, между которыми быстро завязался разговор. Они взглядывали на мой значок.

- Вы из Харькова?

- Что, читать не можете, из Хабаровска она. - Изучив значок, поправила девушка с роскошной копной русских волос.

- А где это?

- Хабаровска не знаете? – возмутилась я. - Лучший город на Амуре. - Парень в морской форме присвистнул:

- Сколько же вы суток добирались?

- Одиннадцать. На скором поезде. Где же мне якорь бросить? - завела я свою песню. Девушка с копной волос отвела меня в сторонку.

- Если ничего подходящего не найдете, вот мой адрес. Напишу, как добираться. Дома сейчас мама, я ее предупрежу. – С достоинством, взяв адрес, жарко поблагодарила спасительницу.

Волоча сетку к автобусной остановке на Университетской Набережной, не могла оторвать взора от золотых куполов, вознесенных в небо крестов, шпилей, от ажурных мостов узенькой, по сравнению с Амуром, Невы, но в такой невиданно роскошной гранитной оправе, делающей ее величавой. А вот он Зимний дворец, не на картинке, а настоящий. И какая сказочная гармония! Сюда, с Московского вокзала я ехала на такси, так велела мама, чтоб не сперли деньги, не успела осмотреться, впиалась в спидометр, сколько накрутит копеек.

Не в силах покинуть обозреваемое чудо, я пропустила кучу нужных автобусов. И уже тогда в сердце поселилась тоска от недоступности видеть всю эту красоту пять студенческих лет. Отец отказался мне помогать материально, если буду учиться на дневном отделении. «Что ты от нас, пенсионеров, требуешь? Зарабатывай и учись заочно» - категорично заявил он. И я уехала на Охотское побережье за романтикой и заработком. Подала документы на заочное отделение, дура. Буду недоедать, голодать, но хоть четыре, три года пожить в этом изумрудном городе, главное зацепиться. Такую клятву я дала себе тогда на пяточке близ университета. На часах было уже семь вечера, а сумерки не приходили. Подъехала к указанному в адресе дому на Восьмой Советской уже в восемь, было светло как днем. Наверное, с часами что-то: «Скажите, который час? - спросила я прохожего. – Почему не темнеет?» Так ведь белые ночи! Все как у Достоевского.

В махонькой комнатке, оставив позади просторную кухню, с полудюжиной газовых плит, кухонных столов, еще не старая женщина радостно, иного слова не найду, встретила меня:

- Да, да, Людочка предупреждала. Проходите, располагайтесь. – Но проходить было некуда, на метровом пяточке не разгуляешься, остальную площадь занимала единственная кровать, впритык шифоньер и столик с табуреткой. Это что же, они на одной кровати спят? А где же я? – Не

беспокойтесь, у нас раскладушка есть, - подслушав мои мысли, заметила хозяйка. - А сейчас мы будем ужинать. Люда не скоро придет.

Тогда же я узнала, что до войны семья Рябковых занимала в этой квартире три комнаты. Во время блокады каждую комнату продавали за буханку хлеба, и вот осталась самая маленькая. В блокадном Ленинграде Анна Васильевна, ставшая позже моей второй мамой, работала вагоновожатой, имела ранения, не раз ее трамвай попадал под бомбежку. А сейчас, выйдя на пенсию, в детском саду моет полы и нынче уезжает в Зеленогорск на все лето с детьми в пионерский лагерь.

В этой клетушке я, чужой человек, не платя ни копейки, деньги наотрез Людка отказалась взять, прожила больше месяца, пока сдавала вступительные экзамены и шла установочная сессия. Клятву, данную себе на пятачке Университетской набережной, сдержала – на втором курсе, из кожи вон лезла, перевелась на дневное отделение, сдавая на «хор» и «отл» десятка два экзаменов и зачетов, догоняя дневников. Перевод студентов на заочное отделение было явлением типичным, достаточно согласия декана. А вот перевод с заочного на дневное, рассматривал Ученый совет университета. Уж здесь, наверное, без вмешательства моего ангела-хранителя не обошлось. И все годы студенчества, днем и ночью двери этой уютной клетушки на Советской были для меня открыты. Ключ от комнаты лежал на общей кухне в заветном месте. На столе записка: «Катя, борщ на подоконнике. Там же котлеты. С приветом Лю».

Я неделями могла не являться на Советскую, но блюда на подоконнике и записка освежались. Не являлась потому, что, во-первых, не хотелось нагнать, пользоваться добротой этих чудесных людей. А во-вторых, попросту не было шести копеек на автобус, чтобы добраться с Васильевского острова. Жили впроголодь. Подкармливались задарма не в студенческой, а в соседней академической столовой. Для научных работников на столах бесплатно хлеб и салат из капусты. Мы занимали столик, и прикрывшись балетками, украдкой поедали на халяву все, что было на столах. Видя, какой разор наносят студенты, при входе в эту столовую стали требовать пропуска. В своей пятиэтажной общаге мы досконально знали, в какой комнате будет пирушка, то ли день рождения, то ли возникшая стихийно, и о пустых бутылках в долг договаривались предварительно, пока организаторы ее трезвые. Пили студенты поразительно много, даже больше, чем северяне на Охотском побережье, стаканами. С чего бы это? Утром собирали стеклянную тару и бежали сдавать в киоск. Долг в денежном выражении отдавали со стипендии. Такая форма обмена для богатеньких студентов была выгодной. Но богатенькими были в основном негры и кубинцы, они получали по две стипендии, золотым дождем их осыпали сразу две страны, родная и СССР. Китайцы тоже себе ни в чем не отказывали, но в отличие от кубинцев были трезвенниками и много зубрили. Когда на кухне они готовили свои блюда, все пять этажей заполняли специфические запахи мяса и капусты, от которых хотелось бежать прочь. Вскоре, при усложнившихся политических отношениях с Китаем, в полном составе китайское землячество отправили на родину. А они не остались в долгу, «отблагодарили».

В одной комнате с моим однокурсником Сашкой Бацулей, «Генералом вин» проживали два китайца. Один из них нас сфотографировал, когда мы отмечали день рождения Сашки, а я играла на гитаре, которую привезла с собой из Хабаровска. Низко кланяясь, узкоглазый фотограф готовые снимки раздарил нам всем. И вот в китайской газете под рубрикой «Образ жизни советских студентов» появляется этот снимок: на переднем плане стол с бутылками, наша группа и в центре я с гитарой. Вот, засранцы, запоздало возмущались мы. Но в деканат нас не вызывали, может потому, что на клише лиц не различишь.

Фотография сохранилась, я на ней в своем вигоневом, черном свитере. «Легендарном». Все годы учебы в нем ходила на лекции, в публичку, театры. На третьем курсе, в связи с образовавшимися дырками на локтях, это уже была кофточка, а на пятом – с аккуратно отрезанными рукавами свитер превратился в жилетку. При этом филологический факультет, с которым мы делили одно общежитие, имел в Ленинграде репутацию второго дома моделей.

К нам, на Симанскую, на танцы стремились попасть парни со всего города. Ленинградки-филологини действительно аховые девочки. Мы, студентки-журналистки, чтобы не нарушать феерию блистательных, смело декольтированных особ, в своих блеклых одежках держались незаметно, у стенки, да нас и никто не приглашал танцевать. Комплекс неполноценности въелся в душу со студенческих лет. Как-то я позвала на танцы Людку. Моя надмирная подруга, сотканная из луча, духовно богатый человек, надела самое нарядное платье, конечно, не из экзотического

магазина на Невском «Смерть мужьям», а изделие тети Ани. Однако у этой отличной девчонки с копной прекрасных спелой пшеницы волос не оказалось партнеров, которые, как мотыльки, летели на супер-девочек с макияжем, бирюльками на полуобнаженных грудях. Между прочим, ректор университета, академик Александров провел тест на интеллект и эрудицию. Первые два места из тринадцати факультетов поделили физики и журналисты. Наш курс не участвовал в этой акции, но было приятно за своих умненьких собратьев. Да и мне было далеко не безразлично позже сделанное профессором, моим куратором папой Хавиным заключение: «Эта дремучая девчонка из Хабаровска за неполный курс обучения на стационаре взяла больше, чем студенты-ленинградцы». Это он, на лекциях по стилистике, вбивал нам в головы: «Леонид Лиходеев в «Литературной газете» своему прекрасному фельетону дал безграмотный заголовок «Фиговые листья профессора Князева». Фиговый лист в данном случае может быть в единственном числе. А если от вас, господа журналисты, услышу слово «кушать», вашего папу Хавина хватит удар». И все равно, кушать хотелось постоянно.

Висевшее в вестибюле факультета объявление: «Студент! Если не хочешь попасть в крематорий, бери путевку в профилакторий!» было соблазнительной фикцией. Очередь, как за хлебом после войны, да и где взять деньги за путевку.

На себе узнала, что значит «студент слюной подавился». В те годы прилавки магазинов Ленинграда ломились от обилия изысканных продуктов. В колбасных отделах прикинешь к стеклянной витрине, томясь, читаешь незнакомые названия: «карбонат», «буженина», «шейка». А под ценниками - пиршество богов, и запахи такие, что можно помереть и не встать. Сколько наших оголодавших девчонок в обморочном состоянии выводили из волшебного Елисеевского магазина! И если я не оказалась в их рядах, то только благодаря Лю и ее маме. Когда было совсем уж непомогуту, наша комнатная коммуна скидывалась по копейке на автобус и отправляла меня на Советскую. Мало того, что тетя Аня накормит, так она еще макарон наварит, посыплет тертым сыром, презент для моих девчонок. А они уже дежурят у окна на пятом этаже. И завидев меня, с прижатым к груди щедро наполненным газетным кульком, кричат: «Ура! Несет!» Встречают, как доброго деда Мороза.

Дочь с матерью подкармливали меня и нашу комнату. А сами бедовали. Я была свидетелем, как в их комнатку ворвалась инспекторша из домоуправления, крича: «Полгода не платите за квартиру! Выселю без разговоров. Денег нет? Пить меньше надо. Соседи рассказывают, на что вы деньги тратите». – Тетя Аня сидела, низко опустив голову. И для меня было новостью, что за квартиру не плачено, ведь в этой комнате предостаточно тушенки, разнообразных круп, сгущенки. Позже поняла, для недавних блокадников продуктовые запасы это свято, это как болезнь. Выпившей я Анну Васильевну никогда, кроме одного случая, не видела, но в карманах старых курток мы с Лю находили пустые «мерзавчики», чекушки. И Людка чуть не плакала. А этот случай меня потряс.

Целый месяц тетя Аня ждала своей очереди на прием к секретарю Ленинградского обкома партии Толстикову. У Рябковых только и разговоров о расширении жилплощади, о новой и не мечтали. И вот Анна Васильевна собрала все документы – в партию ее принимали в 42-м году, партбилет скукоженный, обгорелый. После бомбежки горел трамвай, вагоновожатая тетя Аня успела открыть двери, чтоб выскакивали пассажиры, а ее саму зажал горящей дверью, она чудом, чуть живая выпала из кабинки. Такому героическому человеку Толстик должен уделить особое внимание. Но когда он узнал о причине визита, и слушать не стал. Так и сказал: «Вас, блокадников, пруд пруди. Надоели. Выжили и лезут как клопы». Может быть, тетя Аня преувеличила, но «про клопы» сквозь слезы повторяла постоянно. Однако факт остается фактом, главный коммунист Ленинграда так ее оскорбил, что она положила на его стол обгорелый партбилет, повернулась и ушла. «В такой партии быть не хочу», - говорила она. В тот день тетя Аня и вправду напилась, собрала по телефону блокадниц, вагоновожатых, каждую встречала рассказом о клопах. Мы с Людкой только успевали мыть посуду и готовить закуску. С тех пор стали появляться в карманах курток пустые мерзавчики. Людка, как могла, боролась и небезуспешно. Но личная жизнь моей подруги не сложилась, замуж она не вышла. Может быть, потому, что до тридцати лет так и делила с матерью одну кровать.

На пятом курсе нам повысили стипендию до сорока рублей. Да и мама в конвертике посылала не три рубля, а пятерку, мы зажили более-менее безбедно. Работая на Колыме, я откладывала с каждой зарплаты энную сумму. И когда Люда решилась вступить в жилищный кооператив,

незамедлительно выслала стартовый капитал. Приезжая в отпуск в Ленинград, останавливалась в их двухкомнатной, светлой квартире на Академической. Тогда они остро нуждались в установке телефона. Тетя Аня, уже больная, не могла хлопотать, Людке во всех инстанциях отказывали. Из Хабаровска я написала пронзительное письмо прямо Брежневу. Буквально через неделю у двух женщин был телефон.

В одну из наших встреч, будто чувствуя, что она последняя и мы больше никогда не увидимся, на страну налетит черным вороном реформа и закроет доступ на самолет рейсом «Хабаровск – Петербург», Люда подала мне пачку писем, бережно перевязанную тесемкой. Что это? Мои письма Людмиле, все, до единого. За тридцать лет! Тогда же мы дали клятву, что бы ни случилось, какие бы монблановые преграды не стояли перед нами – закрыть друг другу глаза.

Бросаем на «морского»

Как и прежде, к концу дня, когда голова после сданных материалов была как тяжелый чугунок, собирались в кабинете Побойной, и чтобы отключиться, играли до умопомрачения в «крестословицу», придуманную писателем Набоковым. И здесь Вера была в передовиках, набирая на словах самые высокие очки – словарный запас у нее богатейший. И постоянно напоминала, как тяжело даются строчки в отделе пропаганды, не то что в прежних, которые она возглавляла.

Отделу школ, науки и культуры с заведующими не везло. При мне их было трое. Четвертый, Николай Рябов, за свою журналистскую жизнь столько перечитал рукописей, читательских писем, что стал катастрофически слепнуть. Внешне сибарит, аристократ, он не терял присутствия духа, и никто не слышал от него стенаний по поводу надвигающейся слепоты, бесконечных операций. Он жил поэзией и был непревзойденным импровизатором.

Сидим как-то втроем в ресторане, голодные, как волчата, ждем пока официантка принесет заказ. «О, ненавязчивый советский сервис! Я тебя люблю», – иронично замечает Вера, вся нахохлившись и завернувшись в шаль. Николай достает из внутреннего кармана ручку, миниатюрный блокнот и что-то пишет, отрывает листок с экспромтом: «Лижу, как безумный, я Верину шаль, и грудь разрывает глухая печаль». Хохожем, веселеем, ждем официантку. Вера роняет:

- Так кто напишет в «Капкан»? Чтоб не было обид. - И смотрит в мою сторону с упреком, имеющим подтекст взаимных «краж». - Бросим на «морского».

Из спичечной коробки извлекаются три спички, одна обламывается, и из кулачка Веры выглядывает невинный пучочек. Поочередно вытягиваем, обломанная достается мне. Нет, не стельную корову выиграла. А хлопоты – расследование конфликтной ситуации, возникшей полчаса назад в гардеробе «Уссури», очевидцами которой мы были. В ресторан пришла молодая пара. У счастливой, с хорошим лицом девушки, в руках букетик хризантем, а на ногах – сапоги. Спутник помог надеть подруге туфли. Девушка смущалась, видимо, прежде никогда не была в подобных заведениях. Гардеробщик категорически отказался принять сапоги и погнал молодого человека в магазин за сеткой. Понятно, что никаких целлофановых мешков в природе тогда не было, а дурь администрации или гардеробщика имела место в большом количестве. А возможно, пожелал получить «на лапу». Растерянная девушка стояла у окна в фойе ресторана в туфлях, к ней цеплялись завсегдатаи, спотыкаясь о рядом стоящие, в ожидании хозсетки, сапоги. Настроение гости явно было испорчено.

Вера много лет вела любимую читателями на четвертой полосе рубрику «Капкан», которую позже, очевидно, усмотрев в этом названии криминальный смысл, переименовали в «Свежий ветерок». Здесь печатались подборки юмористических материалов на частные явления текущей жизни. В повседневных буднях встречалось столько бытовых и служебных несуразиц, административной глупости, как этот нелепый случай в «Уссури», что подобные факты так и просились в «Капкан». Материалы, как правило, небольшие по 70-100 строк, полные блеска юмора, словесной раскованности, немногословной метафоры.

Мне чертовски нравилось писать в «Капкан», хотя эта маленькая фитюлька требовала особого вдохновения, но процесс работы доставлял, если находились нужные слова, наслаждение. Уже и заголовок пришел: «С авоськой по городу», а за ним первая, приблизительная фраза «Когда мне невмочь пересилить беду...», кто-то садится в синий троллейбус, другой же...».

- Смотри, Павловна, а наша спутница уже пишет, - заметил Николай, хотя, понятно, ни бумаги за столом, ни пера в руке не было.

– Точно пишет, - подтвердила Вера, напомнив общеизвестное. - Ты завтра выясни, чья это инициатива - гардеробщика или дирекции. - И меняет тему разговора: – Не забыли, завтра летучка. Обозревает Пошатаев. Ну держитесь, ребята.

О, эти летучки, где тебя могли уничтожить надолго или вознести на пятнадцать минут в облака. Проводились они раз в неделю. Критик в деталях и неліцеприятно анализировал вклад каждого журналиста, чей материал выпадал на обозреваемую неделю. Иной раз обозреватель вцеплялся мертвой хваткой в чье-то имя, цитируя не понравившиеся ему строчки, выставляя автора на всеобщее посмешище. Многое зависело от личности обозревателя. Впрочем, технологию летучек очень точно отобразил Н.П. Рябов в стихах, написанных на мелодию «Вот солдаты идут», которые распевали в те годы журналисты «Тихоокеанской звезды»:

Вот летучка идет,
Журналисты грызутся,
Критик мечет и рвет,
Аж поджилки трясутся.
Говорит про загон*,
Про порочность текучки,
Про плохие клише и про все,
Что в душе
Всяк копил до летучки.
Вот летучка прошла,
Пострадавших обмыли.
И опять про дела на неделю забыли.
Позабыт и загон,
И порочность текучки,
И плохие клише,
И про все, что в душе
Всяк копил до летучки.

* Загон – наличие материалов в портфеле редакции впрок

Здесь нет преувеличения. И «грызлись», и были «пострадавшие». За лучшие перья, за строки в редакции шел непрерывный бой, инициируемый и поддерживаемый редколлегией и профкомом. Честолюбие, тщеславие журналистов всемерно поощрялось. Изобретались какие-то трехзначные баллы – за качество, срочность, актуальность, и еще дюжина показателей, характеризующих работу каждого отдела, пишущей персоны помесечно и поквартально. В бурных дискуссиях утверждались победители, которых неустанно щелкали фоторепортеры Володя Пильгуев и Николай Шкулин. На доске соцсоревнований висели снимки сотрудников группами и по одиночке, а в их отделах - красные флажки. И мы, как бегуны – кто быстрее, преодолевали нескончаемую дистанцию с препятствиями, кто-то хватался при этом за сердце, другой за голову. Но редко кто покидал ее.

Ко всей этой суете Николай Рябов относился философски и довольно хладнокровно. Он надумал уходить с заведования. Но пенсионные годы еще были впереди, головушка работала ясно и светло, а читать кипы рукописей повестей, романов с немыслимыми читательскими почерками было уже не по силам. Николай Павлович перевелся в Хабаровское книжное издательство, где издал давно желанный сборник своих стихов.

«И прибыл десант литераторов»

Почти год в отделе школ, науки и культуры я функционировала в двух ипостасях – литраба и неофициально заведующей, без всякого «И.О.». Приходилось работать и «за того парня» – составлять планы публикаций на месяц, квартал, писать отчеты, каждое утро являться на планерки, где члены редколлегии вершили политику очередного номера газеты. А тут в Хабаровск прибыл мощный литературный десант во главе с лауреатом Ленинской премии, автором повести «Брестская крепость» С.С. Смирновым, очень популярным тогда по телевизионной передаче «Поиск», которую он вел. Дни советской литературы проводились и раньше. Но на этот раз данная акция была приурочена к 50-летию образования СССР и 50-летию освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев. И по составу гостей – более 50 видных писателей и поэтов страны, и по размаху торжественности, помпезности, аналогов не имела.

Среди гостей сатирики, поэты Вадим Шефнер, Лариса Васильева, Борис Ласкин, Илья Фoniaков, дважды лауреат Михайло Стельмах, совсем молоденький Григорий Горин, печатающийся в «Юности» под псевдонимом Галка Галкина. И, конечно же, наши недавние земляки Римма Казакова, Николай Задорнов. Называю лишь малую толику гостей, чьи имена и по сей день на слуху. А еще представители Прибалтики и всех до единой южных республик. И каждому нужно уделить внимание, чтобы его имя прозвучало в газете, ибо публикации об их деятельности, во время проведения дней литературы, шли в отчет секретариату правления Союза писателей СССР, затеявшему громкую акцию. И позже в Москву отправлялись пачки «ТОЗа». Планировалось, что газетные полосы под рубрикой «Дни советской литературы на Дальнем Востоке» будут печататься из номера в номер.

Когда увидела программу проведения этих дней, схватилась за голову: митинг на сопке Июнь-Корань, встречи на заводах «Энергомаш», «Дальдизель», заводе Кирова. Затем гостей делили на три группы: одни отправлялись в села Еврейской автономной области, другие на «метеоре» по Амуру, третьи – к пограничникам. А читательские конференции, книжные базары, встречи с читателями – в парках, клубах. Со всех этих мероприятий нужны репортажи, информации, заметки. Кто их будет готовить да еще в режиме «срочно»?

На первых порах руку помощи протянула хабаровская писательская организация. Ее ответственный секретарь Виктор Александровский оперативно выступил не только с рассказом о литературном вкладе каждого гостя в процветание советской литературы, но и с обещанием, что наше дальневосточное рукопожатие будет крепким, сердечным. Предложил для публикации главы из романов гостей, стихи, которые немедленно были опубликованы под рубрикой «Навстречу дням советской литературы».

А с прилетом десанта пришлось крутиться как белка в колесе. Звонить во все районы, где ждали литераторов, просить подготовить информационные отчеты. Добывать в крайкоме партии доклад, с которым секретарь по идеологии Лапшин будет выступать на первом большом литературном вечере во Дворце профсоюзов, и быть на встрече, завершившейся в ресторане шумным банкетом, на который приглашали узкий круг. Журналистов в «Центральный» не звали. Да и не до того было, ночью предстояло писать отчет, за которым дядя Ваня должен приехать ко мне домой до начала рабочего дня.

Знала другое – чего бы это ни стоило, взять, вырвать у того же Леонида Ленча или Давида Самойлова что-нибудь из неопубликованного. И с утра, передав дяде Ване материал, пока писатели не разъехались на иные встречи, как дура, кинулась в гостиницу «Центральная», чтобы застать и выпросить заветные рукописи. У администратора выявила номера, где разместились литераторы. Робко постучала в дверь одного из номеров. Не отвечают. Я крепче. Глухой голос: «Открыто, мать твою». Вхожу – о, Боже, куда попала? В номере так, как поется в студенческой песне: «Утро в окнах, кончен пьяный бред, все проснулись трезвые и злые: на столе прокисший винегрет и бутылки варварски пустые, кинул взгляд на смятую кровать, на свои изжеванные брюки...» Не иначе. Однако на дне несчетных бутылок еще оставалось кое-что. Усмотрев сквозь не выветрившийся сигаретный дым этот факт, именитый гость дальневосточников потребовал слить остатки, иначе говорить на серьезные темы не способен. В двух других номерах атмосфера была чуть получше, похмелялись за чистыми столами, а в четвертый – не пустили, сквозь смех, через дверь объявив: «Приходите через час».

Но тем не менее в клювике принесла пачку рукописей в редакцию. Пока разбиралась, за репортажем на торжественный митинг на Волочаевскую сопку уехал Борис Иванов. Читая предложенные для публикации блистательные стихи, главы романов, не верилось, что это написали те же похмельные люди с изжеванными брюками, кого я встретила после ночного сабантуя. То, что творческие люди пьют с избытком, не было новостью. Но вот на праздновании 50-летия «Тихоокеанской звезды», на которое были приглашены редакторы всех областных газет страны, гости, прости мою душу грешную, будто собаки с цепи сорвались, на их фоне хабаровские журналисты смотрелись трезвенниками. Как рассказывала Вера Побойная, повезли редакторов по Амуру, к мосту на рыбалку, на это мероприятие приглашали только членов редколлегии. Конечно, на палубе коньяк в избытке, красная икра, на рыбалке – уха из свежей рыбы, водка – залейся. Наши ребята просто веселые, а гости с Урала, Перми, Москвы по трапу на четвереньках ползли и до кубрика дойти не могли, возлежали на палубе. Одного с трапа снять не удалось, матросы так и положили его в обнимку с трапом. Обсуждая этот парадокс, мы пришли к выводу, что дома их держат в ежовых рукавицах, к трезвости обязывают должность и близость парторганов. Вырвались и пошли наверстывать упущенное. С писателями, видимо, то же самое.

Среди рукописей, востребованных у гостей, оказались стихи Александра Жарова, знакомого всем по пионерской песне «Взвейтесь кострами, синие ночи». Но то, что прочитала, было так непохоже на хрестоматийный оптимизм поэта. В новой подборке столько печали, сомнений, в стиле раннего Николая Асеева, который «по слободе шел и свободы не нашел», вопрошая: «как я стану твоим поэтом, коммунизма племя, если крашено рыжим цветом, а не красным время». Сам Жаров не приехал и с кем-то передал свое творение. Большой поэт и столько скептицизма, боли. Сдавать в печать? Как в тот момент мне не хватало Н.П. Рябова, его мудрости, решительности. Взяв стихи, пошла в секретариат, посоветоваться, где на меня обрушилось:

- У тебя что, крыша поехала? Да за такие стихи, знаешь, что будет! - Вступился Валя Бавин, - Вот ты сдала Леонида Ленча «Человек лежит на земле» из его «Рассказов на ходу». Бьюсь об заклад, что этот фельетон ни одна центральная газета не взяла для публикации. В подтексте авторская мысль понятна, - советский человек никем не защищен, цензура с подобным не согласится. Но редактор на свой риск подписал, уже стоит в полосе. Впредь усвой: столичные литераторы везут нам то, что не проходит по цензурным соображениям в московских изданиях.

Две недели, во время пребывания десанта, стенографистка Верочка Раздобреева работала без выходных. Из Хинганска, Бирофельда, Троицкого, Богородского, Николаевска-на-Амуре поступали заказанные местным журналистам информации. Не откладывая, быстро вычитывала, редактировала, считала строчки и тихо мечтала встретиться с Риммой Казаковой. Но в газете уже поместили материал КрайТАССа Миши Ханух. Он первый успел взять у Риммы прелестное интервью о том, что мы с гордостью и любовью числим ее своей землячкой, какая бы прописка не значилась в ее паспорте, и что сейчас вокруг нее сотни друзей, близких знакомых. Напрашиваться на встречу не решилась – нынче Римма Федоровна, как небо высоко от меня. И уже позже, встретившись в Москве, она мне попеняла на не встречу в Хабаровске.

Завершив мощный букет материалов отчетом «Прощание с краем», пропустила освещение августовских совещаний учителей, за что получила нарекание. И вздохнула свободнее, когда из Амурска прибыл редактор тамошней районки, мой новый шеф Гена Зырянов. По возрасту и статусу заведующего отделом Геннадий Степанович. При шляпе и галстук, явно доставлявших хозяину ощущение дискомфорта. В новеньком, только что из магазина костюме, домашние с шиком собирали кормильца (у него трое сыновей) в большой город на новую работу. Впрочем, шляпу он потерял в один из воскресных вечеров в парке культуры, в процессе встречи со старым другом - тезкой Ващенко, весьма пьющим и некорректным человеком.

Новый заведующий, в отличие от прежних, к моему удивлению, поначалу не черкал написанное мной. Нехотя, скупно пояснил: «Я твои материалы в Амурске читал. Думал, кто такой Гриценко? По-бабьи пишет, проникновенно». Позже поняла, что это был комплимент. Потеряв третьего игрока, Вера стала привлекать к игре в крестословицу новенького. Сначала Геннадий отнекивался, смущался, догадываясь, что эта игра не для простачков, а своеобразный тест на багаж словесника. А потом вошел во вкус. Но к перу, чтоб доказать его золотинку, особо не стремился. Его отчет с краевого совещания под ударным заголовком «Высокий долг работников культуры» с набором дежурных фраз «Вся наша партия, весь советский народ живут под глубоким впечатлением

и воздействием XXIV съезда партии», не блистал оригинальностью. Впрочем, на такие темы писать иначе было нельзя. Парочка других заметок с отчетных концертов свидетельствовала, что автор их «звездеть» не стремился, да и «звездеть» явно нечем. У Геннадия Степановича были иные способности – он «чувствовал» чужой материал, умел классно макетировать номер. В редакции ходили слухи о новых перестановках и Зырянова прочили самым главным в секретариат, а это поистине штаб редакции. Пиковый туз, поначалу пренебрегавший новеньким из районки, стал более снисходительно относиться к Зырянову, уже не комментируя его грубоватый, подчас беспардонный юмор, которым сопровождалась игра в слова. Так и слышу голос Геннадия Степановича:

- Сегодня пришло письмо о проведении вечера, посвященного ноябрьскому празднику. В клубе собрался деревенский люд – яблоку негде упасть. А киномеханик напился и объявляет: «Я вам фильм сейчас праздничный покажу». Открывается занавес, свет гаснет. А на экране – неприличный предмет, и еще потряс его сверху вниз. В зале возмущенные и одобрительные смешки. Тут же колхозный партийный секретарь: «Ты что, сукин сын, делаешь?». А киномеханик как ни в чем не бывало поясняет: «Ну и что такого – увеличенный гвоздь показал». В кабинете смех.

- В деревенском клубе - гвоздь на экране, а в краевой газете тоже без «чп» не обходится, удрученно напомнил Туз о недавней, неприятной ситуации, постигшей коллектив. А причина – день седьмого ноября, красный день календаря. Всенародное торжество, сопровождающееся традиционным сабантеем. Начиналось, как водится, с невинных напитков – с «сухаря», десерта. А потом по традиции разошлись.

За «досыл» – на ковер

В отличие от общередакционных праздников, проводимых масштабно, в красном уголке, где накрывались столы буквой «Т» или «П», дни рождения, как правило, носили локальный характер. Именинник избирательно собирал гостей в своем кабинете. Помню, когда всеми любимому Толе Карпычеву исполнилось тридцать, в его сельхозотдел набилось рекордное число, человек 15-20. Ждали 18-00, когда закончится рабочий день и можно бесстрашно начать. Тон задавал Николай Рябов, написав в качестве подарка целую поэму об имениннике, как предколхоза страшится приезда из «ТОЗа» парня с рыжей головой, «начнет расспросы да допросы, как повышаем жирность молока, когда расчистим клин под дикоросы, когда скрестим с несущою телка». И в такой эскападе юмора протекало торжество. Пили за здоровье именинника, требуя от Рябова повторить: «Не опасайтесь, милый предколхоза, на поле не стремится люд из «ТОЗа». Сегодня в «ТОЗе» свой большой изъяс, сельхозотдел не то чтоб не тверезый, а фигурально выражаясь – пьян». С опаской взглянув на Толю Рудака, Николай продолжал: «Р.Анатольев – спортобозреватель. Он и Рудак же – сельский репортер, пост занимает в секретариате, и от усердия стул уже протер». Но тезка Карпычева, чародей трудоспособности А.В.Рудак не обижается. Толечка поздравил юбиляра и убежал в свой секретариат. Тем временем стаканы «весело и кротко» продолжали звенеть. Подобные торжества не выходили за рамки кабинета, за «досылами» – новыми порциями шнапса не отправляли в магазин. А жаждавшие продолжить, делали это в домашней обстановке – направлялись гурьбой к имениннику.

Иное дело общередакционные праздники. Здесь бразды правления и подготовки брала на себя, как правило, Лидия Николаевна Косенко. Она обходила все кабинеты со списком, выясняя, кто берет свою «половину». Но с женами, мужьями особо не ходили. За исключением одного самого прекрасного ижданного праздника - 50-летия «Тихоокеанской звезды». К нему долго и радостно готовились. Здесь уж на торжественную часть, проходившую в здании Высшей партийной школы, где вручались грамоты, подарки, приглашали даже взрослых детей. Мы, «тозовки», чтобы выглядеть поприличней, пожалуй, впервые воспользовались услугами ателье, которые раньше игнорировали из-за нехватки времени на всякие примерки. К торжеству пошили обновки. Банкет строго по пригласительным билетам проходил вне стен редакции – в помещении студенческой столовой медицинского института. Гостей было раз в пять больше, чем сотрудников газеты. Мы потерялись в шумной толпе, нас просто никто не замечал. Кое-кто за нашим столиком решил было элементарно напиться за бесплатно и натанцеваться. Но и это не удалось. За центральным столом

на возвышении, на сцене, где разместились члены редколлегии, Куликов восседал с супругой Натальей, крупной, выразительной женщиной. Она, как орлица с высоты, зорко и строго взглядывала на сидящих внизу, изучая уровень раскованности каждого. Федору Георгиевичу явно было не до того. Он устал от серии утомительных торжеств, осуществляемых, согласно программе, поэтапно: для «оченно» высоких гостей - встречи в крайкоме партии, рыбалка, на соответственно подготовленном участке Амура, где рыба сама плывет на крючок, закрытый банкет в ресторане «Центральный», для толпы – вот этот в столовке-сарайе. За нашим столом какой-то чужак беспардонно распорядился бутылками. И мы трезвые и злые, прихватив грамоты в оригинальных твердых обложках-книжках алого цвета и скромные подарки за добросовестный труд в газете-юбиларе, ретировались.

Во много крат родней, теплей проходили торжества в редакционном красном углу. В годы правления Куликова это тусклое, заваленное хламом помещение было превращено в уютное место, где мог собраться коллектив. И служит оно этим целям, по сей день. Перед полувековым юбилеем газеты здесь долго стучали молотками, пылили цементом и песком ремонтники. Вошли и ахнули - роскошный музей: в центре модель морского судна, по стенам под лак, как в крайкомовских кабинетах, изящные шкафы, под стеклами сувениры, грамоты, медали, старинные карты, подшивки первых номеров «ТОЗа». Но с годами сувениры стали потихоньку исчезать. Музей превратился в красный уголок, куда прятались от посетителей журналисты, чтобы написать очередной шедевр. Здесь проходили летучки, торжества.

Библиотекарь Лидия Николаевна собирала деньги, закупала продукты. Рассаживала сотрудников по соответствующему рангу. Отдельным списком шли «одиночки» - это я, Рая Рябенко, Надя Никульшина. Вера Побойная приходила без Бориса и вместе с Пиковым тузом и членами редколлегии садилась поближе к редактору. «Нетворческие» устраивались вместе. Нам же, журналисткам-одиночкам предоставляли отдельный стол. Злого умысла Лидия Николаевна, сама доброта, не имела на этот счет, но подобная бестактность, подчеркивание неполноценности твоего социального статуса, мягко говоря, коробила.

И без того одиночество хлебала полной чашей. В будни спасала работа. Но особенно отчетливо эта неприкаянность ощущалась, когда мы всей редакцией возвращались после ночного сеанса кино. В те годы заграничные фильмы с Ален Делоном, Софией Лорен можно было увидеть только на закрытых просмотрах. Фильмы показывались в здании ВППШ и были рассчитаны на узкий круг партийных и советских работников. Начало сеанса - в полночь. В часа три ночи зрители битком набитого зала высыпали на черную пустынную площадь Ленина. Сначала шли группой, обмениваясь впечатлениями, а потом растекались по своим улицам. И все буквально парами: Рудак с женой, Коля Рябов с Аннушкой, Вера с Борисом, Коля Чековитов с Ларисой. А я оказывалась одна в черной, тревожной ночи. Вступая на свою грозную, гулкую улицу, оглядывалась на уходящие пары, издали они казались бодро движущимся единым целым, и откуда-то приходили строчки: «Мы ангелы с одним крылом, летать мы можем, лишь обнявшись». Сердце мое сжималось, нет, не от страха, а от сознания, что ты никому не нужна и дома тебя никто не ждет. Неужто это на всю жизнь – с одним крылом. В редакции «ловить» было некого, у всех хороших мужиков – семьи, они друзья. Но вот такое подчеркивание возмущало. Ивенский, дабы выразить протест, на торжествах садился с одиночками, и смешил до слез – у нас получалась самая веселая компания.

За отдельный стол приглашались собкорры центральных газет. Игорь Гребцов - «Советская Россия», Жан Чесноков – «Правда», Юрий Голубцов – «Труд», Виталий Туманов – «Строительная газета», Арнольд Пушкарь – «Известия». Почти все они состояли на партучете в нашей редакции. Куликов выступал с горячей речью, подводил итоги, провозглашал первый тост за отчизну, за родную партию. Все дружно сдвигали бокалы. Бутылки с вином быстро опустошались. И тут, подстрекаемый энтузиастами, появлялся с подносом дядя Ваня, водитель редакционного «газика». Он смущенно обходил пирующих, и на поднос бросали столько, сколько, кому не жаль, особенно щедры были собкорры. Водитель отправлялся в известную только ему торговую точку за «досылком» - так в газетном деле называют материал, досылаемый в номер в последний момент. Безропотно и щедро вносил свой пай в пирушку и «досылы» Толя Рудак, но он был в нашей стае белой вороной – ничего, кроме лимонада, не пил. С возгласами «Ура!» встречали удачное возвращение дяди Вани с двумя ящиками «Хереса», и пир продолжался.

Куликов, чтобы не быть свидетелем будущего развития событий, видно, понимал – журналистам тоже надо расслабиться, покидал красный уголок сразу после торжественной части,

оставляя умненький, но непредсказуемый коллектив под присмотром замов. Сколько их было? Марфин, Мишин, Девякович, Бавин, Перочкин. И в частности, Евгений Николаевич Пошатаев. Он заканчивал наш университет заочно в весьма немолодом возрасте, держался за свое замство, как за жизненный парус. Став депутатом горсовета, тем самым упрочил свое ведущее положение в газете. Но как тщательно ни скрывал, имел слабость в выпивке переступать заповедную грань, сливаться с коллективом. А коллектив стар и млад, веселился как большой ребенок, сбежавший с уроков. Соревновались в лаконизме, стилистике здравниц, импровизировали, пели о том, как летучка прошла, пострадавших обмывали. Под звуки цыганской музыки в круг танцующих неуклюже выходил Валя Бавин, samozабвенно топоча ботинками «прощай молодость». Рядом легкой птицей летала Вика Маловинская. Забыв о всемирной печали, поблескивая ореховыми глазами, и величаво поводя плечами, в дуэт молодых вступала Ирина Романова.

Криминалы на подобных пирушках никогда не случались. Попили, натанцевались, высказали в тиши кабинетов то, о чем никогда не сказали бы по трезвой – симпатии или прогнозы на скорую творческую гибель – и милейший дядя Ваня, царство ему небесное, развозил по домам, а ослабевших доставлял к самому подъезду во избежание непредвиденных неприятностей. Огни в редакции гасли.

Но на следующее утро отец Федор ходил чернее тучи. Его вызывал на ковер сам Черный. Секретарю крайкома партии во всех деталях и нюансах уже было доложено о пирушке в краевой партийной газете. Спрашивается, за что? Все журналисты на рабочих местах. Никто в медвытрезвитель, к счастью, не попал. Во всех мало-мальски уважающих себя городских учреждениях шумно отмечались праздники, а на ковер – «тозовцев». Непостижимо, кто занимался стукачеством. Мы, притихшие, с не очень свежими головами сидели в кабинетах и гадали, перебирая имена ярых коммунистов-коллег, вхожих в крайком партии. Сострадали редактору. Бедный Федор Георгиевич, принимает огонь на себя. А как убивать словами может в гневе первый партбосс края, я знала достоверно. Хоть и не член партии, но однажды с проректором Пединститута Михаилом Светачевым была вызвана на тот самый коврище.

Доцент Светачев по моей просьбе подготовил статью о практике преподавания общественных наук в своем вузе. Она, по мнению свыше, оказалась не на должном идейном уровне, к тому же из-за моей беспартийной несознательности из текста выпал рефрен любой статьи, «благодаря заботе родной партии и правительства». Вот нам и досталось. Угрозы Алексея Клементьевича завершились грозным обещанием в адрес Светачева: «С партийным билетом хочешь проститься? Дождешься!». Явно нечто подобное Черный пообещает Куликову.

А что такое журналист без партийного билета? Имей ты семь пядей во лбу – знания, таланты, опыт – выше литраба до старости не прыгнешь. Возможно, моя мозговая оснастка неправильно устроена, но вступление в партию молодого журналиста я квалифицировала не иначе как публичную заявку на продвижение по служебной лестнице. Объявить во всеуслышание – помираю, хочу быть членом КПСС – в переводе означало: надоело быть литрабом, желаю вступить на путь к завству. Впрочем, когда принимали в партию Власова (до ситуации с Ларской) причина была прозрачной – он хотел стать собственным корреспондентом «Советского патриота» - и все дружно проголосовали «за». Лишь члены партии могли стать редакторами крохотных многотиражек, не говоря уже о собственных корреспондентах не только столичных газет, но и нашей. В Николаевске – Тамара Пойлова, в Комсомольске - Сережа Торбин, в ЕАО – Коля Чековитов. Все они были членами партии, а как же иначе, если ты работаешь в партгазете. Власов занял вакансию, правда, ненадолго, но партбилет крепко помог ему в будущей карьере. Такого базиса у меня не было. Его следовало создавать в студенческие годы, когда веровала, и когда в университете декан профессор Бережной предлагал мне вступать в партию, но я отказалась, так как искренне думала, что не созрела для членства в КПСС. «Созревание» затянулось, обрекая в те годы на серьезную ущербность.

Боясь, что снова потеряю заведующего, - Зырянов наточил лыжи в секретариат, засобиравлась в очередную командировку, в Охотск, давно обещанный редактором. Там у меня осталась недочитанная книга, а еще память об одном из интереснейших журналистов Хабаровска - Петре Васильевиче Баранове.

«Так вот она такая, охотская земля»

Этот северный поселок был мне не чужой. В свои восемнадцать, томимая неведением, какой я человек, – сильный, слабый или никудышный, решила познать себя. Предполагала, что трудности, север, неустроенность – тот пробный камень, которым проверяется человек. И уехала в Охотск, сразу в аэропорту вдохнув экзотику севера. В Хабаровске буйствовала весна, стоял сиреневый май, а здесь свирепствовала промозглая, сырая пурга. Кухтуй еще не тронулся, но по белому, неровному полю его легли грозные трещины, – проезд был запрещен, и я не могла попасть в Охотск. Моя соседка по гостинице, жена главного инженера, приехавшая навестить мужа, названивая ему, грозила вернуться во Владивосток. И на третье утро у гостиницы остановилась длинная упряжка собачек. В комнату вошел каюр в кухлянке, торбасах, будто с газетной фотографии, и взяв наши чемоданы, ни на кого не глядя, произнес: «Солнышко крепко греть будет, спешить надо».

Пурги как ни бывало, а солнце уже грело, на глазах подтачивая ослабевшие силы Кухтуя, неистового пробуждая его к весне. Собачья упряжка мчалась по сырым льдинам, бесстрашно пересекая глубокие трещины, и сердце ухало: под полозьями черная, бездонная глубь, и грозный хруп разламывающихся льдин, плеск воды. В воздухе слышалось пощелкивание бича и «тах-тах» каюра, бегущего рядом. Вдруг нарты стали: перед вожакон мелкая трещина на глазах обернулась черной пропастью, отрезав путь, заливая лапы передних собак, в испуге пятившихся назад. «Отрезаны! Тонем!» – мелькнула мысль. Но каюр невозмутимо повернул вожакон влево, трещина осталась позади. А вот и другая. Под нартами снова плескалась вода. Надвигался непонятный шум. Что это? Солнце! Оно невинно, не понимая, что творит, своими лучами, вдруг ставшими горячими, раздвигало льды, и такое ощущение, что вот сейчас все льдины разом придут в движение, а мы с нартами – на дно.

Уже в те годы собачьих упряжек на побережье было немного, в основном в Арке, Хакандже, глубинных поселках. На смену им приходили автомобили, но дорог-то хороших и зим мягких, хотя бы таких, как хабаровских, не было. И это сальто-мортале через майский Кухтуй, только начало. Были ситуации и порисковей. Охотск, с его картошкой невиданных размеров на гальке; неизменными помойками; снежными пургами, когда по одному из дому не рекомендовалось выходить, унесет в море; снегом в чайниках и кастрюлях – колодцы перемерзали; с бесчисленными печными трубами жактовских домиков, которые днем не закрывались на замки и где жили единым землячеством отважные, дружески настроенные люди – уникальнейший поселок, аналога его в нашем крае не знаю.

В райцентровском радиоузле, где я вещала по вечерам, оборудование примитивнейшее, в полупустой без окон комнатке на столе часы и микрофон. Передача, с предваряющим, жизнерадостным: «Внимание! Говорит Охотск!», без всяких магнитофонных записей шла прямо в эфир, в квартиры охотчан. Редко кто из выступавших капитанов передовых морских судов приписки Охотского морпорта в радиоузле не волновался. И я удивлялась – морские волки, бесстрашные в штормовом открытом море мужики, неискушенные цивилизацией, выказывали мальчишескую растерянность перед микрофоном, и как могла, поддерживала дух, успокаивала, ибо сама первое время боялась микрофона, как огня.

Жила в учительском доме, перегородженном тонкими стенками, на четыре семьи. С утра можно было слышать, как в одной квартире учителя репетируют литературный монтаж: «Неведомая, дикая, седая, медведицею белою Сибирь...», в другой – считают зарплату, а в третьей, затесавшаяся в учительский домик Клавка, пьющий стрелок рыбозавода, сражается с мужем. Меня на подселение к себе взяла подруга по Хабаровску, англичанка Ирина Слесарева, хорошая девчонка. Захваченная новизной работы, мне было не до того, что север к веселью мало оборудован и складывалось такое впечатление, что в Охотске вообще нет парней. По вечерам Ирка сидела за проверкой школьных тетрадей, а я – за учебниками. Если к ней приходили подруги со школы, только и разговоров о методиках, неуспевающих и отличниках, а еще о лучшей учительнице Охотска Надежде Байковой.

А тут перед октябрьскими праздниками в командировку в Охотск приехали два журналиста. Витя Папин – из радио и Петя Баранов – из «Тихоокеанской звезды». Настоящие журналисты, решительные, без церемоний, въедливые и веселые парни, застигнутые пургой и нелетной погодой.

После моего вечернего вещания, которое завершалось традиционным «передачу вела» такая-то, у радиоузла, что в центре поселка, уже стояли оба. И Петр Васильевич Баранов, большой, медведистый, дружески облапив меня, удивлялся: «Слушаю радио, знакомый голос, чей, не припомню. Ну, а когда ты назвалась, да это же наш юнкор! А мы с Витькой сидим в гостинице, скушаем. И не к кому пойти, повеселиться».

И я повела гостей на Коммунистическую. Баранов оказался не таким грозным и занудой, каким я его представляла тогда, еще школьницей, а совсем наоборот. В нашей унылой, однообразной жизни приезд журналистов это как «Пять вечеров» драматурга Володина, прекрасных, неповторимых. Первое общение со столичными журналистами. Днем мы разбегались по своим делам, а вечером с Иркой по-быстрому растапливали печку, носили свежий снег на чай, готовили из вымоченной селедки форшмак, в котором иных овощей, кроме картошки, маринованной свеклы, не было, и ждали стука в дверь.

– Девушки, кто из вас у изгороди оставил бутылку шампанского? – заглядывая в дверь и ведя нас на улицу, с серьезным видом спрашивал Баранов. И правда, в снегу торчала бутылка. Давясь от смеха, он продолжал: – Вы гляньте, а что здесь хранится? – И вел к поленице дров, которые мы кололи с Иркой на зиму. Между поленьев – пакет с закуской. – Смотрите внимательно, ничего не забыли? Ира, а под крыльцом ты ничего не оставляла? Так и есть, бутылка спирта! Ну, вы, охотчанки, и даете! – Входя в дом, мы хохотали до упада. На розыгрыш, фантазию журналист Баранов был неистощим. Его чудачества, редкое качество, преобразующее прозу унылого застолья в праздник, нас, неискушенных очаровывали.

– А сейчас мы организуем «северное сияние». Как только появятся пузырьки, сразу пить и до дна, – смешивая капельки спирта с шампанским, колдовал над фужерами Баранов, повернувшись к Папину, шутил: – А тебе, алкашу, шампанского не дадим. – Поднял фужер, обвел всех цыганистыми глазами: – Ну, за что пьем? Предлагаю старинный гусарский тост.

Для нас, девчонок, затерянных в снежном поселке, забывших радость городской жизни, все было впервые: и «северное сияние», и тост «За прекрасных дам», и «охотская Мэри», так Баранов назвал свой второй напиток.

– В этом доме найдется томатный сок? – спрашивал он. Мы с Иркой пристыжено молчали. – А вот обманывать, девушки, нельзя. Витя, посмотри там, за печкой. – Когда он успел припрятать банку сока, неизвестно. Его хохмы, шуточки оборачивались для нас невиданным рыцарством, не знаю, как иначе назвать вот этот жест: – Ирочка, ты что преподаешь, английский? Значит, не в курсе. А история рассказывает, что из женской туфельки ни один мужик в мире не пил спирт. Да, известны случаи, когда потребляли шампанское, даже водку. А я буду первым – И он, склонившись, снимал с ноги учительницы, пунцовой от восторга, туфельку, наливал спирт, и выпивая, сладостно занюхивал лакированной туфлей.

Уютно потрескивала печка. Я брала гитару, и мы пели «Ребята настоящие, нам док, что дом родной», перефразируя армянскую песню, дружно подхватывали припев гимна охотчан: «Так вот она какая, Охотская земля!». В окна стучал хрупкий снег.

– Нравится мне у вас. Люди открытые, славные, русские. Самые лучшие мои материалы с побережья. Живете в природе. Природу люблю жадно. – Признавался Петр Васильевич. – Вот стану старым, уеду на Хехцир, построю домик у чистого ручья, разведу пчел и буду жить, как дерево в лесу, долго, долго.

– А я уже семь лет на побережье, – задумчиво вступила в разговор Ирина. – Дважды пыталась распрощаться с Охотском. Последний раз даже выписалась из домоуправления, чтобы пути назад отрезать. Но тесно мне там, безличная я какая-то в этом людском водовороте. Возвращаюсь, а как ступлю на берег, каждую галечку готова расцеловать. – Она смутилась, потупилась.

Папин подошел к Ирине и демонстративно поцеловал ей руку.

– Интересные вы люди. Жаль, репортер не включен. Ах, какой бы репортаж получился. – И глядя в глаза Ирине своими бархатными черными очами, Папин запел мягким тенором: «Каким меня ты ядом напоила, каким меня огнем обворожила? О, дайте ручку нежную» – А дальше муть словесная. Но эти первые две строчки Петра Лещенко гениальны. – И начался долгий спор о творцах, подаривших миру не тома, не дюжину опер, а одно стихотворение, одну песню, один

рассказ, например, Смеляков, Равель, их знает весь мир. И мы с Ирккой пытались блистать знаниями. Но куда нам до эрудиции журналистов. И мы слушали их с безответной влюбленностью..

В один из таких вечеров Папин пришел расстроенный. А Баранов покатывался от смеха, требуя рассказать «как Витя-кур попал во щи». Перед праздником Папин записал беседу с Героем соцтруда, интервью бригадир рыбаков давать не любит, а тут сын родился, молодой папаша в ударе был и Папин с репортером подоспел.

- Сегодня прихожу в «Охотско-эвенскую правду» и говорю редактору: «Такую беседу с героем записал, пальчики оближешь. Давайте, послушаем». Перед летучкой у Пинчука вся редакция собралась. Включаю репортер и что же? – Комнату заполнили шум, гам и голос Папина: - «Товарищи радиослушатели, наш репортаж мы ведем с рыбацкого стана», и другой голос, Баранова: «Ошибка получилась, журналист заблудился. Все наоборот. Мы не на рыбацком стане, мы в цыганском таборе. Поет наша Ира. Ира-цыганка» - И голос учительницы с надрывом «Эх, шарабан мой, американка» под мой аккомпанемент. - Катя смените пластинку. Где цыганские напевы? Нет таковых. Есть будущая журналистка. Она взялась написать очерк «Ребята настоящие». А я, то есть ваш покорный слуга, обязуюсь сотворить новеллу «Есть у моря свои законы». Ну а сейчас все журналисты и присутствующие пьют и веселятся» - От прослушанного у меня запылали щеки, а Папин продолжал: - Публика упала. Кричат: нас в ваш табор. А редактор, он у вас мужик солидный, шуток не любит, аж побагровел: «И это интервью с героем соцтруда? Вот вы, Папин, какими делами в командировке занимаетесь!» - сплюнул и ушел. Черт старый, как бы в комитет не настучал. И без того грехов у моей персоны, о-хо-хо. И как это меня угораздило? Ленту не перекрутил.

В стенку неожиданно раздался стук. Это Клавка, пьющая соседка, от нее ушел муж, оставив с ребенком. Стук продолжался:

- Эй, новенькая, иди сюда, - звал голос. Я засобиралась.

- А может не надо? – воспротивились гости. Накинув пальто, вышла в коридор и едва открыла наружную дверь, будто ее кто-то подпер снаружи. То был упругий ветер. Он пел на разные голоса и на улице ему нечего было раскачивать, ни куста, ни дерева, голые улицы поселка, дома по окна засыпаны. И только всей силой своей набросился на снег, мят его, вздымая пылью, добираясь до гальки, а попадется человек - бросался ему под ноги, пытаюсь остановить в пути. Второй день праздника народ сидел по домам. Проваливаясь в глубоком снегу, едва, хоть и рядышком, добралась до двери Клавдии. В полутемной кухне за грязным столом, сидела старая, худая женщина с растрепанными волосами. В ней я едва узнала 30-летнюю соседку. Склонившись над листком, она что-то писала. Другая, видно, собутыльница, уже в пальто, стояла у порога. Я заглянула в записку: «Маша Дай пол литру в долг. Я расплачусь. Клава». Значит выпивки не хватило, послала гонца.

- Попроси продавщицу как следует, она не откажет мне, – давала указания Клавдия товарке. - Да чтоб одна нога здесь, другая там. А ты садись, гостем будешь. - Гостьей здесь мне быть не хотелось. - Нет, ты посиди. И ответь мне, зачем сюда приехала? Слышу, музыка играет, два дня раздаются мужские голоса. Я такой же девчонкой как ты сюда приехала. В рот не брала ее, проклятую. А что со мной сейчас сделалось. Не пью неделю-другую, а потом запью. Пью, как чайка. - Она слила со дна двух бутылок остатки и резким движением опрокинула рюмку в рот, вытерла губы рукавом. – Ты меня осуждаешь? Не осуждай. Сама скоро такой же станешь, если не уедешь. Василий горячий, веселый парень был. А выпьет, мне, трезвой, казалось, противнее его нет. Бутылку возьмет и меня за стол садит, полный стакан нальет, «пей, мать» – говорит. Сначала отказывалась, а потом ничего. Выпью и не вижу, какой он вихлястый, дерганый. Ушел, другую бабу спаивать. И осталась я на всем свете одна.

- Где же ваша дочь?

- Спит Юлька. Она мне не мешает. Вторые сутки спит. – Я кинулась в комнату. Разметав ручонки, среди крошек пирога с маком, спала девочка. Мак, мак, да ведь это снотворное! Ругая Клавку, я несла недвижимого ребенка на руках, а крошки мака сыпались с одеяла. – Не шуми, меня в детстве только маком успокаивали, тетка по пьянке проболталась. Ты ж мою жизнь не знаешь. - И видя, что я хочу уносить ребенка к себе, вскочила, как волчица: - Не трожь. Свое займай и распоряжайся. Положь, где взяла. Я кого хошь убить могу за свою дочь.

Дверь собственной квартиры едва открыла, ворвалась в комнату и разом остановилась, будто в другой мир попала. Чисто. Уютно. Тихо играла музыка. Перед Папиным, листающим книгу, дымился в чашке кофе. Баранов и Ирина танцевали.

- Ира, Клавка снова запила. Юльку, чтоб не мешала, маком накормили. Ребенка надо забрать. Дверь на крюке закрыта. Как проникнуть?

Петр Васильевич, натягивая полушубок, задал несколько вопросов, касающихся соседки. Долго стучал в дверь. И когда Клавка спросила «Кто там?», измененным голосом откликнулся:

- Клава, это я. Открой, да поскорее. Замерз я.

- Вася, Василий пришел! - Торжествующе завопила Клавка. - Я же говорила, вернешься. Ни один мужик от меня так просто не уйдет, – пьяно хохотала она, распахивая дверь. Баранов, оказывается, прекрасно знал женскую психологию и рассчитал все правильно, ибо соседка не глядя, с пьяна бросилась к нему в объятия. Осознав, что вошедший не ее Василий, попятилась. Удивил жесткий голос Баранова:

- Я корреспондент из Хабаровска. На ваше аморальное поведение в быту поступила жалоба. Вы морите ребенка голодом и даете наркотические средства. Все идет к тому, что вас лишат родительских прав. Где ваш ребенок? - Клавдия сделала два неверных шага, пытаясь собой закрыть дверь, ведущую в комнату. Отстраняя ее, Баранов холодным, не допускающим возражения тоном, продолжал: - Ирина Петровна, у вас найдется, чем покормить ребенка? А вы, Клавдия, завтра придете к Ирине Петровне и поблагодарите за то, что свои материнские обязанности, в связи с пьянкой, перекладываете на соседей. Постарайтесь быть трезвой, буду с вами серьезно беседовать.

В этом был весь Петр Васильевич Баранов. С бесшабашной отвагой неопита, воспарениями духа и зоркой сердечной мудростью. А еще - надежным, без всякой хитрости и выгоды, другом, в чем многократно убеждалась, когда он долгие годы возглавлял хабаровский КрайТАСС. Высокая должность не придала ему ни высокомерия, ни заносчивости, как это часто бывает у людей слабых духом. Встречаясь, изредка вспоминали пять охотских вечеров, светлых, чистых.

А тогда с Ириной мы долго еще воевали за судьбу Юльки. Угроза лишения материнства произвела на Клавдию сильное впечатление, и ее пристрастия, под неусыпным надзором соседей, пошла на убыль, во всяком случае, на то время, когда мы жили через стенку. А вскоре к нам подселили еще одну учительницу начальных классов. Вот тогда я познакомилась с легендой учительского Охотска Надеждой Байковой, о которой дважды пыталась писать, но безуспешно. Надя - очень своеобразный человек, ее учительский дар был также непостижим, как божье таинство. Если не покинула побережье, на что надежды мало, ведь все мои знакомые охотчанки давно на материке, она станет героиней очерка.

Но командировку в Охотск Куликов задробил, спешно отправив меня в район Полины Осипенко. Там, на золотых приисках Бриакана проживал драгёр Борис Довиденко, получивший звание Героя Социалистического Труда, и о котором еще никто не написал ни строчки.

Кто «двигат» в герои?

В поселке Веселая Горка гостиницы, понятно, не было. Поселили меня в бывшую баню, с полками вместо кровати и стола, приложив постельное белье. Утром, к моему удивлению, возле баньки собрались поселковые женщины – видно, магазинчик рядом. Не догадываясь, что эта делегация ко мне, направилась было к дому драгера, где меня ждали. Но стоило выйти на улицу, как вся эта толпа окружила – сарафанное радио разнесло, что приехал корреспондент писать об односельчанине. И тут начался несанкционированный митинг:

- Кто дал Борьке героя труда? По блату что ли? Нашли Гагарина. Да он людей не замечает. Идет как боров, глаза в землю. От него человеческого слова не услышишь.

- Кто двигат его в герои? - наседала хохлушка.

- И в детстве первый хулиган был.

- Куда писать, что он совсем не герой?

Сориентировавшись в необычной обстановке, я отыскала интеллигентное лицо менее скандальной женщины, и пригласила в баньку для спокойного разговора, чтобы выяснить причины неприятия своего односельчанина. И вот что она мне рассказала. Борис Довиденко ничуть не лучше других золотодобытчиков. Более того, он секретарь парторганизации поселка, а его – не видно и не

слышно: драга и дом. С людьми не здороваются, не замечает. Разве такой человек может носить столь высокое звание?

В моей журналистской практике ничего подобного не случалось. Как быть? Может, это зависть людская? Или романтическое восприятие героя как необычного человека? «Кто двигат? Кто двигат?» - думалось мне, когда направлялась к домику охаянного сельчанами драгера.

Нестарый мужик, грубоватые черты лица. А откуда им быть мягкими – работа на ветру, под солнцем. Но взгляд прячет. И впрямь, смотрит искоса. Но самое неприятное для журналиста – молчун. Из такого клещами вытягиваешь каждое слово. Между прочим, говорун тоже не подарок, обрушит массу лишней информации, но его рассказ можно направить в нужное русло. А здесь получилось, что говорила я, и на любой, самый примитивный вопрос – скупое «да» или «нет».

- Нравится вам работа драгера? Ведь тяжка.

- Не нравилась бы, чего бы я чужое место занимал. - Дочь его, 13-летняя Наташа, стараясь изо всех сил помочь мне, задавала отцу наводящие вопросы:

- Папа, расскажи, как ты кружку с золотом выловил в водоеме.

- Да чего рассказывать, - отмахнулся он, – невидаля какая.

- А как с тетей Надей самолет в сопках разыскивал.

- Мало ли что разыскивали. Не нашли.

Я осталась с пустым блокнотом, и было одно желание – уносить ноги с Веселой Горки и ее баньки. Но, провожая меня, дочь Наташа, с которой мы подружились, шепнула: «Папке сказали вчера, что корреспондент приезжает, так он тайком виски красил. Он у нас седой. Ждал вас». И от этого ее признания что-то дрогнуло в сердце. Стоп. Разберись, открой человека.

Каждое утро, чуть свет, с походными сумками, где были уложены бутерброды и термосы, мы выходили в мглистый еще спящий поселок на утреннюю смену. Одновременно в четырех домах хлопали двери и четверо дражников присоединялись к нам на узкой тропе, ведущей в лес к «Серебрянке» - такое имя носила драга. Только эта пятерка по едва уловимому скрипу ковшей, шуму золотопромывательной бочки могла угадать, грызет ли «Серебрянка» мерзлоту или отрабатывает хороший забой. И вот уже среди шапки тайги вырастают гряды бескрайних отвалов. Они волнообразным шлейфом тянутся за драгой, возвышающейся как многоэтажный освещенный дом. Из мутной воды котлована выплывает «браслетик» - семидесятитонная черпаковая цепь.

Так, дней пять я ходила за Довиденко как его тень. Даже жена Люда стала явно ревновать его ко мне. Ха-ха! Да с ним не о чем совершенно было говорить – молчаливая неприступная скала. Лишь один яркий эпизод, рассказанный, конечно же, не им. Это случилось после ночной смены Довиденко. Доводчик Карпов, направляясь к мостику и похлопывая по опломбированной, полнехонькой золота кружке, висевшей у него на ремне, прыгнул на борт котлована. И вдруг его крик: «Стоп! Кружка! Моя кружка!» Карпов частенько жаловался, что надо бы ремень сменить, стерся, не вняли, и произошло страшное – золото, добытое за сутки, упало на четырехметровую глубину котлована. Стоя на коленях на борту драги, обезумев, лез в воду за кружкой Карпов. Сполосчицы оттаскивали его. Прибежал взволнованный начальник драги. Узнал и схватился за голову. Да за это дело – всех под статью. Где найти водолазов? На прииске их нет. Он – к Борису: «Спасай!»

- Дать большой свет. Отцепить механизмы! - приказал Довиденко.

- Боря, сынок, на тебя вся надежда, - суетился Карпов, преданно заглядывая в глаза драгера. – Ты мой единственный спаситель.

- Не мельтеши. Где уронил?

На глаз измерив угол забоя, Довиденко взялся за рычаги. Главное – не потревожить дно котлована, где лежала кружка. Мягко потянул фрикцион, цепь погрузилась в воду на отметку четыре метра, зашевелилась, и черпак скребнул грунт. Над мутным зеркалом воды появился ковш, за ним другой, третий, а в голове металась мысль: если ошибся хоть на пару сантиметров, черпаки отбросят кружку, утратят навечно. Тогда Карпова, и его, Довиденко - к ответу».

В пятом черпаке померещился блестящий пяточок. Он приближался, рос. Она! Потянул рычаги - и маленькая кружка в ковше, словно на подносе, поплыла к окну рамного прореза. Все кинулись к ковшу, отгребли грунт, а на кружке даже пломба не была потревожена. «Ну, ребята, это класс!»- воскликнул начальник драги.

Этот эпизод мог держать на весу весь очерк. Но он свидетельствует о высоком профессионализме, характерном и для других опытных драгёров. У тех еще круче ситуации были. Однако они не герои. Что же отличает Довиденко? Конечно, можно было обогатить будущий материал романтическим детством, когда в тайге искали самолет советских летчиц, пронизать центральной мыслью - Довиденко любит эту суровую землю, привязан к ней сердцем и будет служить ей до конца. Но это было бы неправдой. Семья Довиденко уже сидела на чемоданах - купили квартиру в Хабаровске. Жить в Веселых Горках стало невозможно: им тыкали «героем» при встречах, сама слышала на улице и в сельмаге. Да и в коллективе драгеров наступила напряженка.

Обескураженная, возвращалась я в Бриакан, откуда должна вылететь в Хабаровск. Но погода сыграла злую шутку, – вдруг закружило, засвистело. Дождь со снегом. Погода нелетная. В поселковой гостинице надолго застряли командировочные. Чтобы не тратить время попусту, провела рейд по золотым полигонам, а по вечерам пыталась писать о Довиденко. Не ладилось. Как опровергнуть мнение односельчан? Но ни одного даже крохотного факта из методов партийного руководства поселковыми коммунистами, а партячейка солидная, не нашла. Этот вопрос так застрял в мозгах, что ночью приснился сон, будто его я задала секретарю райкома партии и он радостно отвечает:

- Факты? Пожалуйста. По инициативе Довиденко сельчане после праздников не выбрасывают бутылки из-под водки в помойку, а в плановом порядке по 23 штуки сдают. Для этого он организовал машину, которая приезжает и забирает стеклотару.

Ни фиги себе, наверное, уже крыша едет! На всякий случай и впрямь позвонила в райком партии – почему именно Довиденко удостоен звания Героя? Секретарь ограничился общими фразами: добросовестный, старожил, в пьянке не замечен, скромный. И как бы между прочим сообщил, что по разнарядке на район выделили одну вакансию на героя, были и более достойные, но, увы, бывшие ээки.

«Изучить, чтобы вдохновиться»

А тем временем небо не синело, закутавшись в туман. В кошельке осталась десятка на авиабилет. Можно было позвонить в редакцию, и денежку Люба Щукина прислала бы, но надежда, вот-вот просветлеет, удерживала. А надоедливый дождь не утихал.

Дежурная гостиницы, Романовна, она же кастелянша, уборщица, исправно каждое утро кипятила для постояльцев пятилитровый чайник. Ее натруженные руки в частых рябинках не знали покоя. Мыли, терли, заправляли постели, а на общем столе появлялись сало, хлеб, яйца, вареная картошка. Питались мы, поиздержавшиеся в командировке и застигнутые непогодой, как я понимаю, в долг. Но она и слушать о том не желала, всех называя «доченьками» и «сынками». Подобной, бескорыстной доброты я не встречала. И на мое удивление соседка по койке из райцентра пояснила: «Вам в диковинку. Но ведь это Романовна!».

Как-то, когда в гостинице никого не было, Антонина Романовна Лучихина натирала до блеска чайник. По радио задумчивый голос пел «Бьется в тесной печурке огонь». Она опустила голову, а подняла – на лице блестели слезинки.

- Романовна, что вы? - Она улыбнулась, бодро махнула рукой и сквозь слезы проговорила:

- Не то горе, доченька, когда плачут, а то, когда из горя человек поет, каменеет. Это последнее горе, когда сердце нельзя унять от крику. – Она присела к столу, стала рассказывать. Сначала спокойно, потом, волнуясь, а руки ее то сжимались в кулаки, то мягко поглаживали клеенку. - Я из такого горя вышла. А все обстоятельства земного шара виноватые. – Ее пережитое, богатая метафоричность речи, самобытность заворочили меня, и я едва успела схватить блокнот.

Очерк «Обстоятельства одной жизни» получился великоват и линия женской доли во всей ее незащищенной, грубой правде оказалась при публикации вычеркнутой. А в частности, как, потеряв четверых детей, мужа, оставшись одна одинешенька, не удавилась, не закаменела от горя, нашла выход, как взяться за жизнь.

- Очень скорбит душа и по сей час. Был в девчонках у меня ухажер Миша. Панский сын. Занимался хлебопашеством. Мы любили друг друга без памяти. Жениться нельзя – он богатей. Его в штрафной батальон направили. Не видеть его никогда. Мать за Степана меня выдавать. Да и я думала – спроводится это мое чувство. Когда за столом свадебным сидели, в дверь – стук. Миша входит. Подает рубль золотой и платочек – подарок. Поклонился мужу моему, просил со мной поговорить. Вышли. А он говорит: «Тоня, твое счастье, а мое несчастье». Дали мы слезам волю.

И вроде не до него было. Четверо детей мал мала меньше. Война началась. Степан первым делом – на фронт. Старшую дочь, Нину, сестра из Гомеля забрала себе. От почтальона шарахались бабы, да он в мою избу первую треугольник принес. Всем миром меня отхаживали.

А как эвакуировали нас, народ в лес стал ховаться, в партизаны оборачиваться. А какой я партизан с детьми – один на груди, двое за юбку держатся. Закричат, заголосят, – немцы услышат. Не взяли нас в партизаны.

Заняли мы на погорелом хозяйстве единственный дом под крышей. Прокорм сами себе искали. Дети стали от голода пухнуть. Кругом пепелище. По ночам траву ходила искать, торфяник – борщ варила. Одного за другим похоронила в Радково. Окаменела я после того.

А нас немцы согнали в кучу и под нашим прикрытием шествовали. На десять километров пальца не втычешь, столько нашего народа согнали. Сверху советские самолеты летают, видят – свои люди бредут, а рядом немцы – не бомбят нас.

Как-то помню, двое фрицев идут сзади, балакают весело: «Москва капут» и злоба во мне, заворачиваю: «Как не видел ты без зеркала уха, так не видеть тебе и Москву». Понял, черт поганый, по голосу, и кричит: «Алис капут!». Я ему: «Стреляй, погань». Решимость во мне такая обнаружилась. Очнулась от плеток.

Я не знаю, как мне пришлось остаться. Так сердце скорбело по дочери, Ниночке, ненаглядной, старшенькой. Потом, когда свои высвободили нас, в Каленовичах с сестрой встретила. Она из больницы Нину мою везла. Выходит сестра из вагона, а на ее руках что-то большое лежит, простынею накрытое. Доченька моя! Я к ней, а она-то мертвая. Теплая еще. Обезумела я, что ли, схватила дитя и по шпалам в Радково понесла, за километров сто. Похоронить там, где трое детей в земле сырой лежат.

Иду. Песни вою, как волк. На третий день она у меня зеленеть начала. А я как заведенная – иду, иду. Ослабела, похоронить безымянной не могла. А она уже из рук выскальзывает. Села на рельсы, смерть моя пришла, жду поезда, уже слышу – поезд идет. Подняться сил нет. Ну и пусть идет. А тут ко мне: «Стой бабка, стрелять буду!». Поднимаю голову – солдат с семафорной будки, с рельс стаскивает. Увидел он, дитя уже зеленое, обругал меня. Там и вырыл могилу. У будки. И похоронили безымянной мое дитя последнее. Было Ниночке в ту пору шесть лет. И осталась я на всем белом свете одна.

Антонина Романовна умолкает. Тяжело укладывает на столе руки, рябые отекавшие, с негнущимися сухими пальцами. И снова начинает говорить:

- Голод, разруха. Работала я на господарке. Чтоб солнце сошло, а ты еще в поле должна быть. Работы не боялась. Хозяева уважали меня, звали россияночка. Странно, одиноко мне, что от такой моей большой семьи одна осталась. Приду домой, посмотрю на стенки, пустую кровать. Стенка, стенка – ты немая, подушка – молчишь, сердце приучено к первому мужу. Идут с войны с руками, ногами, идут без рук, без ног. Степан никакой не идет. И не к кому прихилиться.

Голос Романовны становится мягче, вспорхнули пепельные ресницы:

- Тогда бабы пели: «Ох война, ты война, ты меня обидела. Ты заставила любить, кого я ненавидела». Тяжело нашему брату – бабе было, мужчины в земле сырой остались. У нас квартирант жил, чистенький такой, вдовец. Обстоятельства жизни у него хорошие были. Присматривался, и ко мне в гости. Свататься. Мне в ту пору было 26 лет. Я сама себе спиваю у плиты. Сели мы за стол. А он давай разговоры вести, как жить будем. «Да, мне, - говорит, - такой жены не найти, какой покойница была». У меня в сердце – стоп! Осерчала я, заворачиваю ему: «Мне такого мужа не найти, как мой Степан. А твоя осталась в земле, не стоит картофельного золота». И выпроводила.

По соседству проживал один мужчина. Гладенький кругленький, говорили, что в войну нажил. Приглядывался. Приходит и говорит: «На кусок хлеба нужно много трудиться. Зачем тебе так? Мы можем легче жить». Ну, уж я за все ему: «Далеко вы разогнались. У вас, - говорю, - на

богатство глаза расширяются. Свой авторитет перед советской властью потерял. Таких на полигоне жизни много. До свидания вам».

Обо мне мужчины говорили: «неграмотна, а герой ей нужен хороший». А я осерчала на них. Желают на готовое, чтоб хата и корова была. А у меня телочка. Придут сватать, а я: «Телочка есть, да сено не ест, а коль поест, торчать будет. Прощевайте вам».

Все это происходило годами, а сама думку думаю, - как же так? Годы проходят, и никакого племени у меня не будет. Попался мне человек. Виду самостоятельного, счетовод. Поглядел на меня. Видит, что я бьюсь по жизни, стал чаще гостить. А потом рассказывает: «Ты одна, я одинок. У тебя богатству нет, и у меня. Рука об руку пойдем. Чтоб не свершилось, хоть на голом камне все едино – будем жить». Да и хозяйева мои – «сходитесь». Пожили мы с ним, а он все по деревням ездит. Нет и нет его. Тут слух прошел – недочет у него, в тюрьму посадили, а у меня уже дочка. Как же дитя без отца?

Женечке уже полгода было, когда ночью стучится кто-то. Отворила. Мужчина спрашивает: «Вы – жена Николая?» Я так и встрепенулась. Усадила, накормила. А он мне рассказывает: «У Николая семья давным-давно имеется и трое детей. В соседней деревне живут. Не жди его». Как запеклось мое сердце. Я ему – бух: «Я не утка и не гусь, по морю плавать не боюсь, женатого не постыжусь».

Нескоро отошла. А сама смекаю. Она пожила, а теперь и я хочу, чтоб у дитя отец родной был. Подкультирилась, взяла дочку на руки и пошла в то село. Жара стояла. Пока добралась, жажда одолела. Гляжу, у крайнего домика в огороде – женщина, черная, заморенная, и трое ребятишек рядом. Попросила я у нее воды. Сели на крыльцо, а она спрашивает: «Далеко, женочка, идете?» Я ей в обман: «Родных разыскиваю». А она рассказывает, что муж Николай сидит в тюрьме, дети голодают, сил нет прокормить. «Да вот, говорят, семью себе новую завел».

И я всю свою жизнь вспомнила. Она плачет себе, а я плачу себе. Только не стала я говорить, зачем пришла. Поглядела, слабая она, заброшенная. А я человек жизнью пробитый, на кусок хлеба заработаю. И ушла ни с чем.

Выпустила его из головы. А потом Николай меня нашел. Первым образом в мой дом явился. Говорит, жить будем. А я ему: «Посмотри на землю – близко. На небо – оно далеко. Такой обман от тебя пошел, что нет возврата». Все это перепеклось на сердце.

Спланировала я свою жизнь иначе. Приехали мы с Женечкой на Восток. Здесь папа, мама. Они располагали, что меня нет в живых. Работала как окаянная. Доченька ни в чем не нуждалась, учится в Москве. Как подумаю о ней, сердце репертится в радость. Жалуетса она, что некрасива. Говорю ей, – хотела бы я тебя сделать семажной куклой, но никак не получается. В прошлом году заработали с ней деньги и поехали по тем местам, где бедовала, поговорить с народом. Ведь много своих осталось. Там и сестра Михаила, панского сына, сердце о нем не утихло. Вышли из Рога в Радково. Вечер вечерел. Мы через тайгу по тропе. Километров семь. Догоняет нас старичок сухонький. И мальчик лет двенадцати с ним. «Куда?» - спрашиваю. «В Радково» – отвечает. Поговорили с ним о том, о сем. А мы отстаем, у Женечки туфли на каблуках высоких. «Вы уж, - говорю, - идите. А то дочка ишь каблуки какие носит». К ночи подхожу я к подруге своей. Познать все о Михаиле хотела. И тот сухонький во дворе встречает. Глянула в лицо мужчины, а у него вся голова сивенькая. И все во мне задрожало: - «Это ж Миша!»

Обнялись, плачем. Какие мы стали, что друг друга не признали. У него свои обстоятельства. Со штрафным батальоном всю войну отвоевал. До последнего не упускал надежду меня встретить. А сейчас у него, сивенького, жена, малые дети. Такая растерянная жизнь была».

Потом я не раз в трудные минуты жизни вспоминала Романовну. Это о таких как она писал Р.Роллан: «Изучить человека, чтобы вдохновиться его мужеством. Истинное величие его в одиночестве, в борьбе отдельного человека с Незримым».

Эта женщина с рябыми руками помогала мне выстаивать в трудные минуты жизни. А эти минуты сплетались в часы, дни. Очерк о Довиденко не складывался, тянула со сдачей его в секретариат возмутительно долго, так что Куликов на летучке съездив: пока ты его напишешь, твой герой получит вторую звезду и, как мне показалось, все радостно засмеялись. Заслужила. Все материалы под рубрикой «Награжденные Родиной» из этого захода героев были давно опубликованы. А мне только стоило взять перо, неизменно, навязчиво перед глазами – толпа возмущенных, митингующих женщин у баньки. Убедить их в неправоте не получалось. Климинков в таких случаях говаривал: «Слова-суки разбегаются, как клопы от спички». Стержневой идеи

материала я не увидела. Тем более в Хабаровске встречала жену Довиденко, – они переехали на постоянное место жительства в краевой центр, ждали главу семьи.

«Уборщица» мусора неграмотности

Да и в моей личной жизни все шло наперекосяк. В дневнике стали появляться ну просто черные записи:

«...Дни проходят вяло, однообразно. Желания обгоняют возможности. Ненавижу себя. Остается в полете лет разводить котят, собачат. Оказывается, я слабая, никчемная».

«...Последняя надежда принять участие в собственной жизни и изменить ее, разрушилась. Из Ленинграда вернулись документы на обмен квартиры. Моя ленинградская верная подруга Лю больше года пыталась перетащить меня в Питер, второй город моей любви. Чтобы дали разрешение на обмен моей крайкомовской квартиры, даже пришлось обращаться к Лапшину. Какой чудесный человек, не ожидала. Прекрасный собеседник, лишних вопросов не задавал. Обмен был возможен и при условии, если есть рабочее место в Ленинграде. На авось послала в «Ленинградскую правду» три, конечно, лучших очерка. Редактор Михаил Куртынин направил в бюро обмена жилплощади исполкома письмо. Вот оно. «Редакция газеты «Ленинградская правда» просит принять документы для производства обмена жилплощадью в г. Хабаровске на Ленинград у Гриценко Е.К. Тов. Гриценко, выпускница факультета журналистики Ленинградского университета, сейчас работает в Хабаровске. В случае обмена жилплощади в Ленинграде она будет работать в редакции «Ленинградской правды». Казалось бы, путь в город на Неве открыт. Людка нашла несколько вариантов обмена. Но нужна доплата не менее тысячи рублей. У меня на книжке, на черный день, 50 целковых. Усвоив, что тыщонку мне не добыть, велела Лю забрать из бюро документы. Письмо Куртынина повешу в рамочку на память».

... «Жизнь – это место, где жить нельзя». Сожми зубы. Привыкни к очевидности – одной сражаться в этом мире противоречий. Хватит ныть, плакаться. Нужно утонуть в работе».

«...О хорошем. Была в командировке Вяземский-Венюково-Шумный. Лес. Весна. Господи, какое приволье, а воздух смолы молодой, елок, шишек. Лесная столовая-котлопункт. Венюково – просторище, чудо. Такое большое небо и много звезд. И 30-летние старухи-сучкорубы с исковерканными от непосильного труда пальцами рук. О них песни слагать надо. А тебе, Катерина, чего не хватает? Ноешь: «Вся жизнь – понедельник».

«...Состояние невыносимой растерянности не спотыкается о радость, ее нет на пути. Догадываюсь, на земле не существует ни одного человека, ради которого можно было так истязать себя. Мы топчем наши чувства, не давая им расцвести. Не ложкой сомнения хлебаю, а ведрами. И что же, сомнения оправдываются, оставляя нас обкраденными. Как неправильно живем. Умеем ловить жар-птицу в работе, а в своем личном не находим и перышка ее».

«... Вчера пришла Вера Побойная. Глянув на интерьер моей квартиры, на меня погасшую, потребовала: - «Перестановку будем делать. Помогает, когда скверно на душе». И давай тягать с мужицкой силой шкафы, кресла, шифоньер. Перевернула, передвинула всю мебель. Ворочала как лошадь. Сила в ней немеряная и дух силен. Нынче не кусала. Заметила: - «Что-то редко стала писать. – И со значением добавила: - Мне соперницы не хватает». Спасибо, Верочкин, мне важно было это услышать тогда от тебя».

Все свои «за» и «против» как-то нечаянно, навзрыд в два часа ночи выложила Азе Леонидовне Павловой, ревизионному корректору. Ее в редакции звали главной «уборщицей» мусора неграмотности в коридорах газетного текста. Почти 30 лет Аза Леонидовна провела в «ТОЗе» за сверкой набора и оригинала. Мы дежурили с ней по выпуску номера. Москва по телетайпу задерживала шестую полосу с докладом Косыгина на XXIV съезде партии. Вся «головка» редакции – замы, секретариат были на местах, на втором этаже. А мы с Азой маялись в ожидании досье на пустынный третьем. По возрасту Аза годилась мне чуть ли не в матери. На нее, неприступную, с высокой девичьей грудью, заглядывались мужики, вздыхая: «неизрасходованная женщина». Она их принципиально не замечала. Пиковый туз места не находил, чтобы за глаза не

уколоть одинокую мать. Но Аза Леонидовна, у которой грехов меньше, чем у колченогой кошки, была так целомудренно чиста, что наветы оборачивались против клеветника. Сабантуи, пирушки она никогда не посещала, жила уединенно с дочерью Зоей. Но нерастратченное бабье начало, как бы сейчас сказали «сексуальность», при ее точеной фигуре, нерасплесканность чувств угадывались невооруженным глазом. И это доставляло ей ненужные неприятности. Она, очевидно, много страдала. И я спросила: «Аза Леонидовна, когда вам плохо, больно, что предпринимаете?» – Эта интеллигентка, словесник-ас заговорила почти так же, как Романовна:

- Какое горе вы пережили? Утрату любимого человека? Предательство? Грязное насилие? Помилуйте, у вас интересная, настоящая работа. Мне лично ваши материалы нравятся, поверьте, уж в этом толк я знаю. Неровно, редко пишете, – мобилизуйтесь. У вас есть будущее. А вот я не ободряюсь. Готовлюсь к настоящим боям, невооруженности, болезням, собственной ненужности. Не знаю таких, кто увиливает от ударов судьбы. Это каждый проходит. И я уже в пути.

Но как жестоко ошибалась Аза Леонидовна, предсказывая себе банальные испытания и поселив в пустующем квадрате своей жизни лишь дочь и редакцию. На нее обрушится такое, что и врагу не пожелаешь – любовь. К журналисту, человеку женатому и занимающему в редакции высокий пост. И, конечно же, без малого намека на ответ. Как у натур цельных, какой была Аза Леонидовна, это как ураган Сирокко. На момент этой ее беды, я жила за границей и о случившемся узнала от коллег. Живой не застала. И мне остается лишь вообразить ее муки. Взрослой дочери, да и кому бы то ни было, не скажешь, стыдно. В силу внутренней культуры не хотела выглядеть смешной в глазах избранника, робела, немела. Сирокко, безвыходно поселившийся в душе, вырвался на волю также коварно, как явился.. В одно из воскресений, ранним утром, редкие прохожие видели, как неприбранная женщина с распущенными волосами билась в закрытую дверь редакции «Тихоокеанской звезды», взывая: «Горит! Редакция горит!». А в ней горел любимый. Так ей привиделось. И она бежала со стороны завода «Дальдизель», где жила, спасать, вытаскивать из огня. Явились люди из соседнего здания с невысокой оградой в белых халатах...

Но тогда в притихшей редакции, в ожидании полос, Аза Леонидовна, утешая меня, уже подводила итоги своей жизни, с оптимистическим финалом:

- Мне легче: искания, поиск высшего смысла – позади. С плачевным результатом – истины на земле нет. Я всегда знала, что буду одинока, мне была уготована жизнь в ее, говоря высоким стилем, трагической непоправимости. Да, поправить уже ничего нельзя. А одинокую женщину в ложке воды можно утопить. Не позволю. Мне доставляют радость простые вещи – шить костюм «снегурочки» для дочери, вязать носки. Не случайно природа придумала от нетерпеливого «зачем я?» - семью, даже неполную, как моя, в которую входят, как в пещеру, где тебя ждут: только ты разожжешь в ней очаг, согреешь, осветишь.

Эта мудрая, обольстительная женщина в свои пятьдесят никогда не была замужем. Ее жениха, еще студента арестовали на последнем курсе. Исчез, сгинул. Отец 18-летней дочери Зои – женатый человек, любил пламенно, но уйти от семьи не позволила сама Аза – там двое детей. И жизнь свою посвятила, не растратывая на иные соблазны, дочери, мечтая о внуках.

- То, что вы не в ладу с собой, пройдет. «Все суета сует, и томление души» - Она на мгновение задумалась, лукаво посмотрела на меня и продолжала своим певучим, грудным голосом. – Катя, не обижайся, я пока не представляю тебя женой, матерью. Тебе сколько лет? Двадцать семь? Еще лет пять - и вот тогда будешь готова к семейной жизни. Поверь, и на твоей улице будет черемуха.

Я уходила из редакции под утро, и все было полно нового значения и смысла, – пустынный, спящий город, который вот-вот оживет окошками-огнями, шумом проезжающих автомобилей, пешеходами. И эта высокая женщина. И наша обоюдная, негданная исповедальность.

«Судьбою так загадано»

Ей первой я показала синеглазого лейтенантика, своего будущего мужа. И одобренная Азой Леонидовной, шепнувшей «борись за него», попыталась лепить из андерсеновского утенка белого лебедя.

Однако поначалу предстояло решить – или я еду жить в гарнизон, где проходил службу Владимир Павлович, или его вытаскиваю из глухомани. Но как? Очень аккуратно прозондировала почву на этот счет у Зырянова:

- Ты что, с дуба свалилась? – Геннадий Степанович был искренен в своем удивлении. - Служивого из дыры может вытащить только генеральская дочь. При всех других вариантах – пустой номер.

Уже через десять минут Вера бежала ко мне с вопросами:

- Замуж выходишь? За кого? Где познакомилась?

- В командировке. – Никому, никогда не признавалась, что встретились мы отнюдь не при романтических обстоятельствах - не в парке Чай Ир, где распускаются розы и не на палубе белого парохода, а в банальном шумном ресторане «Дальний Восток». И, кстати, тогда мы были с Верой Побойной, Ивенским и Рябовым. Но одиноко сидевшего за соседним столом худощавого очкарика, в форме лейтенанта военно-воздушных сил, никто из нас и не заметил. Наши с ним стулья, когда я устраивалась за столом, наехали друг на друга, и, увидев его, мимолетно подумала – очень знакомое лицо. В ответ на его улыбку, легко кивнула и совершенно уверенная, что когда-то давно вместе тренировались у Алеши Каткова на шлюпках, доверчиво спросила: «Спортом по-прежнему занимаетесь?». Он кивнул, и я забыла о соседе.

За нашим столом шел жаркий, несерьезный спор, начатый в редакции – человек в свете морального кодекса. Весь город был увешан огромными щитами-плакатами с пунктами морального кодекса строителя коммунизма, по которым предлагалось всем жить. Куликов собрал заведующих отделами и потребовал незамедлительно сдать план публикаций по данной тематике. И вот мы рассуждали.

- Невыразимая сложность биологического устройства человека с его гениальным химзаводиком находится в вопиющем противоречии с мелочностью человеческих желаний, - размышлял Николай Рябов. – Букет желаний велик: властолюбие, хватательные инстинкты, когда человеку, чтобы обогатиться, всей Сибири не хватит, низменные страсти. Взамен предлагают советский моральный кодекс утопического коммунизма, но человек, по сути спрогнозированный на необоримые пороки, соблазны. Взять хотя бы прародительницу Еву, послушавшуюся Создателя. А что же требовать от нас, слабых, доверчивых, нестойких?

- Ева, конечно, маху дала. Однако современные Адамы действуют с опережением графика, - заметила я.

- Как вы интересно рассказываете! Так может рассказывать только женщина, – от ваших слов веет какой-то чистоплотностью, - процитировал Ивенский любимого Андерсена

- Это она в мой огород камешки бросает. Ну, виноват, больше не повторится.

Наша четверка знала о случившемся. Жена Николая должна была со дня на день родить. А он вместо того, чтобы с работы бежать домой, пошел провожать накрашенную авторшу Галю, не сводившую с него глаз. Вернулся за полночь, жены дома нет, решил, что пошла к теще. А утром в редакцию звонят из роддома, поздравляют с рождением дочери.

- А может ли пчела принадлежать одному цветку? - вопрошал Дон Жуан, дабы объяснить свои страстишки, - комментировал Андрюня затронутую нами тему верности и женского (мужского) коварства.

После перерыва ресторанный оркестр грянул фокстрот, сменившийся душевным танго. У нас не было принято танцевать. Но когда, не поднимаясь, ко мне повернулся лейтенантик, негромко приглашая на танец, отнекиваться не стала. За несколько минут неловкого топтания - танцор из него никудышный, узнала, что он служит в Амурской области, приехал в Хабаровск на сборы, женат и завтра уезжает в свой гарнизон. Признался, что невольно слышал наш интересный разговор и спросил: «Кто этот старец?» про Ивенского, которого я считала молодым. Вот и все. Да, еще попросил разрешения проводить, на что я ответила решительным «нет», это тоже было не принято в нашей компании: вместе пришли, вместе ушли. Но почему-то телефон свой я ему оставила.

Три года хоть и редко, мы перезванивались. Еще реже переписывались. Оказывается, никогда раньше меня не встречал, в Хабаровске, у Каткова гребным видом спорта не занимался, предпочитает тяжелую атлетику. Так почему оказался таким знакомым? У него были какие-то серьезные проблемы с женой. А потом исчез на полгода, не давал о себе знать. Забыла.

Однажды в наш кабинет прибежала молоденькая курьерша Валя Севастьянова. И сообщила, что меня требует неизвестная женщина для личного разговора. «Наши посетители на политические

темы не беседуют. Не иначе как разведенка», - смеялась я, приобняв Валюшку и спускаясь по лестнице к вахте. Но мое игривое настроение моментально испарилось, как только услышала наглое: «Вы Гриценко? Это с вами спит мой муж?» – я онемела. Какой муж? – с трудом соображала я. И когда усвоила, что посетительница жена того самого лейтенантика, во избежание публичного скандала потащила ее подальше от людских глаз в библиотеку, попросив хозяйку на минутку удалиться. Здесь вместо Косенко уже командовала Вика Маловинская. В редакции, пока шел ремонт предполагаемого красного уголка, и поговорить конфиденциально было негде. Не поведешь ведь в женский туалет. Впрочем, эта дева не моргнув глазом, могла избрать для беседы и WC. Высокая, стройная как тополь, чертовски молода, от силы 22 года, с пронзительно черными глазами, но в этом еще юном лице – помятость, отпечаток отнюдь не целомудренно проведенных вечеров и ночей. Спрятав все свои эмоции в карман, прежде всего успокоила Лену, так она назвалась, что никаких близких отношений с ее мужем (к сожалению!) не имею. Видела его в последний раз года два назад.

- Я ваши все записки читала, оттуда и адрес узнала. - От агрессивного ее настроения не осталось и следа. Призналась: - Я на понт вас взяла. У меня просьба – помогите устроиться на работу.

Оказывается, уволена она за аморальное поведение – так в трудовой написано. Из гарнизона выдворили за 24 часа, застучали со служивым прямо в подсобке солдатской столовой, где она трудилась поварихой. Об этом Лена рассказывала с таким простодушием и откровенностью, будто в подсобке совершала жизненный подвиг. Сейчас приехала в Хабаровск к матери, а она упрекает: «В кого ты такой сучкой у меня уродилась?». Владимир долго прощал, а тут общественность вмешалась.

В библиотеку уже в который раз нетерпеливо заглядывала Вика, – выметайтесь, мол. И я пошла провожать нежданную посетительницу. Мне почему-то было ее жаль. Неплохая девка. Но куда ее устроишь на работу – за очередной аморалкой? И я как старшая (о, кошмар! – на лет десять она моложе) посоветовала:

- Лена, вашему положению не позавидуешь, если и на этот раз муж не простит, попробуйте начать жизнь с чистой страницы.

- Если бы не вы, может, и простил. Он сказал, что баб сейчас ненавидит. И если когда-нибудь женится, то только на Гриценко.

Вот так мы простились, чтобы позже еще много раз встретиться в иных, не менее драматических ситуациях. Но в тот день меня охватила злость, – по какому праву ко мне на работу идет чужая жена с мечом? Если узнает об этом Куликов, – нравственные нормы в редакции блюли неукоснительно – мне опять выволочка. Не хватало, чтобы к «пьянице» присовокупили «разлучница». И попробуй, докажи, что не верблюд. Не работалось. Хотелось одного – найти этого горе-мужа сучки и потребовать оградить от ее визитов. Стала искать телефон войсковой части, где он служил, но там ответили, что адресат выбыл давно, переведен в другой гарнизон, какой, неизвестно.

Между тем, где-то в подсознании коварно притаилась подлая, бабья теплика-надежда: значит, если женится, то только на мне, чем-то я затронула его душу, а ведь молчал, ни словом, ни жестом на этот счет не проговорился. Где сейчас его искать?

Говорят, – нет судьбы. Кто с твердой уверенностью докажет это? Скептикам кричу - есть судьба! Буквально на следующий день возвращаюсь с работы, у Дома книги - голубоглазый лейтенантик! Общими руками, неуклюже, он держал ведро с огромным букетом молодой сирени. Закупил товар оптом у торговли.

Еще до вчерашнего дня я абсолютно не придавала значения ни давнему, случайному знакомству, ни редкой переписке. О том, что «мы назначили друг другу свидание с первой встречи», и мысли не было. По одной причине. Этот человек был женат. На таких у меня аллергия. Полной мерой пережила то, что переживает почти каждая беспросветно одинокая, внешне не крокодил, женщина. На однообразном, сером фоне жизни появляется любящий, заботливый, но женатый мужчина. Обещания, заверения. Телефонные звонки с закодированным текстом. Вороватые, украдкой встречи в кафешке или на улице с риском быть застигнутыми. Женские (мои) истерики – как долго будет продолжаться эта подпольная жизнь. Решительное «прощай!». Но ненадолго. Снова вечером под окном раздаются позывные, наша общая любимая песня: «Где ни буду, и с кем я ни буду, ты одна, ты осталась во мне. И забуду тебя. Не забуду. И усну и заплачу во сне». Ну, как тут

не распахнешь дверь. А потом все один к одному повторяется. И вечный, неизбывный страх – узнают на работе у него, у меня – не помилуют. Его лишат партбилета, меня растопчут. Или его супруга кислотой мне морду сполоснет. Таким жестом с разлучницами часто расправлялись. Но его жена, маленькая, как подросток, оказалась мудрее нас двоих. Не скандалила, утешала меня. Любимого супруга увезла в соседнюю область. Инцидент был исчерпан. После чего я загребела в больницу. С обострением «сувенира» студенческой жизни. Врачи утверждают: «Язвенная болезнь – это не то, что ты ешь, а что тебя ест». Вот тогда в 3-й горбольнице меня навещала Эля Кириченко, и мы с ней валетом провели ночь на больничной койке. Выйдя из больницы, я сказала себе: ша, с женатиками только на дистанции, чем дальше, тем лучше.

И присматриваясь к державшему в руках ведро сирени Владимиру Павловичу, который сразу же шутливо объявил, что откомандирован в Хабаровск для очень серьезного разговора со мной, открывала, – да это же мой девчоночий идеал: голубые, но усталые глаза из-под очков, русые волосы, тонкое интеллигентное лицо. Немножко неприбранный и в том же офицерском звании лейтенанта, что три года назад.

По всем позициям мы, как пишется в сентиментальных романах, были предназначены друг для друга – по мозговой оснастке, любви к поэзии и философии, и даже по гороскопу. Меня поражала его грамотность, начитанность. В нем я усмотрела славную черту перспективной личности: «живу недоумевая, все время хочу понять». Совпадали желания и в части его планов. Он хотел учиться. За плечами всего лишь восьмимесячные курсы в военном училище, а с таким скромным образовательным цензом в армии не взлетишь. Об академии не мечтали: тот образ жизни, который преподнесла его бывшая жена с изменами, позором на голову офицера, не гарантировал соответствующей военной характеристики. Остановились на юридическом институте и начали готовиться к вступительным экзаменам.

И вот он уже студент-заочник. Вернулся в свой гарнизон. Пишет нежные письма, как ему плохо без меня. Месяц, другой, полгода. И я иду к Куликову. С заявлением. Рассказываю личные обстоятельства жизни.

Милый, милый Федор Георгиевич! Умирать буду и тогда его слова не забуду:

- Мы не намерены терять такого журналиста, заberi свое заявление. Я все-таки член бюро крайкома. На заседаниях сижу рядом с генералом ВВС. Мы сейчас ему позвоним. Иди, подожди в приемной.

О чем они беседовали, – не знаю. Но Федор Георгиевич сам вышел в приемную: «Вот адрес, кабинет, в штабе пропуск тебе выписан. Объяснишь сама, что и как».

Он же, Куликов, подписал мне командировку в Теплоозерск. Это два часа на поезде до Завитой, где располагалась войсковая часть Владимира Павловича. Но потребовал: «Привези пару материалов с цементного завода. Там новую печь сдают в эксплуатацию. Передашь репортаж стенографистке. Остальные дни твои – регистрируйтесь и возвращайтесь вместе».

«Через сумрачную долину»

В те дни я летала. Все спорилось. На Теплоозерском цементном заводе собрались журналисты из областной и районной газет. Но мой репортаж, переданный по телетайпу Верочке Раздобреевой, был опубликован на два дня раньше, чем в «Биробиджанской Звезде» – вот им, местным журналистам, «фитиль». Ну а дальше полет мой был прерван жестокой прозой. В гарнизоне узнала о том, чего больше всего боялась. У моего молодого супруга репутация пьющего человека. Об этом напрямую сказал его командир, присутствовавший на нашей маленькой, скромной свадьбе. Заглянув на кухню, пока я разливала чай, приглядываясь ко мне, он без церемоний разоткровенничался:

- Вот смотрю на вас и размышляю. Вы женщина самостоятельная, и работа у вас благородная, а Владимир Павлович всего лишь лейтенант. И как вы решились на такой, я бы сказал, неравный семейный союз. Конечно, он, не глупый, начитанный парень, инициативный офицер. Но пошел на поводу распутной, легкомысленной бабенки. Она его спаивала, а сама уходила, простите, на блядки.

Потом они дрались, мирились, до ее очередной измены. – И будто извиняясь за мужскую откровенность, добавил: – Здесь, в гарнизоне, и хотел бы, да не скроешься, всем все известно.

- Наверное, любил, вот и прощал.

- Ничего себе любовь! Да я бы такую шлюху давно из окошка выкинул. А у него духа не хватало, пока мы за это дело не взялись. Так он еще переживал. От тоски, одиночества к бутылке стал прикладываться. А, по-моему, это просто распушенность и пьянство. Вот вы сейчас чай разливаете, тортик режете, а от вашего супруга поступило предложение «добавить». И уже гонцы побежали в гарнизонный магазин.

- Свадьба, есть свадьба, - миролюбиво заметила я. Но в душе поселились сомнения, усугубленные, в краткие дни проживания под одной крышей в этом гарнизоне, грустной реальностью. Молодой супруг готов приветить каждого поздравителя, кто приходил с флягой спирта, и как быстро расковывается мой избранник. Но назад хода не было.

Есть счастливые пары, у кого с первых шагов мир да любовь. Но это не про меня. С таким трудом доставшийся мне запоздалый обломок счастья, неминуемо ускользал. оборачиваясь безысходным выяснением отношений. Первое время, помимо того, что шла болезненная притирка характеров, привычек, честолубий, не отпускала тревога, каким вернется со службы, с очередного экзамена в институте. А возвращался навеселе, и не скажи слова, против.

В то время, как-то так случилось, мы с Аркашей Турковым, другом юности и нашим автором, вели долгие философские беседы «за жизнь» по телефону. У него такая славная, мудрая жена Галя. Пара прелестная. Встретив их однажды на городском пляже, разговорились, почему-то затронув тему женского одиночества И вот что мне сказала на этот счет Галина: семейную жизнь лихо можно сделать мучительным недоразумением. Можно иначе – оправить лучшие качества любимого человека в оправу интеллекта, ума, поэтичности. Все зависит от терпения, выдержки и меры любви.

У нас с Володей плацдарм для создания скверной жизни был необозрим. Начиная с житейских мелочей. Прибыл ко мне, что называется, гол как сокол, с двумя чемоданчиками, один из них тревожный, для срочных вызовов в войсковую часть, в другом книги и смена белья – все нажитое оставил жене и ребенку. В день зарплаты приносит копейки, большую часть съедают алименты, однако, на этот предмет в наших разговорах наложено табу, знала, на что шла. А вот его беспричинные выпивки, с агрессией — послать бы подальше. И я это сделала. Шумная сцена произошла на любимый мною Новый год. Это был первый праздник, когда мы, как жена и муж, встречали вместе. Пригласили Вику Маловинскую с другом.

Начинался вечер 31-го декабря прелестно, романтично: подарки-сюрпризы под елочкой, за неимением подноса, на разделочной доске, покрытой салфеткой, гостям подносили фужеры с шампанским, а потом с «белой выюгой», колымским напитком, закусывая изысканными блюдами, взявшись за руки, радостно кружили вокруг елки. А потом раздался телефонный звонок, и моя школьная подруга Нинель Корышева, та самая свидетельница, когда меня милиционер Гринберг задержал с бродягами, потребовала, чтобы мы всей компанией немедленно отправлялись к ней: со школьной скамьи жаждет узнать, какой у меня будет муж, и вот он есть, не мешкая, представ! «Встречать Новый год прекращаем. Ждем!» Черт меня дернул бросить клич, дружно подхваченный всеми. Нэлька, ныне цыганка, артистка, поет вторым голосом, муж – первым, оба играют на гитарах, не муж, а счастливейший лотерейный билет. Замечательные ребята, скучно не будет. Собрали сумку, поймали такси и вот мы уже в шумной Лелькиной семье. Здесь все и началось. Танцуя с юнцом, Лелькиным братом, которого помнила пацаном сопливым, видела, как Володя, недобро изучая меня, демонстративно опрокидывает одну стопку за другой. Так дело не пойдет, пытаюсь вытащить его танцевать. А он, уже пьяный, уперся, как бык. Больно схватив меня за руку, силой повел на лестничную площадку выяснять отношения, оскорбляя грязными словами. Здесь я схлопотала по морде. Его не узнавала, это был чужой, незнакомый человек, отчаянный, не контролирующий свои действия. И мы с Викой, как с поля боя, сбежали с новогоднего торжества. Я в слезах от обиды, гнева и стыда. Вика, прощаясь, как могла, утешала: «Он не ведал, что творил. Но руки распускать не позволяй».

Дома я собрала и вытащила на лестничную площадку два его чемоданчика. Все, на этом конец. Сестры милосердия из меня не получится. Хватит. Решение мое было непоколебимо. Челюсть болела, глянув в зеркало, к ужасу обнаружила под глазом мощный синяк и снова заскулила, как побитая собака. За что? И тут позвонила Вера Побойная.

- Приходи в гости с мужем. Первое утро Нового года встретим.
- Нет мужа, расстались мы. Прийти не могу. На всю морду синяк. Не знаю, как в редакцию явлюсь завтра. – Вера звонко расхохоталась.

- Лечить буду, знаю средство. Ты ведь в курсе, я всю молодость в синяках проходила. Опыт имею. Живо собирайся. Борис выходит тебя встречать.

В полутемном зале «хрущевки» Побойных светила усталыми огнями пышная елка. Дети спали. Освежив стол, Полина Петровна подала на подносе фирменное блюдо Побойных – запеченный окорок секача. Дважды в год, на день рождения Веры и в конце декабря Борис уезжал на охоту, чтобы добыть к праздничному столу свежатины. Судя по всему, этот Новый год у Побойных прошел не слишком радостно, иначе бы Вера не позвала. Новым человеком ей хотелось разрядить гнетущую обстановку. И это без усилий удалось – мой лиловый синяк приковал внимание домочадцев, вызывая охи и ахи.

- Крепко он тебя. Полина, подай пятаки и косынку. Сейчас мы тебя перевяжем. Не снимай сутки. Хотя, между нами говоря, против лома нет приема, как и против синяков. Ну что ж, за первое боевое крещение на ниве семейной жизни. – Вера искренне веселилась. Мне же был не по душе предложенный ею тост. Но если не смеяться над собой, то можно удавиться. И все равно, мне здесь было спокойнее, нежели в своей тревожной квартире, а к родителям с такой физиономией идти нельзя. Вера могла меня выслушать, найти причинные связи столь свинского поступка и вынести приговор – во многом виновата я сама. Борис уже ушел отдыхать, за ним Полина. А мы остались с Верой одни за накрытым столом в комнате, в которую вяло входил рассвет первого дня Нового года, и она рассказывала о Мурзине, первом муже, его предательских изменах:

- Представляешь, с грудным ребенком, с цинковой детской ванной, после шести дней тряски в общем вагоне, приезжаем к нему в Усть-Усоль, куда мужа после окончания строительного техникума направили по распределению. Никто на вокзале не встречает. С трудом нахожу общежитие молодых специалистов, комнату, и от вида ночной пьянки, бардака, недавнего присутствия девок мне чуть дурно не сделалось. Вижу на столе среди пустых бутылок свою телеграмму, его злое лицо – что предпринять? Младенец разывается от плача, сменить пеленки надо, а отец нас не признает. Любила я Мурзина пылко, с шестнадцати лет. Многое ему прощала. Он чуть что, драться. С синяками в вечернюю школу ходила. Замазку наложу под глаз, очки надену и на работу, в редакцию «Усть-Усольский рабочий».

- Не верю, чтобы тебя, Вера, такую большую, сильную посмел кто-то ударить

- Не «кто-то», а любимый муж. Да и мне-то было семнадцать лет. Что я понимала? Сыну нужен отец, – долбила мне Полина. Вот и терпела. Но потом я ему с лихвой за все отплатила. – И глядя в посветлевшей комнате на меня, решительно добавила: – А тебе в таком виде на работу появляться нельзя.

Еще бы! Лишь недавно с доски сообщений на стене редакционного коридора сняли плакат с поздравлением меня с законным браком и пожеланиями счастливой, семейной жизни. Для всех редакционных одиноких дам, это был нонсенс. Много радостных и грустных событий пережил коллектив «Тихоокеанской звезды», но вот брачные союзы были чрезвычайно редки. Да и были ли? Да, редакционный шофер Гена Севастьянов женился на юной Валюше, курьерше. А среди журналистской братии, не припомню. А тут бабе за тридцать и такой «фарт»..

Для себя решила, что в редакции следует взять без содержания неделю и позаботиться об этом должен сотворивший эти дела. Хватит ли у Владимира мужества пойти на прием к Куликову, которого заочно боготворил, с моим заявлением «по семейным обстоятельствам»? Федор Георгиевич заявителю душу наизнанку вывернет, а про «обстоятельства» узнает. Пусть драчун хлебает полной чашей.

Поднимаясь на свой этаж, увидела на лестничной площадке два чемодана, а на ступеньках сиротливо сидящего Володю, хотя у него были ключи. Увидев меня, отшатнулся: «Неужели я это мог сделать, с тобой?» Молча прошла в квартиру, он лишь робко спросил: «Можно?». И начался суровый, гнетущий, долгий разговор, во время которого его вещички оставались на лестничной площадке. Оказывается, на каком-то этапе приема стопок, он меня перепутал со своей первой женой, ему чудились измена, коварство и б, в, х, ц, ч. На этой почве бегал, искал меня всю новогоднюю ночь по знакомым, по ресторанам.

- И сколько же тебе стопок надо, чтобы привести себя в такое боевое состояние? Запомни, стопок больше не будет, и ты меня никогда пальцем не тронешь. – И были слезы, клятвы, заверения.

А в понедельник чуть свет, собрав в кулак волю и мужество, мой лейтенант побежал в редакцию, к Куликову с заявлением и исповедью о свершенном.

Незримый контроль по недопущению подобных эксцессов витал в моих отношениях к мужу не только в дни коварных, всенародных праздников, в дружеских компаниях, но и в будни. Доходило до смешного. Приобрела большой календарь. И каждый раз, когда он возвращался со службы навеселе, отмечала черным фломастером эту дату. Когда черные кружки преобладали, – первое время было и такое, – Володя мрачнел: «Сними этот чертов календарь». Злился на себя. Ему самому не нравились эти его дела. Если неделя проходила без черных кружков, в пятницу, я сама брала бутылку вина, – возможно, поступала неправильно, но зачем же держать мужика в черном теле? Мы дружно готовили вкусный ужин и рассказывали себя друг другу.

Жизнь у него была собачья, как у каждого сироты. Мать умерла молодой, в 25 лет от туберкулеза легких, оставив троих малолетних сыновей, он средний, трех лет. Отец, образованный, добродушный человек, недолго выбирал мачеху, взял первую, крепко прилепившуюся, прошедшую «крым и рым» бульдозеристку. В присутствии отца она к детям была приветлива, но стоило ему выйти за порог, оборачивалась злой мачехой. А тут отца, главного бухгалтера, по наветам арестовали. Вот тогда Володя узнал, что «радостное детство нужно зарабатывать». Казалось бы, чудовищная аксиома, а он ее испытал на собственной, детской шкуре. Чтобы, к примеру, купить любимую книжку, нужно выполнить столько абсурдных поручений мачехи, сколько выполняла Золушка, чтобы поехать на бал.

Обстановка была такая, что старший брат в четырнадцать лет покинул отчий дом, в никуда, за ним – средний. Реабилитированный по всем статьям отец застал лишь младшего. Тем временем Володя мыкался по случайным заработкам, закончил два курса Томского университета, потом армия, где встретил свою первую женщину, влюбившись без памяти. На ней уже тогда печатей негде было ставить. А философия у девчонки проста: поиграть все готовы, а замуж никто не брал, и она снизошла к влюбленному солдату, которым можно было от души манипулировать. После застолий прятала очки мужа, закрывала его на ключ и, распустив паруса любви, действовала по своему графику. Очнувшись в похмельном состоянии и не найдя своей жены, одураченный муж спускался по балконам с третьего этажа, находил любимую в злачной компании и по-свойски наказывал.

Вот с таким «багажом» и привычкой в дни неприятностей накачивать себя, достался мне долгожданный супруг. Ну, кто мне поверит, если я скажу, что с рецидивами новогодней агрессии покончено было в раз, я ведь не волшебница. Но отыскался еще один резерв для «обрамления» лучших качеств в «оправу». Как-то вечером, как бы шутя, составили тематику пятничных бесед: «Блок буквально и поэт серебряного века в нашей жизни», «Алкоголь и как с ним, гадом, бороться», «Проблемы выходного дня», «Мужчина и женщина». И каждый добросовестно или не очень, в зависимости от занятости, готовился к предстоящему семейному лекторию, превращавшемуся в дискуссию.

Кому-то покажется это наивным, надуманным, но интуиция и любовь к этому человеку, осознание, что лучше его я никогда больше не встречу, подсказывали: найти отвлекающие моменты от губительной привычки, любыми средствами занять, переключить интересы на иные ценности, другого выхода я не видела. Познакомила с Андреем Ивенским. Пообщавшись с ним, Володя «заболел» Вертинским, бегал, изыскивал пластинки, и на нашей старенькой радиоле зазвучало: «Я знаю, даже кораблям необходима пристань», «Над розовым морем светила луна», кстати, ставшая нашим семейным гимном, мы ее пели на два голоса и, по мнению Ивенского, неплохо.

К праздникам стали выпускать домашнюю газету. Эту идею я сперла у Веры Побойной. Но у Веры листок выходил только на дни рождения и нес поздравительную нагрузку. Нашу газету, обозначив: «литературно – художественно – юмористическим органом дружного семейства», назвали: «Домовизор», ставший бесхитростным зеркалом домашней жизни. Володя оформлял ее на чистых бланках боевых листков с предупреждением «Из части не выносить», остроумно изменив на многозначное - «Счастье не выносить». В день торжества, когда праздничный стол накрыт, все собирались вокруг газеты. Читая вслух, смеялись удачной шутке, рисунку. А в основном шел диалог «за жизнь» между мной и мужем, с хохмами и юмором рассказывали о тайных думах, замыслах и мечтах.

Возвращаясь с командировки, меня непременно ждал «внеочередной выпуск «Домовизора», под рубрикой «Здравствуй, милый странник!» Текст предварялся стихами Тувима: «Рассвет

грядущий темень ночи смажет. И мы восславим вновь начало дня. Пусть «утро доброе» тебе никто не скажет, никто на свете ранее меня». С обязательным дневником жизни за время моего отсутствия: «День первый»... «День третий»... «День седьмой». Рефрен дневника комический: «Сiju я один за суровой решеткой, вскормленный на воле супруг удалой». «Читал «Короля Лира». Думал о тебе». Здесь же клятвы типа «Начинаю новую жизнь (в который раз, но на этот уж точно). Подъем в 7 утра. Бегу трусцой: Пушкина, Гоголя, Ким Ю Чена. Дома делаю гантельную зарядку (не курю натошак). Вечером – решительно, по-молодецки участвую в решении хоз-бытпроблем». Не обходится и без деликатных, но заслуженных упреков в мой адрес. Переиначив стихи Гамзатова, заставляет меня призадуматься над смыслом этих строчек: «Как живете-можете, женщины-голубки? Если муж недобрый – все вокруг черно. Как живете-можете, женщины-голубки? Если муж хороший – плохо все равно!» Значит, я в чем-то несправедлива. Здесь же, по всему формату листка – карта моего командировочного передвижения по амурским поселкам, с комментариями и с неподдельной тревогой за меня.

Ничему этому я Володю не учила, не требовала от него ни газеты, ни признаний. Все проистекало по доброй воле, от души, по себе знаю, когда сердце молчит, искры слов не высечешь. А тут надо рыться в фолиантах поэтических книг, искать близкие, созвучные твоему настроению строфы, перерисовывать из атласов карту Амура с его притоками и поселками. Для этого помимо творческого вкуса надо иметь любящее сердце, желание сделать приятное близкому человеку. Обычно «командировочные» выпуски завершались традиционной просьбой: «Если меня утром дома не застанешь, воспользуйся...» воспроизведен телефон и летящие номера, номера, которые я, и без того, знала наизусть. Сердце мое волновалось, любило, и я не оставалась в долгу, выпуская очередной номер.

Домашняя газета развлекала, мирила, воспитывала, учила видеть себя со стороны. Повышение по службе, дом, где его ждали и любили, студенческая жизнь, – а учился он с неподдельным усердием и интересом, отвлекали. Так что в газете, посвященной первой годовщине совместной жизни, под блоковским эпиграфом: «Дай гневу правому созреть. Приготовляй к работе руки. Не можешь, – дай тоске и скуке в тебе копиться и гореть» назвала такие смешные цифры и факты: «Ни в жизнь друг без друга что не делаем? а) не читаем последнюю страницу «Литературки» б) не ходим по гостям, злачным местам и не тпаем (за исключением сдержанного количества раз с обоюдной стороны). Первый читатель моих очерков – любимый муж. Беда Володи – моя беда и наоборот. Мы тупо не прятались в быт. В спорт вовлечены все члены семьи. В наличии имеются санки, шахматы, две пары коньков, штанга, а походы в лес за туманом – любимое занятие. Объявляю благодарность за верность и любовь и награждаю ценным подарком – сифоном (пока без баллончиков)».

Когда я родила желанную доченьку, в злосчастном календаре нужда и вовсе отпала. Так что с уверенностью свидетельствую: Большая Сумрачная Долина по Лао Цзы осталась позади, достигнутое семейное равновесие – не подношение судьбы, а результат усилий обоих, в основном великодушия и душевной работы Владимира Павловича. Да и я при всей вздорности, неуправляемости характера пыталась находить радость в смирении и красоту в поисках согласия.

На выпускной вечер, который студенты юрфака, в основном все иногородние, собирались шумно отметить в захудалом ресторане «Восход», он не пошел. Хотя нужная сумма на сабантуй была отложена впрок, новый костюм приобретен, рубашка наглажена. И не скрою, томился мой муж: телефон разрывался от звонков друзей – Володя на курсе был лидером. Диплом отметили дома. А утром явились бывшие однокурсники – морды побитые, с синяками, а у одного такая ссадина, что пришлось брать марганцовку, бинты и перевязывать рану. Оказывается, так перепились, что побили нелюбимого преподавателя, измывавшегося над студентами. Был вызван наряд милиции. Трех забрали в медвытрезвитель, остальные разбрелись по чужим девкам.

Прошло более двадцати лет, как нет Владимира Павловича. Не однажды пыталась разобраться в наших отношениях, как свершилась реальная гармонии, ведь я была старше его. И только сейчас пришла горестная догадка: поначалу он не любил меня. Возможно, был расчет уставшего от безалаберной жизни человека, на собственной шкурке познавшего «Кто женится по любви, тот имеет хорошие ночи, но скверные дни». Возможно, со мной видел иную, лучшую жизнь, чем та, которая ждала его, останься он с первой женой. Пылкие чувства явились к нему, заполонили – это мой нынешний разум говорит – после рождения дочери, вспыхнув с неистовой силой лишь под черный занавес.

Человеку-легенде «Спасибо» не сказали

А между тем, в редакции клубился гул неясных слухов, что в высших эшелонах власти метались сокрытые ураганы предстоящей расправы. На этот раз они разразились над головой Куликова, бессменного члена бюро крайкома партии. «Сегодня ты член, пионер, а завтра ты – пенсионер», как позже едко комментировал партийную погоду Зырянов, безотносительно к личности редактора. На интуитивном уровне догадывалась, как тяжело переживал эту драму Куликов.

Федор Георгиевич, пожалуй, единственный человек в редакции, с кем за годы совместной работы душевно, локоть к локтю беседовать не довелось. Он меня или крыл по-черному, при этом самое оскорбительное его выражение, усвоенное от кого-то из парт боссов, когда аргументов не хватало – «не наш человек», или снисходил. Душевные беседы, без луны, вели позже, по телефону. Он первый узнавал, что мы вернулись в отпуск домой из Чехословакии. Узнать было нетрудно, через окно его квартиры, выходящей в общий двор, наш приезд был заметным явлением. Мы подкатывали к своему подъезду на двух такси, из которых выгружались коробки, пакеты, ковры, чемоданы, дети, как цыганский табор. В тот же вечер Федор Георгиевич звонил, и мы разговаривали по телефону на равных, как бывшие сослуживцы, у кого газетная работа позади, и какая она тяжкая и прекрасная. К тому времени у меня вышла из печати сначала в журнале «Дальний Восток», а потом отдельной книжкой повесть. И Федор Георгиевичне забывал напомнить: «Не зарастай бытом. Пиши».

Но это было позже, а весной 1973-го редакция, по идее, должна была торжественно отметить юбилей редактора – 60-летие. Однако абсолютно никаких признаков подготовки не наблюдалось. Куликов ненадолго, по каким-то надобностям, уехал в ЕАО. И сразу же засуетился Пиковый туз. Он не скрывал своих намерений и кинулся в крайком партии. Об этом Тузе следует сказать особо. Нет, это отнюдь не мрачный, злобный тип. Он из других истоков. В каждом из нас живет ангел и сатана. В нем было больше сатанинского, но этот человек мог быть привлекательным, прежде всего профессионализмом - хороший журналист, в компании – рубаха-парень, юморист, но не чуждый в чужом ручье половить форелей и то, что плохо лежит, почти до неприличия скарედный, с гипертрофированным и неудовлетворенным чувством первенства. При этом он, полный искреннего недоумения, мог поведать о своей супруге, заместителю главного инженера крупного проектного института: «Нинке в партию пора вступать - вакансия главного освобождается. А она мне заявляет: пока в партии будут такие, как ты, мне там делать нечего».

В данном флаконе, в какой-то степени, с натяжкой, можно понять корыстный поступок Пошатаева, совершенный ради карьеры. Будучи в Москве и встретив Толю Карпычева, который по направлению редакции учился в ВППШ при ЦК и намеревался вернуться в «ТОЗ», Пошатаев категорично брякнул: «А тебя никто в редакции не ждет». Толя оскорбился. Его взяли в «Правду», главную газету страны.

Этот эпизод недавно мне рассказала Маша Щедрова, проработавшая почти сорок лет в «ТОЗе» секретарем, референтом, кадровичкой, оставившей в наших трудовых книжках свой «привет» в виде цыплячьего, ужасающего почерка. Сердобольная, любящая беззаветно журналистскую братию, знавшая всю подноготную каждого, понять подобного жеста Пошатаева она не могла. Мне о Евгении Николаевиче было известно и другое, – он мог бескорыстно привезти ребенку одинокой сотрудницы под Новый год сказочно красивую елку. Для полуслепой Вики Маловинской добыть очки с диоптриями, возвращающими зрение, таких приобрести простому смертному в Хабаровске было невозможно. Как много напутано, перемешано в человеке. Когда Толя после учебы не вернулся, место заведующего отделом советского строительства, хранимое для Карпычева, занял Пошатаев.

Какие мотивы побудили Пикового туза «стучать» в крайком партии на Куликова, непонятно. Должность редактора газеты ему в упор не светила. И какие словесные «телеги» он накатывал в крайкомовских кабинетах на отца Федора - никому неизвестно. Да, Федор Георгиевич питал слабость к поэтам, «подкармливал» обнищавших, чьи стихи не печатали, выписывая гонорары

впрок за еще не созданные пафосные произведения. Помнится, прибежал Юра Киле, радостный в отдел, помахивая червонцем. Промотав командировочные в краевом центре, нанайский поэт не имел возможности вернуться домой. Редактор выписал гонорар. Прислал ли Юра взамен свои шедевры, не припомню.

Редактор сражался за сохранение еженедельной полосы «Литература и искусство» - светлой страницы в газете. Какие еще наветы? Туз вернулся в расстроенных чувствах, опоздал, и без его визита увольнение Куликова, то бишь, выход на заслуженный отдых – дело решенное.

А ведь Ф.Г. Куликов по-своему человек-легенда. Романтически настроенный юноша с Волги, по призыву комсомола строил город юности. Среди тайги, вместе с заключенными делил палатку, к утру волосы примерзали к брезенту. Как-то комсомольские активисты вышли в рейд искать прогульщиков и обнаружили в палатке заболевшего Федю Куликова. Не вняли высокой температуре больного, и тиснули в многотиражке заметку о безответственном комсомольце. Возмущенный юноша в ответ написал страстную поэму о быте и жизни строителей. И, представьте, ее опубликовали в той же газете. Таким необычным образом юный Куликов реабилитировал себя, продемонстрировав несомненный поэтический дар. Его направили на учебу. С этого начался творческий взлет паренька с Волги, связавшего судьбу с Дальним Востоком. Всю свою жизнь Федор Георгиевич положил служению печатному слову, газете под свирепым контролем цензуры и меняющихся секретарей Хабаровского крайкома партии - Аристова, Стахурского, Шитикова. Не принимая во внимание возражений Куликова, его то возносили на редактирование «Тихоокеанской звезды», то, наступая на гордость, топча самоуважение, перебрасывали как не справившегося в «Биробиджанскую звезду», и наоборот. И он, как послушный сын партии, верой и правдой служил ей. Редко его рабочий день начинался без грозного звонка из крайкома. «Слуга царю, отец солдатам», он получал втыки и выволочки за каждую опечатку в газете, за малые и большие грехи своих солдат-журналистов. Но ни перед кем Куликов так не робел, как перед А.К.Черным. И был сломлен им, повержен и смят.

С высоты своего возраста смотрю, – что такое 60 лет для творчески не расплесканного, не сгоревшего в строчках журналиста. Писать он умел, сужу по редким его очеркам под псевдонимом «К.Федоров» - активно печататься редактору в родной газете крайкомом партии возбранялось.

Сейчас его трое детей – Куликовых, нынче они уже сами дедушки-бабушки, в голос утверждают: их отец особенно не печалился, что его «ушли». Похвально мужество, но не так все просто. Да, втайне он мечтал быть свободным художником. Но когда это случилось - один на один с собой, в оглушающей тишине квартиры, - мечтание обернулось растерянностью. Остаться без коллектива, да такого шумного, непредсказуемого, как тозовский, где каждый день сто событий, а он - в эпицентре, главный режиссер, – это драма. Усугубленная возмутительным фактом, что его, столько десятилетий служившего партии, унизили, даже без малых почестей отфутболили на родную кухню, в присутствии подчиненных банального «спасибо» не сказали.

Натура сильная, закаленная превратностями судьбы, он сумел организовать свои пенсионные будни. Много писал, вошел в ритм писательского труда – ни дня без строчки. Пробивал издания в Комсомольске-на-Амуре. Большой гонорар, которого он так ждал, не застал адресата. Когда почтальон принес добрую весть, гроб с телом Федора Георгиевича выносили во двор. Ф.Г.Куликов умер на 67-м году жизни от очередного и последнего сердечного приступа.

Возможно, я несколько идеализирую облик своего главного редактора. Спрашивается, как я, со своей крохотной кочки в служебной иерархии редакции литраба, объективно могу судить о недоступной вершине, но факт неоспорим – время «социализма с человеческим лицом», вознесло своего слугу, и, выкачав все силы, безжалостно отстранило за ненадобностью.

«Утрачен талисман - материал в корзину»

Но тогда, сочувствуя ему искренне, я не делала трагических обобщений, по легкомыслию, занятая собой. И не догадывалась, что с уходом Куликова, не слышный пока гонг ударил мне в оба уха: «Готовься на выход из редакции». С разбитым сердцем. Хотя ничто не предвещало беды. Впрочем, признаки наблюдались. Материалы стали беспардонно сокращать и дольше обычного они

лежали в ячейке секретариата – это такой настенный шкаф с секциями, обозначающими отделы, куда мы несли готовую к публикации печатную продукцию. Материалы в ячейках исчезали, утекали на полосы, на их место, как по конвейеру, поступали новые. А мой очерк на триста строк «Свинарка из Бабстovo» лежал нетронутым. Что за чертовщина? Обращаюсь к новому ответственному секретарю Яше Забаре, сменившему на этом посту Валю Бавина, который пошел на повышение, став заместителем редактора.

- Для нашей газеты не годится, – не глядя в глаза, бросает Забара.
- А для какой газеты я писала? – не понимаю и удивляюсь я.
- Для голоса Америки, – вмешивается Зырянов, – забирай свою свинарку.

Простенький непритязательный материал о передовой колхознице. У нее я прожила два дня и воочию видела, как добывается громкая слава рядовой труженицы. Вернется с фермы усталая, в грязной телогрейке. Другие свинарки спешат в сельмаг, в собственный свинарник или к соседке – погонять чай. А эта, не зажигая света, не раздеваясь, только сбросив сапоги, и механически стянув платок, садится у батареи, положив руки на ребристую, теплую грань. И не в силах подняться. Стали ноги побаливать, в девушках носила 36-й размер, а сейчас и 40-й в самый раз. «Еще немного посижу», – успокаивала она себя. Но поднималась, включала свет, вяло замечала, что в комнате все разбросано, значит, у Кольки были гости. И тут с пылающими щеками от бега и крепкого мороза влетал сын, победно стучал ложкой по звонкому дну кастрюли: – «Мам, пустая!» С прошлого вечера была полной, всю ватагу с улицы кормил. «Ну, молодец» – скажет она и принимается готовить ужин. Кольку не журит, что с мальчугана взять? А сама не на шутку тревожится. Пока пятнадцать часов на ферме, сын – сам себе балалайка. На трехцветную ручку поменял материнские воинские награды, исчезли именные часы, если во втором классе с уроков сбегает, что же с ним дальше будет?

И в очерке были фрагменты войны. Моя героиня, медсестра фронтового госпиталя встретила День Победы в Восточной Пруссии, в Инстенбурге, где из-под пепелищ разрушенного города вырывались ветки цветущего жасмина. А потом госпиталь перебросили на Дальний Восток, близ Бабстovo, где он прекратил свое существование. В местном медпункте в фельдшере не нуждались, и она стала колхозницей, гордостью района. Как она этого добивалась – об этом и рассказ.

По моим понятиям материал отражал сермяжную правду жизни. Почему же был выброшен в корзину? Знаю, Куликов бы этого не допустил. Позже Яша Забара в неслужебной обстановке, а точнее когда мы втроем сидели у меня в «Тихой гавани», на шестом этаже и элементарно пили водку, на мое недоуменное «почему», между прочим, пояснил:

- Твоя героиня депутат краевого совета, бессменная делегатка краевых партийных конференций. А ты пишешь о ней как о закрепощенной русской бабе, которая так навкалывается на ферме со своими поросятами, что сын у нее бездомный, мать сутками не видит и сама она обкрадена жизнью. Где пафос? Где крылья от сознания, что служит партии? Прочитает Черный, а он каждое утро начинает с чтения нашей газеты, по головке нового редактора не погладит. Потому и не опубликован, что ты сделала слепок крестьянского быта, непосильного, безрадостного.

Пока Вера звонила Полине, выясняя у матери погоду дома, вернулся ли с работы Борис, в том смысле, что можно ли еще задержаться, Яков Яковлевич, глядя своими аквамариновыми глазами, продолжал почти шепотом: – Конечно, женские темы у тебя получаются. И о свинарке материал правильный. Но какого черта ты ищешь неповторимые индивидуальности, не вписывающиеся в рамки обычных героинь газетных полос? Не мудрствуй лукаво.

Мне бы прислушаться к умудренному жизнью человеку. Яков Яковлевич хотел мне добра, но я не вникла. И шла к своей гибели.

Из любимого мной Охотска привезла, помимо оперативных материалов, тот свой давно лелеемый очерк о Надежде Байковой. Начала его с ретро.

«У истоков последнего очерка»

Молодые учителя не переставляли удивляться ей, почти нашей ровеснице, Жила она отчужденно. Когда приходили в ее домик, Надежда Васильевна не спешила захлопывать книгу,

кипятить чайник, ставить чашки и вести обычные разговоры, которые ведут учителя, впервые приехавшие на галечное побережье: что, вот, многие дети ни поезда, ни трамвая в глаза не видели, не знают, как цветет подсолнух.

Вернувшись из отпуска, мои коммунарки щеголяли в нарядных обновках, приобретенных в столичных магазинах. И это естественно – каждой было не более двадцати пяти. А Надя везла из родного Ленинграда чемоданы, набитые цветными карандашами, мелками, пластилином, бутылочками с клеем, репродукциями картин – всего этого в то время школы побережья не имели. Она ухитрялась надолго сберечь пучок пшеницы, кедровую шишку, кукурузный початок, которые бережно выгружались из чемоданов и хранились в классе, в шкафах под стеклом.

В шумном окружении ребят ее часто можно было увидеть у моря в сопках на «Кавказе» – так называют место отдыха охотчан. Дети с учительницей играли в войну, со стрельбой, криками «Ура!» А потом чествовали победителей.

Все, кто бывал на уроках Байковой из района, края, забывали делать записи и уже в учительской единодушно отмечали стопроцентную активность детей, умение их логически мыслить. Молодые наперебой просили ее разрешения «поприсутствовать» и покидали класс со словами: «Талант!»

Я, будучи салажонком в журналистике, жадно вслушивалась в учительские разговоры о Байковой, в гостях пыталась разговорить ее, но стоило мне достать блокнот, чувствовала внутреннее сопротивление собеседницы, не любящей откровенничать с чужаками.

Однажды предложила Надежде Байковой выступить с рассказом о детях своего класса, их навыках, умениях – родителям рыбакам, морякам будет приятно услышать имя своего ребенка. «Речи о воспитании говорить не умею. Мы подготовим литературно-музыкальную композицию» – ультимативно заявила Байкова.

В назначенный час в Охотский радиоузел, к моему потрясению, ввалилась гурьба четвероклассников. По тому, как шумела, веселилась неумная ватага из 30 мальчишек и девчонок, стало очевидным – передача будет сорвана, а у меня взамен на эти полчаса никаких сообщений. И о чудо! Как только Байкова произнесла: «Начинаем! Саша, Оля - к микрофону!» – все умолкли, ни лишнего шороха, ни вздоха, словно радиоузел не был набит битком. Вот это дисциплинка! Лучшей радиопередачи история Охотского радиоузла не знала..

В чем сила незримых уз, соединяющих ее с детьми, какова природа незаурядности учительницы? – эти вопросы молодых педагогов оставались неутоленными.

Жизнь надолго разделила меня с неповторимой, Охотской землей, но Байкова не исчезла в воспоминаниях, а осталась, как недочитанная, захватывающе интересная книга.

И вот через столько лет представилась возможность «дочитать», поведать людям о божьем даре учительницы, опять же с необычным характером, и не каждому доступным умением владеть детскими душами. Втайне крепко сомневалась, что она продолжает работать на этой суровой земле, где вместо асфальта - галька, а в цветущем мае - снежные пурги. Да и в районе никто Байкову уже не помнил. Тут же предложили кандидатуру другой, тоже хорошей учительницы. Шумейко.

Без всякого интереса пошла по указанному адресу, поднялась на второй этаж и двери открыла... Надежда Байкова. Все такая же угловатая, медлительная. Узнав меня, не поспешила отодвинуть стопку тетрадей. А ведь нам было о чем поговорить, вспомнить молодость. На вопросы отвечала без энтузиазма, скучно. Делаю еще попытку разговорить собеседницу, задаю вопрос:

- А как сложилась судьбы ребят, которых, помните, приводили в радиоузел?

- Почти все закончили институты, техникумы. Переписываемся. Кстати, трое пошли в журналистику. Так их заинтриговал ваш микрофон.

Что нового я узнала? Из личной жизни - вышла замуж. Хороший или трудный человек встретился - молчок. Есть доченька Юля - здесь уж счастливая улыбка на усталом лице. Работа - все по-прежнему.

Так удивительно повезло снова встретить здесь Надежду Васильевну – и снова уйти с пустым блокнотом? Провожая меня, она виновато призналась: «Не помогла вам, сама же буду переживать. Такой у меня противный характер».

- Нет уж, дудки! - думала я, направляясь сходу в среднюю школу, где учительствовала моя будущая героиня. – «Исследуем», как говаривал Сократ. На этот раз ты от меня, Надюша, не уйдешь.

Начала с кадровички и личного дела Байковой. Ленинград, блокада, детдом, педучилище. Беседовала с каждым учителем, родителями. Но поистине кладом для меня оказалась ее подруга по детдому и училищу Лидия, открывшая причины не многословия, замкнутости. А что можно ждать от человека, пережившего подобное потрясение в детстве? Истощенная от голода мать вернулась с завода, пайку жданного хлебушка отдала дочери. Чтоб согреться, засыпая, крепко обнялись. А утром проснувшаяся девочка не могла добудиться мать. Будила охладевший труп... Когда после войны к сиротам в детдом приезжали родные и чужие, увозили на телегах счастливых, ее, не слишком красивую, да еще упрямую, никто не брал. Воспитательница, старая ленинградка, полюбившая эту девочку, хотела удочерить ее. Сверстники стали смеяться над Надей, обзывать «доченька», «подлиза». И от горькой обиды ушла девочка в тайгу, – сутки искали, нашли за дальним косогором, слезы ночь высушила. Стала постарше – к малышам детдомовцам льнула, защитницей их была. Вот откуда эта удивительная способность Байковой понять трудного, обиженного ребенка, найти слова и дело, которые единственно нужны маленькому, чтобы он почувствовал себя счастливым.

Присутствовала на ее уроках. Тема: «Синонимы». На доске близкие по смыслу строчки из стихов: «Волшебницей-зимой весь мир преобразован», «Чародейкой зимой околдован лес стоит». Этих примеров нет в учебнике. Дети узнают, чьи это стихи. Им нравится их мелодия, образность.

- Как названа зима в том и другом примере? – В классе лес рук.

- Волшебница! Чародейка! – наперебой отвечают дети.

- Что делает зима?

- Околдовывает! Преобразует!

- А как бы сказали вы?

- Окрашивает в белое... Хлопьями снега падает... Рисует землю белыми красками.

- А если одним словом – зима ...какая?

- Снежная! Белая! Холодная! Коварница, – увлекшись, девочка простодушно пытается рифмовать слово «волшебница» и Надежда Васильевна с такой же тихой радостью как на дочь, смотрит на ученицу.

Родители несли мне сочинения своих детей. На листочках тексты обрамлены цветами, какие бы хотели подарить маме – незабудки, розы, астры, гладиолусы. Читаю первые строчки о маме, рыбообработчице: «С ее приходом в доме становится светлей, как будто стены раздвигаются. Моя мама стройная, у нее голубые глаза, походка твердая, шаг небольшой. Я люблю ее за простодушие, за открытый русский характер, за доброту и любовь ко мне». И это пишет третьеклассник!

Внедряются чужие «зорьки»

Уезжала из Охотска с полным блокнотом. И как всегда бывает, когда сердце волнуется от любви к героине, лепила очерк трепетно, искала слова свежие, убедительные, избегая ненавистных штампов. Да они просто неуместны были в этой ткани жизненных фактов. Крепко помучилась над финальным абзацем, не скажешь ведь в лоб, что вот она – орденоносец. И я нахожу ход, подсказанный всем развитием событий, ее нехвастливостью, замкнутостью, который бы держал весь очерк «на весу». Сетуя, что вот живет в глухомани талантливый учитель, не отмеченный славой, наградами, подруга по детдому меня поправляет: «Кстати, Надежда Васильевна хоть сказала вам, что недавно награждена орденом Трудового Красного Знамени?» «Отлично» – сказала я себе, поставив последнюю точку. Получилось строк четыреста, надо бы ужать – не сокращалось. Сдала в секретариат.

А тут войсковая часть отправила Володю в отпуск, одарив «горящими» путевками – желающих воспользоваться ими в это время года не оказалось. И мы впервые, вдвоем уехали в Крым – ранняя весна, холодное море еще не приветало редких отдыхающих. Но чего стоил гулкий шум морского прибоя! Пешие многокилометровые прогулки по берегу до самого Фороса. И волшебный морской воздух.

Видно набралась душевных сил, привела в порядок нервишки, и когда вернувшись в редакцию, не без труда отыскала свой очерк с чужим заголовком «Такая судьба» и сокращенный вдвое, расстроилась в доску, но паниковать не стала. Чтобы не сыпать соль на раны, запретила себе перечитывать, углубляться в текст. Только пробежала глазами финальный абзац. Чья-то рука написала несусветное о моей молчунье: «Она с интересом рассказывает о детях – специалистах, рабочих народного хозяйства... Вот такая у нее судьба - светлая, радостная. Ее труд отмечен Родиной – она награждена орденом Трудового Красного Знамени. Е. Гриценко, пос. Охотск». «Ни фиги себе! Мало того, что сократили, но и переписали. Из молчуньи сделали говорунью. Кто же это так зверски постарался?» В сердце что-то оборвалось. Но я научилась связывать обрывы молча, в себе. Не так как прошлый раз с репортажем «Галс» идет через льды». Тогда я устроила скандал.

Уже подписанный к печати В.Бавиным, большой репортаж об уникальном эксперименте Охотского морпорта продлить навигацию в зимних условиях, почему-то передали Климникову. Он, конечно, спец в этих делах. Но я прошла на морском буксире сквозь льды от Охотска до Ини, и всю морскую, незнакомую терминологию, чтоб не было ошибок, заставляла капитана вписывать в мой блокнот. Каково же было мое изумление, когда увидела правку Климникова! Впрочем, то была не правка, живого места от моего текста не осталось - чуждые мне такие словесные обороты, такое «барокко», что весь смысл извратился. И опять его любимое «на зорьке». У моего первого редактора на Колыме было другое любимое выражение: «ночь без милосердия». Он совал его к месту и не к месту. А у Климникова: «на зорьке лесорубы вышли к просеке», «оживились на зорьке рыбацкие станы». Автора уже поругивали на летучках за обилие рассветов. И в мой «Галс» он, запамятавав, дважды сунул свою зорьку. Какая там зорька?! Перед буксиром, сжатым льдами, - белесый мертвый туман и единственные ориентиры в ночном беззвездном пути – картушка компаса да радиолокационная станция.

Набрав в легкие воздуха и уговаривая себя: «Спокойно, возьми себя в руки», вошла в кабинет Климникова с рукописью и с приготовленной наспех первой фразой: «Александр Хрисанфович, вы что же такое напластали в моем репортаже про зорьку?» Тяжело задышав, он накинулся на меня увесистыми фразами, похлещи извозчика. Мы сказали все, что думали друг о друге, с большими и ненужными, дерзкими довесочками, после которых, уже в коридоре, тяжело задышала я и, спрятавшись в красном углу, к счастью, пустовавшем, тихо рыдала. Возродить свой прежний, до правки вариант «Галса», воевать за него, не было ни сил, ни желания. Климников потребовал бы пустить репортаж «по кругу». То есть читает каждый член редколлегии со своим резюме. Как известно, после «круга» ни один материал не увидел свет. Так «Галс» и валялся у меня среди бумаг, в претенденты на макулатуру, ибо сцена в кабинете Климникова дорого мне стоила.

На этот раз с очерком об учительнице, преодолела гнев, обиду, желание немедленно выяснить, чьи злостные перья уродовали моего любимого кукушонка, постаралась вычеркнуть его из памяти. Подспудно во мне формулировалась аксиома: «Будь кукушкой, когда правят, сокращают твои материалы. Родила кукушонка, дала ему жизнь и покидай, не оглядываясь. Природу правщиков изменить невозможно». В круговерти дней, иных событий, неизменно лечащих маленькие и большие раны, впервые удалось эту линию поведения выдержать.

«Что такое телеграфный столб? Это хорошо отредактированная елка»

Перед самым Новым годом извлекаю из почтового ящика свежий номер «Журналиста» - мы все поголовно тогда этот журнала выписывали – и, поднимаясь на свой шестой этаж, беззаботно листаю. И вдруг вижу под рубрикой «Факультатив», полностью перепечатан из «ТОЗа» очерк «Такая судьба» под моей фамилией. И обширный комментарий к нему. Я, конечно, обалдеваю. Писательница, она же заведомо очерка и публицистики еженедельника «Литературная Россия» Римма Коваленко на трех страницах учит журналистов страны, как имея богатейший материал о человеке, каким, по всему чувствуется, располагала Гриценко, не надо писать, ибо то, что есть на страницах хабаровской газеты – штампы и казенщина, недопустимые для рассказа о такой замечательной героине, какой она видится с первых строк очерка. С трудом начинаю лихорадочно соображать. Перечитываю «Журналист».

Нет, в своем комментарии Р.Коваленко не метала громы и молнии. Это был рассудительный, неторопливый разговор о сути популярного жанра, «согревающего душу читателя», каким являлся очерк. Стрелы комментатора были накалены и безжалостны на абзацы и фразы, проникшие в ткань очерка с чужой руки, волею правщиков. Особенно язвительно она набросилась на тот эпизод, когда, не видя учительницу столько лет я задаю дурацкий вопрос: «А как сложились судьбы ребят, которых, помните, учили столько лет назад?» Эпизод с радиоузлом был вычеркнут и вопрос, оставленный правщиком, звучал расплывчато, неестественно. И с чувством прокатилась по концовке, назвав ее «шаблонной».

В полубессознательном состоянии добираюсь до своей квартиры. Не раздеваясь, истерически выдвигаю ящики рабочего стола, – при перепечатке машбюро издавна делает, по моей просьбе, два экземпляра. Где-то должен сохраниться один, если тогда от злости не выкинула. О, к счастью нахожу – вот, мое, родненькое.

Снова уже спокойно перечитываю с карандашом в руках. Мой, не увидевший свет вариант при всей привередливости анализа – приемлемей, логичней, убедительней, чем тот, что напечатан. Это и ежу понятно. Обнаруживаю, первую половину очерка правщики не тронули, а над второй поизмывались от души. Что предпринять? И не нахожу ничего лучшего – позже оказалось худшего – как послать свой вариант и всю невысказанную боль, обиду на охломонов-правщиков, накопившиеся и долго сдерживаемые, выразить в письме Р.Коваленко. Писала два вечера, страстно, безоглядно, как другу, женщине, человеку, не замечая, что в потоке эмоций кричу о пощаде, помощи:

«То, в чем Вы меня обвиняете во всеуслышанье на всю пишущую братию страны – в казенщине, шаблоне, «что добравшись до середины очерка она резко меняет жанр и в данном случае это выглядит как набор дежурных фраз» относится к опубликованному, «пощипанному» материалу, в моем варианте этого нет или почти нет. Убедитесь сами. Правщиками вычеркнуты целые абзацы, но нужны «мостики», чтобы соблюсти хоть некую логику в изложении, вот и из всех углов лезут чужие, холодные перья. Безусловно, нужно писать так, чтобы не давать повода для правки. Но для «хирурга» с ножницами, обличенного властью, всегда в материале младшего коллеги найдется, что резать и в каком количестве. У нас не одобряют тех, кто поет своим, присущим только ему голосом. Между тем, среди журналистов я не знаю ни одного, кто был бы безоговорочно удовлетворен написанным, всегда кажется – что-то недоговорено, не найдено нужное слово, вот если бы еще денек–другой поработать. Но уж больно его работу «дотачивают», так, что совестно потом герою в глаза посмотреть. Я, например, боюсь встретить Надежду Васильевну. В редакции же другого мнения. Сейчас, после Вашего комментария в «Журналисте», слышатся голоса: «А мы вообще не хотели этот материал публиковать». «Почему?» – спрашиваю. «Погрешностей много было, и мотивы для публикации отсутствовали». Коллега, который приделал примитивную концовку, так и заявил: «Конечно, концовка не «фонтан», но только она спасла материал для публикации». Он член редколлегии, чуткий человек.

Как хорошо слесарю! Изготовил деталь, штангенциркулем измерил – и все ясно: высший класс или брак. А здесь, сколько членов редколлегии, столько мнений, каждый вносит свою «лепту» в материал литраба. Если честно, в последнее время, Римма, все у меня как-то нескладно в газете получается. Материалы месяцами лежат в секретариате, потом их печатают и говорят: «оперативно сделано, тема важная». Или совершенно аналогичные по качеству возвращают без суда и следствия. Я ведь не новичок в этой газете. И были поистине счастливые годы, когда сходу, без правки печатались материалы. Пришел новый редактор, и все стало не так, как прежде. Перебрала свои поступки по ступенькам, может, сама в чем виновата. Ох, достанется сейчас. Меня легко придавить неверием, сомнением, что сейчас и происходит. Не думала, что с Вами буду говорить о собственной боли. Простите меня. Пока писала эту длинную исповедь, вы, Римма, стали для меня почему-то не чужим человеком».

Свою нечаянную откровенность адресовала лично Коваленко с уверенностью, что третьего читателя не будет. Но буквально на той же недели получаю телеграмму из Москвы: «Преисполнена благодарности. Вы подняли острую тему. Телеграфируйте согласие на публикацию вашего письма в «Журналисте».

Еще чего не хватало! Да ни за какие коврижки! Письмо личное, исповедальное. Если оно будет напечатано в центральном журнале, – мне в «ТОЗе» не работать. Нет, в нем не были названы имена членов редколлегии, «поработавших» над очерком, правщиков, но интонация письма, нерв

его держались на необъективности моих старших коллег, кому дано право вершить судьбу сотворенного в творческих муках газетного произведения. А почему, спрашивается, необъективность? Снова атаковывали меня сомнения. Значит, видимо, причина в авторе, во мне самой – многословие, нечеткость замысла, скудость словарного запаса. Разве природа не одарила меня этим букетиком? Но почему в таком случае при отце Федоре мои материалы не сокращались? Эта мысль не давала мне покоя. Я перестала есть, пить, спать. Телеграмму с моим согласием на публикацию в «Журналисте» и не подумала давать.

Между тем редакция потихоньку гудела. Еще бы! Впервые «Тихоокеанская звезда» «засветилась» в столичном профессиональном журнале, да еще с не лучшей подачи. На доске объявлений появилось сообщение: «Состоится партийное собрание с повесткой дня: «Творческая активность журналистов». Меня как беспартийную на собрание не пригласили, разговор шел за закрытыми дверями, но «разведка» доложила, что коммунисты пришли к единодушному мнению: - очерк Гриценко не надо было печатать на страницах газеты. Это меня взорвало и подвигло - я рискнула пойти за советом к новому редактору Бронникову с московской телеграммой.

Взглянув на нее, Анатолий Константинович, красавец-мужчина, и как показала жизнь, не тогда, в мою критическую минуту, а спустя много лет, добрый, светлый человек, улыбнулся и, не поинтересовавшись, о чем письмо, заверил кратко: «Не обольщайтесь, не опубликуют». Как бы не так. И снова я об извечной Даме, существующей или придуманной людьми, отчаявшимися управлять своими поступками – Судьбе. Никогда бы по собственной инициативе не посмела дать ход этому опрометчивому письму, сломавшему мне журналистскую жизнь.

Еще открывая ключом дверь квартиры, слышала настойчивый телефонный звонок. Москва. Римма Коваленко. Теплый голос. Говорила она убедительно, ненавязчиво, призывая перейти через брод. Ее аргументы: внимательно прочитала мой вариант, если бы очерк был опубликован в таком виде, то для «факультатива», даже при наличии мелких огрехов, не оказалось бы повода. Почему же чужие, горе-правщики грехи, я, Гриценко, должна брать на себя? Надо же когда-то за себя постоять. На мои возражения, что, мол, из любимой избы, имя которой редакция, сор выносить не намерена, теплый голос из Москвы находил новые контраргументы, оспорить которые было затруднительно: имеем ли мы, отмолчавшись, струсив в критической ситуации, моральное право называть себя журналистами? Приводила любопытные примеры из своей журналистской жизни, когда в сибирской газете воевала за право иметь свой почерк, свои интонации. Если прятаться в кусты, не замечать редакторские гребенки, то и впредь серость, однообразие газетных публикаций неизбежны. И я сдалась.

Зная, что мои дни в «ТОЗе» сочтены, мысленно примеривалась, куда идти, где искать новую работу. В «Молодой дальневосточник» принимали соответственно молодых. Из этой газеты, созревшие к большой работе журналисты, шли к нам, а не наоборот. В многотиражках редактор, он же литсотрудник должен быть коммунистом. Круг замкнулся. Но я продолжала мотаться по командировкам и, к моему удивлению, меня перестали дерзко править, сокращать. Даже давали «добро» на газетные рассказы.

В одном из них «Урок мужества» при желании можно было найти криминальчик. А речь шла о том, как в третьем классе учительница велела детям привести пап, участников войны или героев труда, на модный тогда урок мужества. А у мальчика Максима, из неполной семьи, папаша проживет в стране Синетравии (так убеждала ребенка мать), попросту, в бегах. И в доме целая паника, – где взять хорошего отца хоть на часок? Предприимчивая бабушка мобилизуется и находит для мальчугана деда. Что испытывает при этом ребенок-безотцовщина? Все это повествование с теплой грустью показываю глазами девятилетнего мальчика.

По тогдашним меркам, рассказ можно было вернуть автору. Как это так: неполная советская семья, страдает без отца ребенок – нетипично. Однако дали. Тогда же опубликовали рассказ «Директор Охотского моря», взятый Хабаровским книжным издательством в книгу «Волшебное дерево».

А еще опубликовали, не тронув ни единой строчки, мой звездный очерк «Астры на снегу». В день публикации, когда пришла на работу, на дверях в кабинете висел плакатик, написанный от руки: «Поздравляем!!!». Подобного жеста от коллег я еще не удостаивалась. Анонимный автор или авторы плакатика явно не из компании, возглавляемой Верой и Тузом. Как только был опубликован «Факультатив» в журнале и прошло собрание, они как бы отстранились от меня, выказывая великую занятость. Не замечали, поиграть в крестословицу не звали, как и на малые, невинные сабантуйчики.

Это был знакомый тактический ход - «против кого сегодня дружим». Отношения кроились по давно отработанному лекалу – от ущербного, или претендента на битье надо держаться подальше. И я, уже вроде научившаяся разбираться во всей партитуре человеческих отношений, с этим столкнулась впервые. Лишь позже узнала, что во многих творческих коллективах подобное лекало – элементарная деталь общения. Споткнувшемуся не протягивали руки, выжидая, как быстро поднимется и что скажет шеф. Ну, а коль побитый выкарабкивается и упрямый редактор благосклонность не утрачивает, можно и дать отбой «ежовым» рукавичкам, поменяв их на теплые варежки.

Пиковому тузу хватило мудрости понять, что на моем месте мог оказаться каждый из авторов, чей материал подвергся бы анализу на страницах «Журналиста», того же самого Туза, чьи творения никогда не правились, иначе скандала на всю редакцию не избежать, и всех к тому приучил - мое не трожь своим поганым пером. И еще неизвестно, сколько огрехов можно было «накопать» в написанных «для рубля» строчках - целевая установка Туза ни для кого не была секретом. Но даже он, ревнучий как пес к чужим хорошим материалам, зашел в кабинет, и заметил: «Ничего не возразишь. «Астры на снегу» удались. - Но от всегдашней ложки дегтя не отказался: - Лучше ты уже ничего не напишешь в нашей газете. Это твой потолок».

Очерк «Астры на снегу» был напечатан в журнале «Советская женщина» на 17 языках. Но насчет «потолка» в этой газете прозорливый Пиковый туз оказался прав.

Роковое письмо в «Журналисте»

Бомба замедленного действия готова была вот-вот взорваться и с неустрашимой силой ударить по «ТОЗу» и по мне. Бессонными ночами я представляла, как в шумной московской типографии набирается «Журналист» с моим письмом, как по конвейеру плывут пахнущие типографской краской с яркими обложками 150 тысяч экземпляров, летят самолеты с тиражами в Хабаровск. Как долго находится в производстве столичный журнал? Сколько мне отпущено еще дней спокойной жизни? Эти вопросы для меня были насущными. Писать, звонить Р.Коваленко, идти на попятную, что не хочу брода в бурной речке, что дело поправилось, нельзя ли приостановить, воздержаться, – не решалась. Это были бы уже натуральные кусты, куда ныряет малодушный. Может, все-таки прав Бронников, и письмо не опубликуют в «Журналисте», оно было сейчас так некстати. Оставалось надеяться на русское «авось». Как жаль, что к Богу с молитвами мы тогда не обращались и в храме свечки не ставили с мольбой: «Спаси и сохрани».

Не спас и не сохранил. Мое письмо, дав ему заголовок «Случай заурядный», журнал преподнес на двух страницах в целости и сохранности, победно подчеркнув сей факт в преамбуле - «без правки». Напрасно - вот где надо было безжалостно сокращать, убрать всю личную линию, где я всердцах расстегнулась перед незнакомым человеком в количестве один, а оказалось перед всеми подписчиками журнала. Даже оставили в сохранности про ставшую «не чужой» для меня Р. Коваленко. Не спасала и предваряющая врезка, написанная ею и набранная жирным крупным шрифтом: «Письмо Екатерины Гриценко, с которым, считая для себя очень личным и дорогим, я все же решила познакомить читателей «Журналиста». Почему – думаю, вы поймете сами, прочитав его».

Понять может и школьник, мечтающий о журналистике, – в редакции «Тихоокеанская звезда» члены редколлегии только тем и занимаются, что под гребенку стригут материалы несчастной журналистки и такая правка – довольно «заурядный случай» в газете. Щемящее чувство обиды на нашего брата журналиста хлестнуло – Р.Коваленко ничего не стоило переступить через чужую судьбу коллеги из провинции, воспользовавшись простодушием, искренностью, зная, что обрекает меня на гибель. Если газетчики – волки друг для друга, лишь бы имя твое еще раз прозвучало, что уж о простых смертных говорить?

Последствия удара превзошли и без того мрачные мои ожидания. Журнал по эстафете переходил из кабинета в кабинет. Стихийно члены редколлегии собрались у редактора. Члены партбюро - у секретаря. Смысл обоих «симпозиумов» – выразить коллективное возмущение поступкам Гриценко и решить, что отвечать «Журналисту». В те годы было святым правилом - на любое критическое выступление, тем более в центральной печати, сообщать о принятых мерах.

Такая рубрика «Журналисту» отвечают» в журнале была, и орган Союза журналистов СССР ждал ответа из хабаровской краевой газеты. Кого обвинять? Каждый поэтапно, через кого проходил очерк «Такая судьба», приложил к нему руку – заведомо, отв.секретарь и его замы, редактор и два его заместителя. Но не их, стригунов, собирались винить, а, конечно же, автора. Иного и быть не могло.

Самое великое потрясение в те дни – со мной боялись прилюдно, в редакционных коридорах разговаривать. Журналисты из младшего эшелона, страдавшие от правщиков, оглянувшись, – никто не видит, чтобы не навредить себе – ныряли в мой кабинет, с восторгом жали руки, жарко шепча «Молодец!». И также воровато оглянувшись, исчезали. Что происходило на партийном собрании с повесткой дня «Обсуждение письма Е.Гриценко, опубликованного в «Журналисте», неизвестно. «Разведчиков» на этот раз не оказалось. От меня сразу же отвернулась многолетняя честная компания по шнапсу, что было уже не в диковинку. Я оказалась в вакууме.

Как-то поздно вечером позвонил домой Володя Шулятьев. Он был крепко выпивший: «Мы вот тут с Володей Бондарем сидим, выпиваем, обсуждаем. Решили позвонить и доложить: мы – штрейкбрехеры и подлецы», и добавил непечатные слова.

Наши кабинеты с Шулятьевым и Бондарем – на одном этаже. С обоими были хорошие отношения. Шулятьев – второй человек, к кому я пришла посоветоваться, когда получила телеграмму от Коваленко. Шулятьев – аристократ, сильный журналист, втайне комплексовал, что вот был собкорром центральной газеты, а в «ТОЗе» ходит в литсотрудниках. По натуре – гусар, по характеру – сангвиник, он умело прятал свои комплексы. Лишь один раз я видела его в гневе, когда заведующей отделом была утверждена давно исписавшаяся журналистка. Здесь уж Шулятьев в выражениях – каким местом добыто завство – не церемонился. И читая мое письмо в «Журналист», вздохнул: «Машина закрутилась, ее не остановить. У тебя тылы защищены? Муж прокормит? Рискуй. Я бы рискнул, но вот кто мою Броню кормить будет?» Меня удивляла одна черта у нашего брата, газетчика. Некая пропасть между бойким пером, когда «одним махом всех убиваю», и неумением защитить собственную душу. Не жалея красок, невзирая на лица, с гражданской отвагой тот же Шулятьев, мог на страницах газеты бесстрашно вывести на чистую воду зарвавшегося директора леспромхоза, конструктивно, обстоятельно подвергнуть критике целый коллектив рыбозавода, но когда дело касалось лично его убеждений не как у всех, отвага вмиг испарялась. Неужто «храбрость ковбоев Хаггис известна всем»? Дело даже не в том, что когда редакция объявила мне бойкот, он как все, проходил мимо, не замечая. Что значил этот пьяный звонок с саморазоблачением? За счет чего обрел отвагу?

Шулятьев, как никто другой, верил, что в вине не только истина. В свои сорок с небольшим заболел, врачи обнаружили туберкулез чуть ли не в последней стадии, кашлял кровью. Не жилец. «Лежу я в противотуберкулезном диспансере, – рассказывал он как-то нам с Верой. – Тоскливо мне. Приготовился умирать. А тут приходит друг, стучит в окно палаты и показывает на карман, из которого торчит бутылка. Говорит, захвати стаканчик. Я в пижаме через окно перепрыгнул, пошли мы с ним в больничный лесок. Пить на голодуху не хотел, друг настоял. А тут моя Броня бежит, ищет. Увидела пустую бутылку из-под водки в кустах, и в слезы: «Ты сам себе приговор подписал». И что вы думаете, через месяц меня выписали. Без всяких рецидивов. Врачи удивлялись. С тех пор Броня против такого «приговора» особо не возражает». Значит, чтоб обрести мужество, нужно «приговор» употребить? И на том спасибо, Володя.

Тогда же ставшая моей очередной заведующей, давно исписавшаяся журналистка, заняв позицию немого свидетеля разворачивающихся событий и видя мое отчаяние, посоветовала: «Вы, Катя, погубили себя как журналист. Чтобы хоть как-то реабилитироваться перед коллективом, нужно написать открытое письмо в «Правду». По какому праву «Журналист» печатает личную переписку? Я высказываю мнение не только свое, но и некоторых членов редколлегии. Вы ведь в письменном виде согласие не давали? Вот и действуйте». Это был, конечно, абсурд, и под расстрелом подобного бы не сделала.

И только Вася Скопецкий, завсельхозотделом, член редколлегии высказал свою позицию мужественно и ясно. Вне редакции. Нам случайно оказалось по пути, спускались по Знаменщикова в сторону рынка. Прямо неся свое стройное тело, он не бесстрастно говорил: «Все правильно ты написала в журнал. Полностью с тобой согласен. Давно пора этих правщиков на место поставить. Так сократят, что с трудом свой материал узнаешь, сполна испытал. Но тебе, Катерина, не завидую». Мы в этот момент пересекали трамвайные рельсы, под переплетенными электропроводами, которые

снились мне не однажды и в которых, легко и стремительно летя, я запутывалась. Дома старалась держаться, муж не догадывался, какое пламя сжигает меня. Я стала бояться своего балкона, особенно когда в квартире никого не было. В дневниках того времени – сплошная чернота:

«...Покая нет в душе. Потеряла веру, истерзала себя. Где найти душевные силы, чтобы выдюжить? Чищу картошку – думаю, иду – мысли в башке теснятся. Надо бы ожесточиться, научиться ненавидеть. А я их, всю редакцию, оправдываю, но не себя. Ты – маленькая песчинка, вольно или невольно посмела замахнуться на газету, которая возникла задолго до тебя и будет жить столько, сколько будет жить хабаровская земля».

«...В кабинет ввалилось человек пятнадцать родителей, с письмом. Говорили наперебой. Их дети, второклассники, пришли 1-го сентября в родную школу. А после второго урока, пообещав шоколадки и лимонад, ребяташек повезли на автобусе в 77-ю. Уроки закончились и учителя запретили брать с собой портфели, из расчета, чтобы на следующий день они вернулись в эту незнакомую школу, а дети не знают, как и до дома своего добраться. Я быстро подготовила за подписью родителей письмо в номер под рубрикой «Тревожный сигнал». А сегодня стало известно, что редактор не велел публиковать. «Зачем дразнить гусей» - сказал он.

«...Три недели со своим «сувениром» отлежала в больнице. Врач спрашивает: на что жалуетесь, что гложет? Кроме Володи, меня, понятно, никто не навестил».

«...Приношу В.П. для «Капкана» два фельетончика по сто строк. Она не глядя, надменно заявляет: «Не пойдет». «Ты что? - спрашиваю я, - «Капкан» в свою вотчину превратила?»

«...Руки недвижимы. Ничего не могу писать. Читаю Хемингуэя. «Мне не хватало ощущения проделанной работы, и на меня уже напала смертная тоска, которая наваливается в конце каждого напрасно прожитого дня». Решение мое непреклонно».

«...Как это соблазнительно и прекрасно – нырнуть с шестого этажа. Во мне был дьявольский восторг, когда я вышла на балкон, ощутив высоту – так легко со всем этим покончить. И был тишайший вечер, далекий, уютный асфальт подо мной звал. Страдая от не свершения острого желания, буквально отползла, отцепив руки от перил балкона».

Мозг искушен предрассудками, воспаленной совестью, воинствующим самоанализом. Об этом говорит М.Зощенко в «Возвращенной молодости». И приводит пример. В зверинце - здоровенные, крепкие обезьяны, великолепный пир здоровья. Одну из них посетитель ударил палкой, обезьяна завизжала. Сострадательная дама подала гроздь винограда. Обезьяна заулыбалась, радостно сожрав кисть. «Ну-те, ударьте меня палкой по морде. Навряд ли я так скоро отойду. Да и спать, пожалуй, не лягу. А буду на кровати ворочаться до утра, вспоминая оскорбление. А утром встану серый, ужасный, постаревший» Хандра есть совершенно определенное физическое состояние, вызванное нерасчетливой тратой энергии, противоречиями, утомленным мозгом. Ослабленный мозг не слишком то заботится о внутреннем хозяйстве, которым он заведует, что и приводит творческих людей к гибели. Закончили свою жизнь: Моцарт (36 лет), Пушкин, Мендельсон, Бизе, Рафаэль, Ван-Гог (37 лет), Есенин (30 лет) Лермонтов (26 лет), Джек Лондон, Блок (40 лет). Усталый, полу парализованный мозг почти не имеет реакций на боль, и, стало быть, страх смерти притупляется. Вот в таком состоянии готовности я живу».

«Сейчас уже не тяжело, сейчас уже судьба...» Без звонка пришла Никульшина. Сидела до трех ночи. Самоуверенная, безжалостная в оценках. Потягивая со вкусом «Три семерки», выложила Володе все то, что ему не следовало знать. «Обстановка в редакции вокруг нее невыносимая. Письмо будет разбирать коллектив, хотя наверху уже все решено. Сор, который ты вынесла из редакции, тебе никто не простит. Шулятьев твой примолк. Бондарь тоже. Мое мнение и Рябенко – ничего не значит. Предупреждаю, я выступать не стану. Вот, может, Малиновская? Но еще неизвестно, что она скажет, у нее тоже шаткое положение. Вы, как я вижу, с Володей не бойцы. Ты спряталась в больницу. - И не обращая внимание на мое возмущенное: «У меня открытая язва», твердо повторила: - Спряталась, в редакции все так говорят. Вижу, с такими нервами, как у вас, нужно собираться и уезжать. Дверь из редакции одна открыта – в психбольницу. Ты-то хоть знаешь, один из наших журналистов корзинки плетет в ЛТП, другой - поместил под стеклом рабочего стола соцбязательства: пункт первый – слушаться во всем Пикового туза, пункт второй - поздравлять с днем Советской армии не позднее 23-го февраля и еще с пяток дурацких пунктов. Сейчас в психбольнице лечится». От рассказа Надежды, где смешались в кучу кони, люди, даже мой Володя, деликатный, но проницательный человек, не выдержал: «Вы, Надя пришли ее добить? - и резко

объявил, поднявшись из-за стола: - Или прекращаем эту тему разговора или закругляемся! Провожать не пойду».

Напрасно мы так. Никульшина говорила то, что видела со стороны - шокирующую реальность. Она сама недавно пережила подобное. После редколлегии, побитая, раздавленная, пришла в мой кабинет. Помимо заносчивости, профессиональной незрелости (и это после публикации в трех номерах очерка, отмеченного, как лучший!) ей инкриминировалось бюрократическое отношение к авторским письмам. Уважаемые авторы В. Яхонтов и А. Казаринов подготовили, не зная о том, материал на одну и ту же тему: «В защиту диких животных». Чтобы не дублировать и не обидеть никого из них, Надя под этим заголовком объединила труды внештатников, поставив две подписи и не успела предупредить авторов о своем маневре. Те возмутились не на шутку. Это был третий, финальный выговор. Отстрадав, она уже нашла себе другую работу, место которой тщательно скрывала. Но я-то поборюсь, - уговаривала я себя. – За мной «Журналист». Обещали поддержку. Да и официально увольнять меня никто не собирался.

«Малая смерть»

Элементарно перестали печатать. Это была малая смерть. Да еще схлопотала выговор за «необъективную критику обстановки, сложившейся в Лончаковской средней школе». Материал «Полюсы недоверия» был опубликован за неделю до появления «Заурядного случая» в «Журналисте». Речь шла о директоре школы – хорошем хозяйственнике и бездарном руководителе учительского коллектива. Сделав из помещения сельской школы образцово-показательную игрушку, он как цербер следил, чтобы в неурочное время ребячьей ноги в школе не было, дабы не натоптали, не поломали чего-нибудь. Монополизировав весь учебный процесс, запрещал учителям без своего ведома проводить контрольные работы, ставить отметки, предпринимать самостоятельные действия. Учителя не выдерживали и менялись, как перчатки. Молодой специалист Ольга Сметанина показала мне еще не отправленное письмо в «Комсомольскую правду», в котором взывала о помощи – не увольняют и работать не дают. Жители обращались в райисполком – почему хорошие учителя уходят, ответа не дождались. Вся «головка» района, в том числе отдел образования, взяла за моду проводить пикники в лончаковской сосновой роще с ящиками вина и шашлыками, кострами, с ночными визгами. Мясо для шашлыков поставлял директор школы. И все повязаны. Об этом в материале, естественно, ни слова. Акцент сделан лишь на стиль руководства школой. Уже в Бикине, завтраюно, расфуфыренная дама, с мощной «баббетой» на голове, подтвердила: «Знаю, там положение с текучестью кадров не из лучших. Но директор в Лончаково так много сделал! Видели школу, согласитесь – как картинка. Где вы такую в селе найдете?»

После публикации статьи секретарь хваленного А. К. Черным райкома партии был возмущен и в сильном гневе позвонил новому редактору. Никто по-настоящему не разобрался в данной ситуации, на редколлегии защитить я себя не сумела. Лишь позже получила от Ольги Малининой письмо, в котором она сообщала, что понаехали комиссии. Всех учителей, названных в статье, кто жаловался корреспонденту, вызывали к директору, пообещали разогнать с такой характеристикой, что ни одна школа не примет. Это письмо показала своей завше, она только развела руками. К редактору не пошла.

А тут я раскопала материал об уникальной боевой судьбе братьев Коваленко. Все шестеро – учителя. Валентин, Нестор, Семен, Владимир, Леонтий вернулись с войны героями – грудь в орденах. Шестого, младшего Павла, учителя музыки, пропавшего без вести, оплакивала вся семья. И вот спустя четверть века, при перезахоронении останков безвестно погибших в боях за украинское село Верхний Бишкин, красные следопыты обнаружили медальон командира стрелковой роты Павла Коваленко. Копию наградных листов командира роты поисковикам прислал архив Минобороны. От очевидцев следопыты узнали героическую историю гибели командира дальневосточника. На день памяти в село, где была установлена стела с именами защитников, создан музей, центральное место в котором, занимала картина «Последний бой командира

Коваленко», прибыли сотни родных, близких со всех уголков страны, а из Хабаровска – братья Коваленко.

Этот материал был «в струю». «Братьев» не могли не дать в газете, – сказала я себе. Собирала его по крупицам. Объездила села, где учительствовали братья, добывала военные фотографии каждого. Полгода переписывалась с украинскими поисковиками, разыскала в глухом селе нашего края жену Павла, рано состарившуюся учительницу со сломленной судьбой, сына, внука, носящего имя деда – героя. Материал получился без лирических изысков, всяких цирлих-манирих, даже суховатый. О величии человека говорили факты.

Приближалось 30-летие Победы, а «Братья» два месяца лежали в секретариате мертвым грузом. В сводке выполнения плана по строчкам, вывешиваемой на общее обозрение, с первых пяти мест переползла на последнее. От давнего автора ученого-биолога Леонида Вострикова получила к какому-то празднику открытку: «Не вижу в газете ваших материалов. Это что? По следам «Журналиста»?» С такими же вопросами обращались друзья, близкие. Такое впечатление, что все читают «Журналист». На работу шла как на каторгу. Так больше продолжаться не могло. Надо было писать заявление об уходе. Но куда идти? В «Суворовском натиске» вакансий не было. Даже в многотиражке мне, беспартийной, нет места. Опальные, то ли по пьянке, то ли по другим мотивам журналисты, кстати, хорошо пишущие, находили пристанище в центре научно-технической информации. Занимаясь пропагандой новых методов производств, со своими зарисовками приходили в «ТОЗ» – на них смотрели как на неудачников. Нет, только не это. Круг замкнулся, мне крышка.

Не знаю, как бы я вышла из этой пиковой ситуации и пережила случившееся, не будь рядом друга, мужа Володи с его неизменным: «дом продам, куплю ворота – запирайтесь от тебя». Этой прибауткой он встречал меня, когда я, хмурая, возвращалась с работы. Это о таких, как он, писал Платонов: «Страна темна, а человек в ней светится». Мой лебедь светился. А сейчас он откомандирован далеко, на новое место службы. Это случилось неожиданно. Володе, наконец-то, предложили в том же авиаполку в Хабаровске майорскую должность, о которой он давно грезил. Муж сетовал: «Поведет доченьку в первый класс старый папка в звании юного офицера». И верно, пора бы уже по деловым качествам и по выслуге лет на свои погоны прибавить желанную звездочку. И что же? Владимир Павлович отказался, сделал другой выбор, конечно, из-за меня. В той же должности капитана и без перспектив на повышение – за границу, в ЧССР. Для человека честолобивого, каким по существу был мой муж, закомплексованного, как и все его коллеги-невезунчики, малым офицерским званием, то была высокая жертва. И сейчас бомбардировал из ЧССР письмами, как ждет, не дождется. И я, уже имея заграничный паспорт, со дня на день ждала вызов. Дышать стало легче.

Между тем, у меня снова поменялся заведующий. Им на этот раз стал Саша Чернявский. Он как-то незаметно и не один год работал заместителем ответственного секретаря на уровне выпускающего – осуществлял связь газеты с типографией. Достаточно активно печатался, пробивая тропу в сферу литературы и искусства. О нем, неразговорчивом, обстоятельном, несуетливом Пиковый туз, умевший просчитывать ходы своих коллег, заметил как-то: «Обратите внимание, братцы, а замотетсека Саша не промах, в культуру метит». Предсказание не приняла в расчет по элементарной причине – Чернявский, как и я, не был членом партии. Но просчиталась. Оказывается, при необходимости и по потребности коммунисты пекли себе подобных, как хорошая хозяйка блины. Не успела оглянуться, а Чернявский уже кандидат в члены партии и обрел право быть не «и.о.», а натуральным завом. А за его всегдашней молчаливостью, невмешательством скрывалась взрывная сила энергии и гнева. Из дневников:

«...Говорила с Бронниковым, точнее беседовала, без дрожи в голосе, тепло, дружески. Новый редактор не орал, как отец Федор, был вежлив и искренне, как показалось, улыбался, – знает, красавец, свои привлекательные начала. Обещал, что «Братья» пойдут. Призналась, что грузом висеть на шее редакции не буду, увольняюсь, и попросила: «Анатолий Константинович, дайте мне поработать нормально последние два месяца». И он с готовностью воскликнул: «Сколько вам угодно!» Стало хорошо и покойно на душе.

«...Рабочее утро началось с рыданий завши, сопровождаемых пришепетываниями: до чего я дожилась! Она сидела за рабочим столом, почему-то завернувшись в плащ. Оказывается, пришла в редакцию, стала снимать плащ и ахнула, обнаружив – юбку-то не надела! В кофточке и в штанишках. А тут звонит Бронников и на повышенных тонах спрашивает: «Когда будет готова

рецензия на «Сталеваров?» Рецензия даже не заказана. Между тем, вчера «Молодой дальневосточник» опубликовал прекрасно написанный материал об этом спектакле. Лазаренко не поленилась прибежать с газетой ко мне домой и похвастать своими успехами. Молоток, Людка! Мы сидели с ней до часу ночи. Она говорила, что для себя открывает бездну возможностей современной режиссуры. А я думала, почему бы «ТОЗу» не заказать Людмиле рецензию. Всегдашний автор Дрерман заболела, и газета не откликнулась на премьеру. К обеду завше привезли юбку, и она успокоилась. За окном дождь сначала капал, а сейчас льет. И балкон, будто живой всхлипывает, дышит»

«Открыла сентябрьский номер «Журналиста», и сердце ухнуло в пятки. Снова «Тихоокеанская звезда» и мое имя треплют. Это третья публикация в «Журналисте» за год. В «шапочке» черным шрифтом кратко рассказывается, что произошло с моим очерком, и утверждается: «Хабаровская журналистка подняла острый вопрос: как мы правим рукописи, как нас правят! На письмо Е.Гриценко пошли отклики. Публикуем некоторые из них». И под заголовками «Под одну гребенку». «Право править». «Уважать автора» пространные размышления, возмущения по поводу «медвежьих услуг не в меру ретивых правщиков, о которых говорила Е.Гриценко». На две журнальные страницы отклики из Калинин, Новокузнецка, Приморья. «Полностью согласна с Е.Гриценко». «Дважды прочитал исповедь хабаровской журналистки» и т.п. В них призывы – смело искать новые сюжетные ходы, новые, незатасканные слова, решительно бороться с неумелыми «хирургами» от журналистики. Даже в одном из откликов предлагалось: раз в три-четыре года редакционных работников, имеющих дело с рукописями, подвергать литературному экзамену, определять квалификацию по качеству правки авторского материала. Из всего этого журналистского шума запомнилась одна лишь фраза: «Писать могут и подмастерья, зачеркивать же – только мастера». Мне бы восторгнуться, радоваться, что поддержали другие коллеги, а я сижу в кабинете мышкой, оказавшейся в капкане, и страшусь столь щедрой наживки.

К грустным итогам прихожу я, размышляя о своей профессии. Журналистика – это маленькое писательство, твое имя в газете – сиюминутное самоутверждение себя, любимого. Удался материал, – тебе звонят, поздравляют, ты весь из себя «пушистый», ходишь в гоголях. А каково тому или тем, о ком пишешь? Кому конструктивно помогло печатное слово? Если ты написал даже о хорошем человеке, а кандидатуру предлагает начальство, чуть-чуть в страстях преувеличивая достоинства, хирург-«блистательный», актриса – «очаровательная», герой смущен, он не дотягивает до нарисованной планки. А сколько зубоскалов, завистников вдруг появляется у твоего героя! Мне помнится, Римма Казакова написала очерк «Охотское побережье» и там была обо мне, тогда студентке-заочнице, главка «Парамарибо». После публикации в «Литературной газете» прохода не давали, все пилились на мои невыразительные ресницы. Римма дважды в тексте сравнила их с густыми «шмелями». Но, это, как говорится, семечки. Мне известны случаи, когда после публикации ломались судьбы обласканных прессой героев, от насмешек, издевательств знающих всю подноготную, житья не было. Ведь журналист – турист, с тросточкой: пришел, увидел, написал.

Пытаешься помочь человеку, оказавшемуся в беде, незаслуженно притесняемому, и тем самым пробудить общественное мнение. И снова попадаешь пальцем в дырку от бублика. Справедливость формально может и восторжествовать, обидчика вызовут на ковер, укажут, о чем непременно сообщат в печати под рубрикой «По следам наших выступлений». Но после газетной критики жалобщику уже не работать в данном коллективе. Нет, его не уволят. А так перекроют кислород, что сам побежит с заявлением. И сделает это под благим лозунгом «за честь родного коллектива» даже не начальник, а его ближайшее окружение, «пробковый пояс». После публикаций ничего решительно не меняется к лучшему. Так зачем же «вторая древнейшая»? Отделять свет от тьмы? Служить партократии? А может, всего лишь «Секундная стрелка истории», как назвал журналистику А.Толстой.

«...К утру дождь превратился в неуправляемый снег, щедро забелив крыши, асфальт. На улице ветер сумасшедший. В спину как шарахнет и вдруг отступит, замрет, и ни с того ни с сего в лицо поддаст так, что задохнешься. Вырывал из рук цветы. А мне хорошо, счастливо. От Володи снова два письма. И белые астры для Азы Леонидовны. Ее День рождения вдвоем. И совсем нескучно. Аза после операции. У нее была большая папиллома на глазу. Читать не мешала, на фиг надо было ложиться в больницу, ведь если злокачественная, то при такой операции человек умирает. Аза рискнула: «А что мне делать? Приношу Пиковому тузу полосу для снятия вопросов. В его кабинете Побойная, Забара. Он при всех пристально смотрит на мою бородавку и с улыбкой

спрашивает: Аза Леонидовна, ну что новенького на вашем личике? Все без изменений?» Какая подлость!

«...Переселилась в старый свой, солнечный кабинет к новому заву Чернявскому Черт дернул меня сказать: «Саша, вы у меня пятый заведующий». Он улыбнулся таинственной улыбкой Джоконды и ничего не ответил. В действиях проявляет отменную решительность. Изучив «портфель» отдела, извлек три залежалых подборки материалов, которые считала погибшими, потребовал «освежить» и они уже прошли в печати».

«...В редакции появился новый литсотрудник Чудов - большой, как шкаф, угловатый. Хотя печатался активно, не долгожитель газеты. И поняла я это необычным образом. К нам с новым завом в кабинет заскочил Женя Хохлов, потрепался, от души покурил, оставил в пепельнице дымящуюся сигарету и ушел. «Очень мило», - подумала я, глядя на сигаретный дымок. Величаво wpłyает в кабинет Чудов, зажигает спичкой сигарету: «У вас можно покурить?» «Нельзя! У нас своего дыма хватает, - неожиданно закричал фальцетом мой новый зав. - Выйди вон из кабинета!» Я пригнулась, как от боли. У Чудова – пятна по лицу от едва сдерживаемого гнева. Вот так вышвырнуть из кабинета Хохлова, которого любил редактор, или иного, перспективного журналиста новый зав не посмел бы. Унизил при мне большого мужика. Значит, Чудову в редакции не жить, и это Саше уже известно».

«...Была в Иванковцах, близ Победы. Мороз жутчайший, перчатки из кожаменителя полопались, сугробы на дорогах по пояс, но так хотелось добраться до этой женщины. Обморозив ноги, достигла. Среди дремучей тайги, в глухом селе, куда забегают тигры, Клавдия Чечик строит дом-сказку, перед которым гостя встречают два засыпанных снегом, неунывающих петуха – дворовый и флюгерный. Сотворенные ее руками комнаты королевы зимы, весны, летней ночи – веселый праздник волшебства. В одной разместились героини сказок Андерсена с Дюймовочкой, сундуком-самолетом, с мышью, родившейся в дворцовой библиотеке, старыми уличными фонарями и русалочками. У каждой сказки – свой уголок. Потрясающе. На краю земли, где по ночам слышен вой волков, – украшать, лепить, фантазировать в дереве, жести, ткани, красках. Что побуждает эту женщину с простым, славянским лицом творить волшебство? О, таинственная душа человеческая».

Мелочевку – информации, заметки еще публиковали. «Братья» потихоньку старели. И, махнув рукой, на все и вся, послала очерк Римме Коваленко с просьбой найти издание, где можно было бы опубликовать его. О «Литературной России», органе Союза писателей, и не мечтала, там печатаются зубры от классики, а мой материал без лирико-психологических изысков, в нем изложены лишь удивительно добытые факты. К моему восторгу, материал моментально был опубликован на целую полосу в «Литературной России». И только спустя месяц, за неделю до отъезда, этот очерк появился в моей газете. Материал о Клавдии Чечик, с ее сказками наяву, так и остался в блокноте.

КНИГА ВТОРАЯ

И вся оставшаяся жизнь...

«Новая работа»

Нудный рабочий день заканчивался. И я досрочно привела себя в полную боевую готовность – на выход. Не привлекая внимания сотрудников, – нас в крохотном кабинете, как семечек в арбузе, – потихоньку под столом, сбросив туфли, натянула сапоги. Памятуя об андроповских методах борьбы за дисциплину, – хоть дреми или трави анекдоты, но как пригвожденный сиди за рабочим столом, на котором чем больше бумаг, тем ты смотришься деловитей, – в последнюю минуту собрала рукописи, впихнув в сейф, щелкнула ключом и готова к старту.

Пока коллеги осознали, что пора по домам, я уже выскользнула в институтский коридор. Поначалу эта моя торопливость раздражала соседок по кабинету, но привыкли – у меня двое детей. Дочь – в садике, ее надо забирать пораньше, а живу, считай полгода, без мужа.

Еще недавно, весной мы мчались с Володией из разных концов Хабаровска после работы к дочери. Детский сад был для нас романтическим местом свиданий. Заберет ребенка первым отец, сидят под грибочком, поджидают меня и втроем, взявшись за руки, шагаем весело домой. А чаще – днем звонок на работу, мол, задерживаюсь, не ждите. Это значит мой капитан в казарме, и надолго. У него – солдатики. Замполит им и мамка, и нянька. Это куда же годится – у дочери цветные карандаши, фломастеры таинственно исчезают. Пытала старшего сына, тот клянется, божится, что не брал. Кто же тащит из дома детские письменные принадлежности? Оказывается, любимый папа – в казарму солдатикам.

А сейчас он далеко, на уборочной. В составе дальневосточной автороты без сна и отдыха убирает с солдатами урожай. Называется это целина. Какая целина!? Колхозники Уральских и Тюменских сел на родных огородах картошку копают, а государственные нивы поджидают, когда люди в военных мундирах, оставив боевую и иную выучку, придут с Дальнего Востока, соберут и вывезут урожай.

Но в армии приказы не обсуждаются. Попробуй не проявить послушание, – партбилета лишат, и в повышении по службе откажут. Партия сказала «Надо!», и мой капитан, бросив в тревожный чемодан томик Симонова, а в удостоверение личности вложив фотографию дочери, ответил: «Есть!». А я здесь полгода кручусь одна с двумя детьми, древней бабушкой, разгребая проблемы быта в квартире-казарме с незаконченным ремонтом. Измеряю радость жизни от письма до письма. Они приходили с большими перерывами. И сегодня я жду не дождусь весточку из какого-то странного Упорово, нового места дислокации.

Мощный поток служащих, завершивших рабочий день, с гулом стекался с девяти этажей, притормаживая, у тесного прохода вахты, так что тяжелая стеклянная дверь, ведущая на улицу Серышева, не успевала сомкнуться. Люди выбирались на волю, в осенние, легко темнеющие сумерки.

Мне иногда казалось, что назначение этого из стекла и бетона огромного здания, что на улице Серышева 22 – заточить своих несметных обитателей, лишив их радости видеть солнце. В такие же сумерки, но утренние, оно вбирало сотни спешащих, бегущих, успевших или не успевавших вовремя пересечь вахту, где стояли общественные контролеры с блокнотиками, вписывая минуты опоздания. А когда город расцветал под благословенным светом, радуя и веселя все живое, добровольные каторжники, сидящие за столами, видели это чудо лишь сквозь толстые, пыльные стекла. Днем покинуть сей ковчег, при царившей дисциплине очередного генсека Андропова, – себе

дороже: в институтский журнал учета рабочего времени требуется вписать мотивы и минуты отлучки, завизировать заявку у заведующего отделом, затем у ученого секретаря, а потом письменно отчитаться, где был, что делал за пределами здания. Пару раз эту процедуру свершишь, а на третий, твои же коллеги скажут: «что-то зачастил редактор». Редактор, конечно, не газеты, и моя служба к СМИ никакого отношения не имела.

Через пять лет, вернувшись из Чехословакии, долго и безнадежно искала в Хабаровске работу, близкую к творческой. Без партбилета мой журфак Ленинградского университета, пятнадцать лет газетной работы – ничего не значили даже для редактирования многотиражки. В некогда родную «Тихоокеанскую звезду», понятно, никто не звал. Да я и не стремилась. От «ТОЗа» осталась фантомная боль, профессиональная травма. Честолюбие, неистовая погоня за звонкими строчками без выходных и праздников остались там, за поворотом «Заурядного случая в «Журналисте», сломавшего мою творческую судьбу. На смену безоглядной самоотреченности пришло житейское, рассудочное: надо так воспитывать детей, чтобы они видели мать не согнувшуюся круглые сутки за машинкой, а рядышком. В отместку, для полной победы своей мещанской философии искала работу без командировок и чтоб трудовой режим с 9 до 18.00, и ни минутой больше.

Предполагая, что на годик-другой, пока Лерка не выскочит из коляски, прибилась к академическому институту экономических исследований. Не без тайной мысли – познать изнутри, что есть современная наука, и профессионально писать об этом предмете. Один из негативов новой работы – обязаловка: семь часов, не считая перерыва, не покидать здания. Если в редакции полдня бегаешь по городу, то здесь лишь сквозь стекла окон наблюдаешь, как внизу шумит жизнь. В конце рабочего дня выскакиваешь через проходную, будто застоявшаяся лошадь на волю, точнее, на улицу Серышева, с ее тусклыми фонарями.

И так пять дней в неделю, умноженные на месяцы, а возможно, годы. Нам остаются сумерки жизни, - думаю я, - вступая в темный проходной двор, кратчайший путь к детскому саду. Но у ближайшего гастронома на ГУПРЕ вижу очередь. Становлюсь в хвост, спрашиваю: «Что дают?» Хвост еще не знает, позже выясняется – майонез. Сказочно повезло! Как раз к приезду мужа. Какой салат без майонеза. Встретим целинника, отощавшего на казарменных пайках, роскошными блюдами. Укрепим, взбодрим. Лишь бы скорей возвращался из этого целинного мрака.

Я умела читать между строк и не находила в письмах хоть лучика юмора, что не свойственно мужу, с его прибаутками, с которыми он всегда встречал меня с работы «Дом продам, куплю ворота, закрываться от тебя». Что его нынче гложет? Бесспорно, трудно, но не до такой же нешуточной, вселенской тоски, которой дышат его письма. Последнее лежало в моей дамской сумочке. Чтобы без толку не торчать в этой беспокойной очереди подошла к большому освещенному окну магазина - видно хорошо, в который раз, пытаюсь проникнуть, что там, за строчками?

«...«Ну и водоворот же здесь. Последние дни так закружило, что и вздохнуть некогда. Кончилась большая уборка, начались большие неприятности. Половина машин стоит. Затуркали комиссии, вытягивают душу по ниточке. Третий день сажусь писать, не получается. Прячу лист и бегу встречать очередную комиссию. От вертолетного гула вздрагиваю, как от пули над головой. Значит, будет выволочка. Нынче сами товарищ генерал пожаловали. Пробыл полчаса, все не по нему, все не нравится «в этой авиации». Коль с солдатами не можете справиться, говорит, бейте в морду. А то, что солдаты, немытые, грязные валяются на вшивых матрасах, никого не беспокоит. Кто придумал направлять в сельское хозяйство солдат. Это только разлагает армию, а у сельчан создается в свою очередь неблагоприятное мнение о всей Советской Армии. Ведь здесь, в Тюмени могли обойтись без нас, сам предколхоза на партактиве говорил.

Солнце не просматривается. Тот же дождь, мелкий, нудный, холодный. Спим в одежде и поверх одеяла еще шинель, плащ-палатка. В окно с силой бьет сухая ветка. Вчера всю ночь не давала спать, сегодня днем ее видел, не успел сломать. А сейчас выйти, сделать это, нет сил, не хочется шевелиться, такая пришла усталость. Обувь, нижняя, верхняя одежда, все - мокрое, негде просушить. Солдаты согреваются самогоном. Установил им телевизор, думал, удержит. А вечером после проверки самовольно уходят в село. Войско бесчинствует, пьянствует. Вчера ночью опрокинули машину, устроили дебош, а на гауптвахту нужно везти в Тюмень за сто километров. Такая роскошь в наших условиях непозволительна. Да и кого везти – массово. Завтра буду отчитываться на партбюро о состоянии дисциплины в роте. Пить стали за рулем, в наглую, за каждым, а их 130 молодчиков, не уследишь. В Хабаровске собрали для уборочной всякий сброд со

всей воздушной армии Дальнего Востока. Человеческий язык не понимают. Так что я ругаться стал, как Ванька-взводный. Малыш, есть такой солдат, мой водитель, высказался: «Товарищ капитан, когда вы прибыли в роту, единственный из командиров не матерились, сейчас другое дело» Нехорошее дело, вижу сам. И от этого еще горше.

Пишу как дневник. Уснуть не удалось. Очередное «чп», двое солдат не вернулись в лагерь. Искали всю ночь. Теперь утро. На небе ни единого просвета, сплошь обложено тучами. Призываю волю, иду к речке умываться по пояс. Хотя вода с льдинками, разотрешься полотенцем и чувствуешь себя человеком, шествуя сквозь туман с морозящим дождем. Но через 15-20 минут становится холодно уже и в одежде. Знобит. А тут слышу, над головой курлычут гуси, поднял к небу взор – идут клином - 32 гуся насчитал - и потихоньку между собой переговариваются, перестраиваются в полете. Летят в теплые края. Когда же я полечу в родное тепло своего дома. Если б была моя власть, сорвался бы на почту. Чувствую, есть письмо, должно быть наверняка. Но придется выдержать до обеда. И все равно на душе какое-то приятное ожидание. Очень, очень стремлюсь к тебе, к детям. Хочу срочно видеть вас, слышать, быть рядом».

Вот в такой нервной встряске, считай, полгода. Скорей бы все это заканчивалось. И в письме, которое обязательно я сегодня получу, должна быть указана дата, когда лагерь будут сворачивать и когда встречать. Все худшее, думаю, позади.

Очередь за майонезом идет быстро, отпускают по три банки, но до желанной двери магазина, еще далековато. И мысль моя кружит вокруг последнего, непосильного задания моего нового шефа, профессора Чичканова.

С первых дней в этом научном учреждении, как ни смешно, специализировалась на написании поздравительных телеграмм – абсолютно новый для меня и довольно странный жанр. Суть в том, что где-то в Москве, Питере или Киеве проживает некий Икс, член-корреспондент или академик. Ни я, и, очевидно, ни директор института в упор этого юбиляра не видели, не знают. Но Иксу на Общем собрании Академии наук при голосовании на утверждении себе подобных дано право владения шаром, которым, окрасив его в черный цвет, он мог и запустить в нежелательного провинциального выскочку. И ты пишешь таинственному Иксу от фонаря: «Ваш талант экономиста...», «широта и оригинальность взглядов на концепцию...», «ваш бесценный вклад в развитие экономики страны...» Подтекст подобных телеграмм весьма прозрачен: напомнить о своем существовании, выказать верноподданнические чувства, расположить.

По сравнению с работой в «Тихоокеанской звезде», горячий, беспокойной, когда забываешь, обедал или нет, трудовая атмосфера в Институте напоминала дилетанту сонное царство. Создавалось впечатление, что ученые мужи утомлялись не от мозговых усилий и научных открытий, а от чрезмерной тесноты, плотного соседства друг с другом и необходимости общаться. В махоньком кабинете, как в нашем под номером 203, где разместился отдел научно-технической информации, - семь столов впритык, и чуть ли не в два этажа. Но и здесь были свои преимущества, скрашивающие однообразные трудовые будни.

Помимо обеденного перерыва дважды в день в кабинетах официально разрешалось чаепитие, которое обставлялось весьма торжественно и чинно. Поочередно дежурившие по чайной церемонии, впрок запасались на всю ячейку вафлями, заваркой, сушками, накрывали стол. Чаепитие с неторопливыми беседами «за жизнь», на институтские темы, затягивалось чуть ли не до конца рабочего дня, но чайник при этом отключали, чашки убирали с глаз долой, а вдруг навестит начальство.

В научных же отделах шла интенсивная аналитическая работа со статистическими данными, мировой экономической литературой, готовились к печати научные труды. Молодые специалисты жаждали одного, заветного - стать «кэнами» и «дэнами», кандидатами, докторами экономических наук. Человек с маленькой буквы, посредственность в этом институте долго не задерживался. Присвоение очередного научного звания, как орден, тавро, венец на всю оставшуюся жизнь.

Нашему вспомогательному отделу информации столь дерзкие устремления были несвойственны. Никакие звания нам не светили, кроме повышения зарплаты на десятку, другую. Пик творческого подъема остался где-то там, за горизонтом, возвышенная песенка о предназначении была давно спета. От нас требовалось по мере своего профессионализма помогать молодым талантам получать научные знания, звания и, конечно же, издаваться, ибо чуть ли не абсолютный критерий научного вклада сотрудника - печатные страницы публикаций. Рукописи

будущих больших и малых книжек стекались ко мне для редактирования и дальнейшего прохождения в печать.

Молодой директор, доктор экономических наук, В.П.Чичканов, прибывший из Свердловска, при всем своем добродушии четко понимал цену газетного слова и присказки о том, что на копейку поработал, общественности преподнеси на рубль. И, усмотрев во мне журналистское перо, неукротимо действовал в этом направлении. Пространные поздравительные телеграммы юбилярам-иксам были детской раскраской в сравнении со следующими заданиями.

В 80-х годах в высоких академических кругах лишь намечалась работа над программой «Дальний Восток». Это была первая ласточка. Позже их появилось полдюжины. В научных отделах еще только шло обсуждение новенькой, намечалась ее концепция, а Валерий Петрович, вызвав меня в кабинет, не требовал, а доверительно делился своими мыслями: «Вот сегодня ночью не спится. С болью думаю, ученые работают над актуальными проблемами. А кто о нашем институте знает? Так вот. Не подготовить ли нам постановочную статью для публикации в «Правде». Идея – как будет развиваться Дальневосточный регион в свете новой программы?» «Где взять фактуру?» – этот вопрос удивил директора, и он обиженно посоветовал: «Возьмите в отделах заключительные годовые отчеты, сделайте выборку по отраслям. Мне вас учить, как это делается!» Я горько вздохнула, не представляя, с чего начать.

Собрала вторые (первые давно ушли во Владивосток) экземпляры отчетов-простыней с таблицами, графиками, с устаревшими, не по вине ученых, статистическими данными. Ошеломила густота словесного тумана, штампов, канцеляризов, где в каждом абзаце производительные силы погоняли аналогичные силы, а проблемы сидели и лежали на проблемах. Как перевести на человеческий язык эту наукообразность и в популярном варианте пробиться на страницы главной газеты страны? Задание для меня, пишущей на основе живых фактов, за которыми людские сердца, устремления, поступки, – новое, чуждое. Если бы не помощь тогда еще молоденького кандидата наук, боготворимого начинающими учеными за светлую головушку, Павла Минакира, вряд ли можно было бы расшифровать словесные «лимпомпо», выстроить статью. Как ни билась в поиске синонимов, пытаясь внести свежие слова, получилась она железобетонной, для узкого круга экономистов. Такую и «Тихоокеанская звезда» не напечатает, не то, что центральная газета.

Магическим образом статья без купюр на 400 строк была опубликована в «Правде». Секрет прост. Помимо профессора Чичканова в авторах оказался академик, председатель ДВНЦ АН СССР Н.А.Шилов. Известный геолог, очевидно, рукопись и в руках не держал, но имя корифея региональной науки, как «сезам» распахнуло полосы центральной газеты. Ни академик, ни профессор в свою компанию не взяли истинного автора, какого-то малоизвестного кандидата наук Минакира. И за Павла Александровича было обидно. Лишь позже узнала природу субординации, царящей в советских научных учреждениях, для несведущих любопытную.

Когда младший по званию, увлеченно и продуктивно работая над темой, получает значимые результаты, к примеру, новые научные знания, для публикации своего труда вынужден брать в соавторы шефа, чьи заслуги, как правило, в далеком прошлом, а в настоящем он владетельный князь судьбы молодого ученого. Имя «соавтора», если даже на букву «я», стоит на титуле первой. Эту технологию досконально усвоил мой добрый помощник. Несмотря на свои юные годы, Павел Александрович уже изрядно «попахал» на своих благодетелей от науки. Так что отсутствие подписи истинного автора ничуть его не удивило. На этот счет молодой ученый не откровенничал, но, по моему, «авторы» и гонораром с ним не поделились. А «Правда» в те годы на них не мелочилась, и молодому главе семьи – Минакир недавно женился на нашей сотруднице Валюшке Горюновой, ждали рождения сына - добавка к зарплате никак не помешала бы.

Жилось мне в новом коллективе уютно, бесконфликтно, но спокойствие нарушалось кипучей энергией директора. Вдохновленный публикацией в столичной газете директор был полон идей на ниве публицистики. Что на этот раз озарит профессора?

В садик из-за майонеза я крепко опаздывала. И когда взбежала по лестнице, в притихшей игровой оставалось трое малышей. Дочь радостно вскрикнув: «Мамочка!», повисла у меня на плечах. Я помогала ей завязывать ботиночки. Шнурок, как назло запутался. Сидеть на корточках в сапогах на высоком каблуке было неудобно, мешала сумка с майонезом, двухлитровой банкой молока, буханкой хлеба, а пышная, в белых кудряшках воспитательница, стояла надо мной и громко отчитывала «за позднее изъятие ребенка». Во мне росло раздражение на воспитательницу, тяжеленную сумку и то, что путь до дома не рядом – впереди еще одна гора.

Фантастически огромная луна выползла над площадью Ленина, любимую мной с детства. Менялись идеалы и эпохи, и трижды при мне менялись ее названия. А осенний почерк площади неизменен. Как заколдованная прекрасная царевна, недавно яркая от цветов, блеска струй фонтанов и фонтанчиков, она угасала. Из последних сил розовела gloria, пеларгония, безводные фонтаны замерли, как изваяния. И над низко повисшей луной такой простор, закольцованный фонарями, что на весь мир известная Старомыстская площадь в Праге на фоне нашей, хабаровской, вспоминалась пяточком. На фронтоне здания дома моделей лихо бежали строчки световой газеты. На табло в поднебесье высвечивалось время 20.00. А завтра в шесть утра мне бежать в гараж, пока ГАИ видит последние сны, на своей ожившей старушке буду осваивать движение по хабаровским горбатым перекресткам пустынного города.

Времени в Чехословакии зря не теряла, получила в школе «водичей» международные права. У нас в группе было 22 чеха, и я одна русская. С этими правами я могла объездить всю Европу. А вот в Хабаровске они силы не имели. В родном городе все пришлось начинать заново. Экстерном экзамен по теории движения сдала, практика давалась с трудом. Дороги в ЧССР – шелковые ленты, у нас же... да что там говорить!

Должна, обязана освоить вождение. Я так мечтала встретить мужа с целины на собственной машине. Это будет для него сногшибательным сюрпризом, ведь «Волга», доставленная нами из Чехословакии, была рухлядью.

Все мужики в нашем гарнизоне, от командиров до прапорщиков, как с ума посходили, когда военнотружущим Центральной группы войск разрешили перевозить через границу подержанные автомобили. И служивые всех рангов ринулись по городам и весям Чехословакии в поисках советского движущегося транспорта. Командиры с большими звездами покупали почти новенькие «Волги». Нам, среднему звену, со скромной наличностью чешской валюты, выпала обшарпанная, с ржавяющим кузовом, перебоями в двигателе вишневая посудина 60-го года издания. Однако экспортного исполнения, и мы были несказанно горды и счастливы. Она чудом доползла до Чопа, границы СССР, а уже в Хабаровске двигаться не желала. С контейнера ее трелевали и на тросах тащили на слободку Карла Маркса, во двор к родственникам, где простояла под снегом всю зиму. Тогда было решительно не до «Волги».

После возвращения из Чехословакии перед нами стояла другая житейская проблема – соединиться с 80-летней мамой. Рассказывать что такое обмен, думаю, не следует. Каждый второй хабаровчанин пережил этот кошмар. Наконец, вселились в квартиру на первом этаже «сталинки», не знавшей ремонта с момента возведения огромной печки, которая занимала полкухни. Все бы ничего, но кроме пары табуреток, иной мебели в новом жилище не было. И в магазине «Мебель», что близ колхозного рынка, мы стояли в очередях, на «записи», которую берегли зорче паспорта. Это напоминало послевоенный Хабаровск с очередями за хлебом. В отличие от тех времен каждый, жаждущий приобрести диван «Малютку» или кухонный стол, - а новоселов, вселявшихся в «хрущевки», тогда было немало - знал свой номер в очереди, зафиксированный чернилами на ладошке. На другой ладошке чернели номера очереди за холодильником, телевизором. И с этими «автографами» могли дежурить у магазинов в ожидании завоза товара неделями. А чего мне стоило, пока муж был на целине, превратить «Глашку», так мы окрестили старую «Волгу», в приличное движущее транспортное средство! Да еще и сама за рулем!

Многократно, трепеща и волнуясь, прокручивала сцену встречи. Эшелон с авторотой вероятнее всего придет на станцию Хабаровск-2. Володя выскочит из вагона, кинется к нам, будет кружить Лерочку. А я, взяв мужа под руку, гордо объявлю: «Экипаж подан! Глашка нетерпеливо ждет хозяина». – «Глашка жива? – вступая в игру, удивится он. - А кто же повезет нас?» - «Да я же, родной мой!» Представляю, как он изумится, обнимет, восхищенно скажет: «Вот это жена!». И я повезу его, как усталого принца, по городу.

«И мир перевернулся»

Глубокой ночью неожиданно раздался стук в дверь, потом короткий звонок и снова стук. Кто бы это мог быть?

- Почта. Срочная телеграмма. – Включив свет, полусонная открыла дверь, но почтальон почему-то не появился, увидела лишь протянутую мужскую руку с бланком для подписи. Что за чертовщина, ночной гость исчез как невидимка. Развернула телеграмму, и все померкло: «Ваш муж Рудик Владимир Павлович погиб 6 октября при исполнении служебных обязанностей - командир Арфенов». Что это? Чьи злые шутки? Мой 35-тилетний муж, добрый, умный, здоровый – и погиб. От шальной пули? Но ведь не война! Розыгрыш? А на меня наваливалась, давила громоздкая тяжесть, и то, что еще оставалось живым, застонало, закричало криком. Потом не помню. Лишь отдельные куски и очень ясно.

В глубокой ночи, с телеграммой в руке мы стоим с 12-тилетним сыном на чернушей пустынной улице Ленина, ловим такси. Хлещет порывистый ветер со снегом, будто вчера теплый, безмятежный вечер был в другой жизни. Едем молча на Большой аэродром, где дислоцируется командование Хабаровского авиаполка. С хрупкой, как тончайший серпик надеждой, что все это недоразумение. Но уже осознаю, такими вещами не шутят, и плотнее затыкаю платком рот, чтоб не слышно было рыданий.

При въезде на Большой аэродром нас останавливает караул. Мы, засыпанные снегом, заходим в теплое, полутемное «КПП». На лавках спят солдаты. Кручу ручку телефона. При тусклом свете лампочки, почему-то безмерно удивили голые ноги, торчащие с лавок, и пятки солдат, спящих богатырским сном, сапоги с портянками, валявшиеся рядом. И я поражаюсь, как можно так безмятежно, крепко спать, когда мир перевернулся.

И закутились похоронно-траурные муки. Очередная телеграмма с Упорово: «Телеграфируйте согласие на погребение тела капитана Рудика В.П. в Хабаровске». Да что они там с ума посходили? Где же его хоронить, под забором или на целинных полях? (Оказывается, моя телеграмма нужна для финансовой отчетности автороты). По телефону долго шла дискуссия о необходимости хоронить в парадном мундире. Как позже выяснилось, такового не нашлось - не на парады ехали. Обмывали тело мужа солдаты. (Об этом я узнала в Упорово). Они же сколотили грубый ящик, куда установили цинковый гроб со стеклянным окошечком.

О это окошечко! Тусклое в две ладошки, сквозь которое едва просматривалось, скорее угадывалось, чуть склоненное влево лицо любимого – оно еженощно являлось во сне: открывался гроб, и Володя живой, невредимый, только всегда грустный объяснял причины своего исчезновения. Он скрывался от всех, дезертировал: «А на самом деле, вот я, живой».- «Но ведь я видела тебя сквозь окошечко?» - «Так это был муляж, солдатики по моей просьбе сделали». Что, то - явь, а не сон, веровала, пока не просыпалась, и тогда невидимый вонзал мне слева в грудь нечто такое острое, что я физически ощущала ножевую боль – Его нет рядом, исчез навсегда.

Но когда мы с детьми уныло сидели у проходной штаба Дальневосточного военного округа на Серышева в ожидании вести, что «груз сто» из Тюмени отправлен, ни про окошечко, ни про ящик не знала. В кабинетах на верхних этажах этого грозного здания решались государственной важности военные вопросы. А мы каждое утро приходили сюда с большим узлом, в котором парадный мундир и все чистенькое, новенькое - последний наряд для покойного. Его доставят на самолете. Первыми об этом узнают в штабе. Во мне жила неистовая потребность успеть встретить Володю, Господи, гроб с его телом, в аэропорту - через полгода разлуки. Вот потому я с утра, окруженная детьми, с узлом наготове, дежурила у проходной, боясь покинуть ее хоть на миг. Ближе к вечеру, из глубин этого мрачного здания наконец-то появлялся какой-то тип с большими звездами и обещал: «завтра».

Было много времени, чтобы осмыслить случившееся. Почему Создатель не послал мне упреждающих знаков о надвигающейся беде, ни черных, провидческих снов, ни иных, хоть малых сигналов. Откуда-то усталой птахой прилетел и уже никогда не покидал навязчивый вопрос: что Он испытывал в последние секунды – страх, боль, ужас, облегчение? Об этом я никогда не узнаю. Но достоверно известно из древних русских поминальных книг, синодиков, что в третий день лицо умершего изменяет свой вид, в девятый день разрушается состав тела кроме сердца. А на 40-й день разлагается и сердце. До второго разрушения оставалось три дня, когда вместо большого начальника к проходной спустился юркий, тщедушный лейтенант с командными интонациями и сразу же пошел в атаку: «Что вы таскаетесь с этим узлом? Командование берет похороны на себя. Когда? Звоните, но не приходите сюда больше. Вам запрещено встречать груз сто». Черта с два. Да я ползком поползу, но буду встречать мужа в аэропорту.

Телефона у меня нет, и мы снова весь день дежурим в штабе. На этот раз уже с Лю. Моя верная подруга студенческих лет прилетела из Ленинграда. Взяла под свое крыло моих

полуголодных детей, забытую бабушку, распоряжалась всем ходом событий, принимала решения и ни на шаг не оставляла одну, зная мою забубенную головушку, где кричала единственная мысль «не жить». Сознание, на кого оставляю ребятишек, заслонила пустота. И на перекрестках я шла на красный свет.

Только на седьмой день стал известен номер рейса самолета из Тюмени. Нам велено было ждать гроб дома и на следующий день готовиться к похоронам. Но разве командир мне указ.

Оставив сына за старшего в доме - берегли психику мальчишки, отправились с Лю на грузовой двор аэропорта, туда должны доставить гроб. Но когда вышли из автобуса, на остановке с фонариком уже стоял Сынок. Фонарик оказался кстати. Рядом фейерверком огней сверкали «Ворота Дальнего Востока», как принято называть Хабаровский аэропорт, а длинная дорога, ведущая к грузовому двору, где нынче Терминал – сплошной мрак, да и сам обширный двор освещен единственной, тусклой лампочкой. Сюда одна за другой подъезжали на малой скорости машины с грузом. Два офицера, которых мы заметили сразу, бегали за каждой, цепляясь за кузов, и заглядывая внутрь, в поисках гроба мужа. Я поднялась на ступеньку подъехавшего грузовика и слезно, с ненужными подробностями, молила водителя:

- Мой муж. Молодой. Погиб. Его должны привезти с целины из Тюмени. Отвезите ради Христа меня на взлетное поле, где должен приземлиться самолет.

- Пассажиров нельзя на поле. Ну да ладно. Вот разгрузусь, и поедем.

В кузове грузовика валялся одинокий, грубо сколоченный из старых досок ящик неизвестного назначения. Сын направил луч фонарика в нутро кузова, и я в изумлении застыла, увидев до боли знакомый тревожный чемоданчик Володи, почему-то перевязанный веревками. Кто его сюда забросил? А где же гроб? И тут осознала – гроб внутри этого безобидного ящика!

Говорили, что причина смерти ДТП – дорожно-транспортное происшествие. При каких обстоятельствах никто не знал, кроме лейтенанта, сопровождавшего гроб из Упорово. И я, прижав его к стенке, не церемонясь, потребовала: «Как это было? Говорите все. Я выдержу». Он что-то стал мямлить: «На месте происшествия не был. Капитан погиб при исполнении. На линии машина была неисправна». Лейтенант уперся как осел, видимо, ему велено именно так говорить.

Сразу же после похорон, которые почти совпали с девятью днями, оставив маленькую дочь фактически на чужого человека, сотрудницу нашего отдела, добрейшую женщину Галину Южакову, а бабушку на сына-подростка, я вылетела в Тюмень. Людка уговаривала не делать этого, чтобы, как она говорила, не разрывать себе сердце до последнего клочка, но я ничего не хотела слышать. Как так? Я внедрялась в чужие судьбы, как журналист исследовала их по крупицам, а что случилось с отцом моих детей, преждевременно покинувшим белый свет, – не ведаю, не знаю, будто я беспамятный манкурт. Работу в институте забросила, пусть выгоняют. Но Чичканов поступил гуманно, оформив все эти дни как отпуск без содержания. Поехать со мной в Тюмень Людмила не могла, у нее истекал недельный отпуск, она едва успевала на работу. И мы расстались с ней в Тюменском аэропорту. Она полетела дальше, в Ленинград, а мне предстояло еще трястись ночь на поезде в сторону Упорово, искать место дислокации автороты, единственный ориентир которой – березовая роща. О ней я узнала из последнего письма, полученного в тот вечер перед страшной телеграммой.

«Откуда, не знаю, предчувствие чего-то хорошего, желанного. Может быть, от того, что завтра наш юбилей и нахлынули воспоминания обо всем хорошем, что связывает нас в жизни все эти годы, от первого момента встречи и до последнего вечера на перроне вокзала. Все это было страшно давно, даже трудно представить, как много уже пройдено. Я читал недавно у Алексина в «Меже», что запоминаются не годы, месяцы, а дни, часы и минуты. Вот эти минуты счастья всплыли предо мной накануне нашего юбилея. Как ни крути, не переворачивай страницы пережитого, много счастливых дней и часов выпало на нашу с тобой долю, родная моя. Был я сегодня в березовой роще. Есть такая роща на окраине райцентра, где располагается штаб автороты. Шуршание золотой листвы под ногами, звон пчел, стрекот кузнечиков, легкие порывы ветра – аж сердце зашло от немого восторга, упал на листву и пролежал, наверное, полчаса, всматриваясь в глубину времени. Я окоснел, право, не могу описать своих чувств, своего состояния, но, кажется, это можно назвать «грустное счастье» - то, что было со мной в этой роще. Я бродил по холмам березовым, никто мне не мешал, брел, глядя под ноги, закинув руки за голову, и мне казалось, за следующей березкой, за

следующим подъемом увижу тебя. Мне так хотелось этого, что я долго не уходил оттуда, хотя прошел уже обед, и нужно было ехать в свою деревню, нужно было работать. Но этот час я взял у суеты мирской, и так не хотелось возвращаться в реальность, в действительность. Однако в том то и суть жизни, чтобы возвращаться в дело, в суету...»

Вся в угрожающе черном (так меня нарядила в дорогу подруга, а в душе было еще чернее) я шла по тропинке через эту березовую рощу. Но не слышала ни пенья птиц, ни шороха листьев под ногами, лишь видела, тревожные, начисто оголенные вершины берез, нервно мотавшиеся под порывами холодного, чужого ветра. С отчаянием думала, приехать бы мне сюда дней на десять раньше. Может быть, удержала, не свершилось бы. Хотя мама, рыдая и молясь, твердила одно - от судьбы не уйдешь, такая уж у него злосчастная доля. Мое воображение многовариантно рисовало последний день жизни мужа, выстраивая приблизительную схему случившегося. Машину водить он не умеет. Малыша посадил за руль. А что произошло потом? Об этом я узнала буквально через час, не покидая березовой рощи.

Издали слышался автомобильный сигнал и мимо меня резво проскочил «Газик» с оживленными пассажирами в офицерских мундирах. Телеграммы о приезде я не давала, решила самостоятельно, незаметно пройти тот последний день жизни Володи, информацию получать без свидетелей от рядовых солдат, только не от командиров. Но не тут-то было. Автомобиль затормозил и, дав задний ход, преградил мне путь. Дверка распахнулась, из кабинки выскочил офицер в майорских погонах, крепкий, мужиковатый с волевым лицом и знающий цену своим звездам в этой глухомани.

- Догадываюсь, вы из Хабаровска. Я командир дальневосточной автороты Арфенов. Прошу в машину. Идти еще далеко. – И, пересаживаясь в тесноту мундиров на заднее сидение, уступая переднее, майор озабоченно продолжал: Что же вы телеграмму не дали, мы бы встретили вас в Тюмени. О цели приезда тоже догадываюсь. – Я угрюмо молчала, набрав в рот воды, а он говорил, и сидящие в тесноте с ним подчиненные напряженно умолкли, изредка поддакивая, когда это требовалось командиру. Начал без вступления:

- Произошло следующее. В одном из взводов случилось «ЧП» - солдаты с местными парнями передрались. Я по рации вызвал капитана и приказал выехать на место происшествия. К концу уборочной, кроме этого «газика», нет практически ни одной машины в исправности, а на той, что поехал капитан, дверка не закрывалась, водитель пользовался «секретом». Выехали они из лагеря втроем. В суете о «секрете» забыли. Водитель набрал скорость и на резком повороте, дверка распахнулась...

- А зачем надо было брать в кабину двух солдат, когда там и без того тесно?

- Один солдат мог рулить, другой разбирался в приборах. Такие у нас специалисты. А еще дожди на полмесяца затянулись. Дороги фронтовые. Вот, второй день солнышко, к счастью. Лагерь сворачиваем, на этой неделе домой, в Хабаровск.

«Газик» остановился у солдатского городка, состоящего из десятка домиков барачного типа. Между деревьями протянуты веревки с солдатскими портянками, гимнастерками, кальсонами на просушку. Здесь же на кострах в больших котлах кипятили белье, варили еду. Полураздетые солдаты, громко переговариваясь, на октябрьском холоде чистили картошку, кололи дрова, протягивали новые веревки. В лагере, окруженном лесом, была такая акустика, что все солдатские разговоры доносились, как по рупору. Меня не покорили ни маты, ни этот странный, полураздетый табор. Я сразу впилась глазами в мосток над глубокой, узкой речушкой – здесь Володя перед смертью принимал ледяные ванны, в ряд домиков, выискивая Его и не находя. Неожиданно, без всякой команды, в лагере произошло какое-то сильное движение с приглушенным: «Хабаровск, капитан». Не сговариваясь, вмиг побросав дела, солдаты, в чем были, в майках, сапогах на голую ногу и без них, стали скапливаться в один круг, шепчась, развернулись вдруг в стройную, длиннющую шеренгу-линеечку, ведущую к крайнему домику. Его домику! «Не ожидал. Солдаты молодцы, все-таки сообразили», – удовлетворенно произнес Арфенов, возглавлявший нашу процессию.

А уже к вечеру доброжелательность командира, как рукой сняло, он был в сильном гневе и отчитывал меня, словно солдата, нарушившего воинский устав.

- Кто вам разрешил по взводам мотаться без сопровождения? Самовольничаете на моей территории. – Арфенову уже доложили, что я встретила с Малышом, тщедушным, запуганным

солдатином, переговорила со всеми прапорщиками, с полудюжиной солдат, кто общался с моим мужем в его последние дни. Была в местной прокуратуре, у судмедэксперта. Причина смерти - травма несовместимая с жизнью. Видя, что я не противоречу, командир сменил гнев на милость:

- Свою вину я знаю, в кусты прятаться не буду. А сейчас поедем ужинать в наш столичный ресторан.

Под этим громким названием подразумевалась типичная деревенская столовка в райцентре. Очевидно, с приездом авторот со всех военных округов страны, здесь для офицеров оборудовали просторный кабинет с занавесками, скатерками и даже букетиками полевых цветов. Нас, к моему удивлению, ждали. За сдвинутыми столами, с закусками, бутылками сидела вся «верхушка» авторот, старшие командиры, политработники. При нашем появлении они в молчании поднялись и также, не сговариваясь, тихо сели, взирая на командира и слушая его поминальную речь о блестящих организаторских способностях безвременно погибшего капитана, и о том, как его любили солдаты. Пили молча, закусывали, уткнувшись в тарелку.

Я не видела склонившихся лиц, только погоны - звездочки и звезды. Тишину прервали глухие крики, доносящиеся с площади, и неожиданный визит взводного, шепнувшего рядом со мной сидящему Арфенову, что чьи-то солдаты прямо в центре поселка, напротив здания райкома партии, устроили свалку, одного избили так, что у того вытек глаз. Видно, подобные эпизоды были не в новинку: сидящие за столом старшие командиры не вскочили с мест, чтоб вмешаться, а Арфенов полупшепотом, грубо осадил взводного: «Не знаешь, что делать? Возьми помощников, повяжи хулиганов, их список мне сегодня же представь. Пострадавшего срочно в больницу, возьми мой «газик». Чуть позже, извинившись, поднялся, подошел к окну и, отодвинув занавеску, проследил выполнение.

В силу настырного своего характера я посчитала, что каждый сидящий за столом принял на грудь по полбутылки водки - стартовая доза для мужика, после нее, для потребляющего, возникает желание повторить. Так оно и случилось. Если здесь, за накрытой скатертью незапланированных речей не было, и этот печальный ужин прошел в тягостной тишине, то все было иначе, когда мы оказались в лагере.

В домике штаба 13-й автороты собрались приближенные к командиру офицеры. Они успели отовариться в райсельмаге, захватив с собой бутылки. При тусклом свете лампочки на двух сдвинутых табуретках поставили пять эмалированных кружек, разливали по булькам. У меня старая журналистская привычка еще с Колымы, проверенный практикой тактический ход. Чего таить, задушевные интервью нередко сопровождаются водкоизлиянием. Если я хочу разговорить собеседника, когда поставлены эмалированные кружки, делаю вид, что пью по полной со всеми, но моя оказывается непочатой. Нужна ясная голова, чтобы запоминать, ведь на застолье блокнот не развернешь, и диктофона нет. Налили раз, два, и началась стихийная дискуссия, говорили все разом, ну а сначала командир, по-домашнему, доверительно, будто сидели на родной кухне:

- Високосный год выдался тяжелым. Гробов столько, что старожилы не припомнят. На военных учениях планируется три процента смертельных случаев. Здесь такого плана не предусмотрено. А получается, что смертей на уборочной больше, чем на учениях. Про увечья уж не говорю, сами сейчас слышали. Но нашу автороту Бог берег, хоть и номер ее нехороший, тринадцатый. По всем показателям мы были впереди.

Его прервал офицер, тоже в майорских погонах, но молодой, Арфенову почти в сыновья годится. Откуда такие юные майоры берутся?

- И красное переходящее знамя из месяца в месяц было нашим. А сейчас мы его потеряли. — На мой наивно-недоуменный, немой вопрос «Почему?», вспыхнул словами: - Из-за вашего супруга. Вы меня, конечно, простите, уважаемая дама, хоть вы и в трауре, но ваш муж не слишком вписывался в суровую армейскую жизнь. Солдата надо в строгости держать, а капитан проявлял интеллигентские замашки.

- Он, говорят, еще и стихи писал

- Какого-то Тувима, что ли, цитировал.

- Иду как-то мимо солдатской казармы. Тишина. Думаю, чем это они занимаются? Оказывается, капитан им стихи Симонова шпарит. Это, помните, когда дожди пошли.

- А что же здесь плохого? — вырвалось у меня.

- Здесь армия, а не клуб поэзии, - спокойно пояснил Арфенов.

- Вот, вот, стишки, отеческие напутствия. А солдатня только язык мата понимает. Сколько раз они его подводили. Я говорил капитану: ты, что с ними церемонишься? Молчит. Дешевую популярность среди подчиненных зарабатывал.

- Валерий, ты уж лишнее не говори, - резко прервал его командир и задумчиво продолжал.

- Последнее время капитан что-то стал хандрить. Он все на почту мотался. Возвращался расстроенный. Что скрывать, мы все чертовски устали, и я не придавал значения его хандре. Поверьте, когда сообщили, что кто-то из наших офицеров на машине разбился, сердце у меня заныло, подумал о Рудике. Лично я его уважал. А тебя, Валерий, учить, наверное, бесполезно, о покойниках или говорят хорошо или помалкивают.

И чтобы перевести накалившийся разговор об утраченном знамени, стихах, от которого я сжалась, в спокойное русло, командир извлек из тумбочки и подал большой конверт. Я открыла его. В глаза бросились слова телеграммы: «Солнце мое, любим, ждем».

- Здесь ваши письма. Капитан их ждал, пришли позже. С Рябовым в Хабаровск забыл передать, закрутились с отправкой гроба. - Но молодой, разгоряченный юнец-майор не думал успокаиваться, наступая на командира:

- Не правда ли, вот в этом углу всегда стояло переходящее красное знамя. Где оно? А знамя мы должны были увезти в Хабаровск. Посмотрю на тебя, когда в дальневосточном штабе округа будешь докладывать об итогах уборочной. Подполковничьих звезд тебе не видеть. В майорских пойдешь в запас. Капитан подвел всех своих товарищей, всю автороту, зачеркнув все достижения коллектива.

Господи, куда я попала? Победа в соцсоревновании превыше человеческой жизни? Как все это можно совместить, выдержать. Значит, есть две правды, одна за поминальным столом, другая – вот здесь с эмалированными кружками, при тусклой лампочке.

Здесь я ни минуты больше оставаться не могла. С нестерпимой горечью в душе той же ночью - разбитая, раздавленная, на попутной машине покинула последнее место пребывания Володи, ставшее для него гробовой доской.

С Хабаровского аэропорта, сразу же забрав у Галины Викторовны Южаковой дочь, поправившуюся, с розовыми щечками: «Каждый вечер перед сном тетя Галя поила кефиром и утром сильно кормила», - отправилась на кладбище. Скажете, баба чокнулась? Но что поделать, только здесь, среди надгробий, оказавшись в седьмом секторе, невидимый мягко извлекал не проходящую боль. Ища успокоения, сердце вело меня на погост.

Уезжая, могилу оставляла в цветах, ухоженную. По этой части постаралось командование авиаполка. А хоронили Володю с необыкновенной помпой. Согнали, наверное, полтысячи солдат, следовавших за гробом. Это я видела уже позже на фотографиях, которые мне вручил полковой фотограф. Предварительно очистив в седьмом секторе многолетнюю гигантскую свалку, устроили плац для ораторов, полкового знамени, автоматчиков, которые палили в воздух. Позже, сосед по квартире, старый служака, присутствовавший на панихиде, восхищенно говорил: «Катя, так хоронят только генералов!». Но я была в таком затянувшемся шоковом состоянии, что, обхватив руками гроб, кроме окошечка в две ладошки, ничего не видела. Может Володиной душе, Оттуда, сверху, если дано было с высоты всю эту пышность обозревать, которую я приняла за чистую монету, - потому так больно ударили откровения сослуживцев в лагере, - то уж Он-то знал всю ее фальшь и по чьей случайной указке из старомодного здания на улице Серышева она свершена.

И сейчас, спустя три дня после похорон, подходя к родной могиле, не узнав ее, ужаснулась: вместо холмика - яма, земля провалилась так, что увлекла за собой тумбочку с венками. «Память в наших сердцах останется навсегда» – сквозь сжатые зубы цитировала я, стоя на коленях над провалившейся могилой. И с несчетной попытки, каждый раз соскальзывая в яму, и откуда взялись силы, но железную тумбу извлекли. Земля уже подмерзла, и мы с сыном бросали в разверзшуюся могилу тяжелые комья. Чтобы весной начать все сначала.

Стоит ли об этих мелочах писать? Будничное, святое занятие - забота родных и близких о погребенных. Но нет сил молчать. Двадцатилетнее хождение с разбитым сердцем в страну последнего приюта дает мне право крикнуть: старое Хабаровское кладбище – позор нашего прекрасного города. Удивительного города, где в труднейшие реформенные годы, когда врачи и учителя не получали зарплату, - на двух площадях в потрясающе краткие сроки были вознесены изумительной красоты храмы. Конечно, не для того, чтобы на их мраморных ступенях, под малиновый перезвон рассадить нищих и убогих. У храма сидеть куда уютней, чем у врат последнего

приюта, куда едут на автомобилях, а с пешей бедноты и взять нечего. Однако, вступая на городское кладбище, можно оказаться в тупике. Не говорю об ухоженных центральных аллеях, но попробуйте шагнуть вглубь – щели лабиринтов-проходов между несметными пиками оградок, грязь, вонь, свалки, могила на могиле.

Четверть века над хабаровским кладбищем царствует один человек - В.П.Сугробов. Я знала его молодым, жизнерадостным, участливым. Неутомимый тогда, во все вникавший директор комбината, Владимир Петрович мог заинтересованно выслушать заказчика. Рисковал в экстремальных ситуациях: проливные дожди, а заказчице-вдове приспичило в годовщину смерти по непролазной грязюке транспортировать полутонное надгробие.

У нас, опекающих могилы, не раз возникала необходимость в указующем персте директора кладбища. Причина тому - трехметровая свалка, вершина которой, покачиваясь под порывами ветра, сползала на родные могилы, перекрывая доступ к ним. После обращений в администрацию она исчезала. И снова, как феникс, после родительского дня воспаряла в высоту. Но к тому времени, пробиться на прием к Сугробову уже было невозможно. Он стал недосягаем для рядового клиента.

Однако недавно брала у директора интервью по поводу вандализма на могилах. Передо мной сидел усталый, холодный чиновник. Господи, что сделало с ним время и домогательства родных и близких покойников, готовых ради хорошего места на старом кладбище снять последнюю рубаху, а самого Сугробова посадить на божницу. Мой собеседник говорил сквозь зубы, раздражаясь, что, мол, воду в ступе толочь – окультурить облик старого кладбища никому не по силам, вот разработают близ Матвеевки новый надел, присмотримся к мировым стандартам. Оживился, когда в его просторный кабинет пришли торговцы-китайцы с товаром - неподъемным куском красной ткани на обивку гробов. В жарком споре, договорившись о цене и отпустив граждан соседней страны, снова погас. Говорить с ним было крайне трудно. И факты для материала «Миг невозвратного отбытия» пришлось собирать у его разношерстной команды – гробовщиков, землекопов, учетчиков. Конечно, не остался невостребованным личный, многолетний опыт хождения на родную могилу.

Меня спросят: «Ну что ты вцепилась в это кладбище, заиклилась на нем? Неужели других, более интересных тем не нашла?» Все справедливо, мрачная тема и о ней все, лишний раз не стоит поминать. И все-таки. Усопшему, конечно, абсолютно безразлично – в какой яме, близ какой свалки лежать. Но на старое, ныне закрытое кладбище будут приходить дети, а если повезет, то и внуки, утопая в грязи, чтобы возложить цветочек, поставить поминальную свечу. И пока мы живы и способны возмущаться антисанитарией, давайте же что-то предпринимать, чтобы отведенные пять квадратов земли последнего пристанища не отпугивали.

«Кафедральный собор не утешил»

Сказать, что горе мое было безутешно – ничего не сказать. Пережившие подобную утрату вдовы со знанием дела обещали, вот пройдет полгода, на худой конец - год и уж точно полегчает. Не легчало. При мысли, что Его я никогда больше не увижу, окружающее утрачивало смысл. Немного приходила в себя, когда заходили в дом подружки с крепкими напитками. Мир ненадолго светлел, казался не таким безнадежным – «Над розовым морем светила луна». А потом в ночи приходил Он, усталый, грустный с одним и тем же рассказом, что жив, вынужден скрываться. Пыталась трезво оценить сновидения с позиций нейрофизиологов, утверждающих, что мозг во сне не просто закрепляет полученную информацию, но и перерабатывает ее, прогнозирует, а иной раз и творит. Но эти знания не помогали. Утро было нестерпимым, я открывала глаза, и в сердце со шквальной силой обрушивалось - Его нет, лежит там. С этой скорбью я собирала детей в школу, шла на работу, беспрестанно твердя стихи Н. Рубцова: «Родимая! Что еще будет со мною? Родная заря уж завтра меня не разбудит, играя в окне и горя". И о счастье, если это была суббота, – на кладбище боль отпускала.

Понимала – погибаю. Но режиссировать свою жизнь иначе не получалось. Схватила, как утопающий за соломинку, за совет сходить в церковь. И отправилась, повязав платочек, в кафедральный собор, что на улице Ленинградской. Но, видно, пришла в неудачный день.

Отпевали какую-то почерневшую от старости бабку. Горели свечи, с икон изучающе, как через века, смотрели пронизательные очи, откуда-то доносилось нежное, трепетное двухголосье, неся тихую печаль по ушедшему. К кому обратиться в храме? Священник отпевает и ни единой души, близкой к священнослужителю, кроме прихожанки с задумчивым лицом за окошком, где продавали свечи. И я сунулась к ней и почему-то совсем незнакомой поведала о своих муках, просила о помощи, жить больше не хочу, останется двое сирот. Она засуетилась, стала говорить непонятное – если не сорокоуст, то закажите проскомидию, это будет стоить столько-то. Притащила мне на обрывке газеты горстку земли. Какая «комедия», зачем эта земля, мне прихожанка не успела объяснить, ее позвали к окошку новые покупатели свечек. В тот момент душевного слома, окажись я в православном ли храме, католическом или во вредоносной секте, где бы выслушали, согрели словами, поплакали вместе, – я была готовым, послушным материалом: лепи, формуй фанатку-сектантку, мое истерзанное сердце устало болеть, искало утешения. В нашем храме не получилось.

И снова три измерения, в которых протекала жизнь: дом - работа – кладбище. Ходить одной туда было небезопасно, и я таскала за собой всех своих подруг. Не раз, в свои отпускные дни, со мной ходила Вера Побойная. Брала она отпуск, как правило, в июне. Уставшая от напряженной работы, задолго строила заманчивые планы отдыха - не прикасаться к перу и бумаге, в шляпке, с Зосей, - у нее был премилый пекинес - гулять по набережной и по своему любимому Амурскому бульвару. Позже, на смену Зоси появилась Алиса, но планы оставались неизменными. И стало традицией - отпуск Веры мы ознаменовывали визитом на кладбище.

Спустя полгода после моей утраты, Вера Павловна мужественно перенесла «металла голос погребальный» - скоропостижную смерть 54-летнего Бориса Побойного. Муж умер на даче. С утра, выпив чашку кофе, пошел копать грядку под огурцы и упал. Разрыв сердца. Вера грешила на неадекватное отношение мужа к своему здоровью. Скоропостижная смерть повергла ее в одиночество, но не сшиблас ног, когда со зловещим упорством стали повторяться приступы равнодушия к работе и жизни.

Мы шли с Верой по пыльной кладбищенской дороге. По обе стороны ее толпились надгробные памятники, скорбные бюсты, таблички с именами ушедших людей. – Таинственное, мистическое зрелище, ведущее нас по миру «необъяснимому научным и повседневным опытом». Шли мимо экзотической скульптуры цыганского Барона, сначала к Борису, похороненному рядом с мамой Анастасией, человеком дивной доброты и всепрощения, сестрой известного детского врача профессора Анатолия Пиотровича, навещали ушедших друзей.

И, наконец, последней транзитной точкой была могила моего Володи. Пока я готовила бутерброды, разливала напитки, Вера садилась на хлипкую скамеечку, отмахиваясь от комаров, смотрела на барельеф, освещенный заходящим солнцем, размышляла вслух: - Когда хоронили Владимира, «тозовки» говорили, заметь, с сочувствием: хоть одной нашей бабе повезло в личной жизни, и на тебе – гроб. Вот чего не хватало парню? Тридцать пять лет. «Земной свой путь, пройдя до половины», ему бы жить да жить. Кроху-дочь оставил, вдова расхлебывай. Мужики, они слабаки» Чтобы не показаться сентиментальной, слабовольной, не решалась сказать и об изматывающих снах, в которые из ночи в ночь приходил Он. Вера бы тут же решительно посоветовала обратиться к психотерапевту.

Сколько прошло лет – год, два, не помню, но Он резко прекратил свои визиты по ночам. Без всякого психиатра. Это случилось, никто из атеистов не поверит, после посещения Екатерининской церкви.

Институт выделил мне путевку в санаторий Пярну, что в Эстонии. Не лучшее время года - ветреный, холоднящий в этих краях апрель. На пустынный берег беспокойного в белых бурунах моря хоть в шубе выходи. Только крикливым, мощным стаям чаек, разжиревших на санаторных харчах, ни холод, ни ветер были нипочем. По утрам они будили своим криком курортников и ждали, когда из столовки принесут завтрак.

Впервые оказавшись без детей, игнорируя лечебные процедуры, здоровый образ жизни, не замечая праздничных людей, я не находила себе место. И черт меня дернул поехать в такую даль, пошла на поводу врача, мол, надо хоть ненадолго сменить обстановку. На 24 дня характер жизненного пейзажа оказался окончательно сломленным: без детей, попытка жизнью на чужом взморье усугубилась.

Приближалась православная пасха. В этот день на Пярну выпало столько солнечных лучей, столько тепла, что, казалось, поголубевшее море смеялось вместе с чайками. И ноги понесли меня

на далекий едва слышный звон колоколов. Единственная в Пярну Православная Екатерининская церковь, утопавшая в роскоши, не могла вместить всех прихожан. По-весеннему нарядно одетые люди стояли на парапете. Через распахнутую дверь был слышен ясный, теплый голос священника, подхваченный хором «Богородица, дева радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою» - любимая мамина молитва. Я протиснулась вперед, увидела умные внимательные глаза, благородный лик священника и безоговорочно уверовала в его истинность – поможет. Твердя главный тезис поучения Владимира Мономаха: «... и убогую вдовицу не давайте обижать сильным», сотни раз тихо извиняясь, пробралась поближе к амвону и приникла к стопам священника. Не имея понятия, можно ли в такой святой день отпевать погребенного, в минутные перерывы, когда пел хор, высказала свою просьбу. Глянув на меня усталыми, хорошими глазами, священник произнес: «Служба шла всю ночь, я устал. Но через два часа приходите».

В ожидании, беспечно прогулилась по площади, рассматривая старинные шпили. А так как на обед в санаторий не успевала, зашла в уютную кафешку. Зная, что без сопровождения кусок в рот не полезет, да к тому же праздничный, пасхальный день, после короткой внутренней борьбы все-таки заказала, антихристка, сто граммов коньяка. Разве после этого позволено идти в храм? Стыдобушка, но мне все тогда было безразлично.

После отпевания этот позорный факт я не стала прятать в нижние этажи памяти. Восставшая совесть на территории одного «я» обрела силу стоп-крана. Тихие, глубокие слова священника сквозь нескрываемое огорчение, сострадание: «Дочь моя, у тебя двое малых детей. Не погуби их и душу свою не губи» - стали тем рычагом, который удержал от падения, пробудил стыд и волю к переоценке себя. Уставший человек в золотистой рясе из далекого храма тронул меня умным вниманием и почти запредельным, душевным проникновением в чужую беду. Он никому не доверил отпевание мужа заблудшей вдовы из Хабаровска, сделал это сам и с таким энергетическим вдохновением, что в тот момент душа моя будто вознеслась вместе с душой Володи ввысь.

«И если сердце, разрываясь, без лекаря снимает швы» - твердила я, словно очнувшись. Рубцы остались, но впервые спала крепким сном без сновидений - по мановению волшебства боль отступила. Просто какая-то мистика. Поняв, что лечение состоялось, собрала вещички, бережно упаковала земельку и большой церковный лист, где с древнерусскими ерами крупным шрифтом выведено «Жизнь вечна и бесконечна», я вылетела в Хабаровск.

«Адам из Свердловска»

«Адам, я не дал тебе ни формы, ни определенного места в мире. Но я дал тебе глаза, чтобы видеть его, и руки, чтобы придавать ему форму. Теперь только от тебя зависит, опуститься ли тебе до уровня скота либо подняться до высшего уровня божественных существ». Смысл этой фразы Пикко де Мирандолло шел рефреном в моих письмах к сыну-студенту в Ленинград в разных смысловых значениях: не бояться несовместимых контрастов бытия: «то - до небес, а то – к нулю», обрести свою житейскую нишу, держать внутреннюю перспективу – отделять важное от неважного. Нет, это не общие фразы. Для тех, кто ищет себя в этой жизни, они могут стать вешками в пути. Пусть словесные, но они, как спасительные начала в зыбком пути, в непогоду жизни. Если честно, я писала скорее для себя, эти вешки помогали и мне окончательно не потерять самоуважения в незнакомой научной среде, куда забросила судьба.

Институт наконец-то покидал второй этаж, взятый в аренду на улице Серышева, и переезжал в свое собственное здание. Начали строить его при Чичканове. Судьба нашего бывшего директора, по возрасту, моего ровесника внешне складывалась как в сказке. Не прошло и двух лет его пребывания в нашей провинции, и Валерий Петрович получил звание члена-корреспондента Академии наук СССР. К такой вершине даже крупные ученые идут десятилетиями. Но к этой категории завоевателей научных Олимпов уроженец глухой уральской деревни с непоэтическим названием Гнилое, Валерий Чичканов отношения не имел. У него был иной темп движения вперед. С измательства. Трудно давалась математика, - а в школу он ходил через тайгу за семь километров в другую деревню, - вместо двух заданных на дом задач, решал пять. В студенчестве - нелады с

английским языком. И листы ватмана со склонениями и спряжениями - на стенах над столом, кроватью, в туалете и чуть ли не на потолке.

Удивительное это поколение - дети войны! Если исходить из версий двух великих Елен Блатовской и Рерих, что человечество является простой игрушкой Космоса и биополе каждого человека связано с космическим магнитом, который сообщает, намагничивает человеческие устремления, вызывая «пульсацию жизненных процессов», то, полагаю, именно детей войны, шестидесятников, коснулся «огонь центров», пробудив духовные излияния, животворящие нашу российскую землю. Возможно, ошибаюсь, но так хочется в это верить.

Спросите себя, мои ровесники-хабаровчане, кто помнит войну и годы после нее. В нас был некий стержень, чувство долга, высокая вертикаль духа, цель, когда доход, деньги были вторичны. Первично не пошлым, как нынче слоганом, а негромким гимном сердца звучало: «прежде думай о Родине». Безумное социальное окружение, в котором мы оказались в свои преклонные годы, на попу перевернули некогда святые моральные ценности. Но до этих времен, к счастью, еще было далековато. Да и не все в том времени было радужно.

Чичканов не пришелся ко двору крайкому партии. Сам виноват. Прибывают на хабаровскую землю «варяги» из Москвы - новые руководители и прямо с аэропорта первым делом спешат в крайком представиться, получить «цеу» – ценные указания. «А я с самолета сразу - в Институт. На меня местные партбоссы обиделись», - удивлялся позже Чичканов.

Тогда было принято освещать в местной прессе факт получения высокого ученого звания. Разрешение на публикацию материала давал крайком. Тот, кто читал очерк о Чичканове, «большая шишка» партийная, в присутствии подчиненных сострил, похохатывая: «Значит, из деревни Гнилое. Вот какие одноименные кадры к нам поступают». Реплика чиновника стала известна Валерию Петровичу и ранила его в самое сердце. Оскорбленный до глубины души Чичканов, забрал материал.

Но уже чуть позже непостижимым образом Чичканову удавалось добывать средства для строительства нового здания, для малышей молодых ученых - дефицитные тогда места в детские садики и ясли, для остро нуждающихся - квартиры, открывать отделения и филиалы института на Камчатке и Сахалине, в Магадане и Якутии. Видимо, А.К. Черный пожалел, что при создании Дальневосточного научного центра отказался разместить его в Хабаровске, отдав пальму первенства Владивостоку. Гадать не буду, по каким причинам, но в дальнейшем отношения Чичканова с крайкомом взаимовыгодно пошли на поправку: в качестве новых научных сотрудников появились знакомые – ба лица - престарелые функционеры от партии: Николаев, Перекальский, Романов, Ключиков (собкорр «Правды»). Отправляя своих верных помощников на пенсию, А.К.Черный проявлял заботу, трудоустроивал их в престижное учреждение. К чести новеньких, выражу общепринятое мнение, все они оказались хорошими «парнями». И куда делась чиновничья спесь? Высокомерие, чванство, пренебрежение к малым людям в стенах Института начисто испарились. Никто из них, понятно, ученых степеней не защитил, а жизненный опыт не заменил пустоты фундаментальных знаний. Но должность «научный сотрудник» и прибавка к пенсии крепко согревали. Дольше всех продержался В. Е. Вошковец, бывший, бессменный начальник управления торговли Хабаровского крайисполкома.

В академическом Институте Вошковец снова стал начальником, возглавлял наш отдел научной информации. Многолетняя работа его в этом качестве на старости лет была божьим наказанием. А что прикажешь делать: под его началом - семь бабенок, образованных, современных, далеко немолчаливых. Пальцы в рот не клади. Но Владимира Елисеевича мы уважали, точнее говоря, щадили его возраст, да и он умел обходиться с дамским корпусом, не влезал, как его ни втягивали, в бабьи сплетни, разборки: кого обошли премией, кого забыли поблагодарить в приказе, умел потребовать от подчиненных неукоснительного выполнения задания. На ученых советах проявлял активность, и не было случая, чтобы не выступил с рекомендациями, при этом не выглядел дилетантом. Мне он признавался: «Я усвоил одну вещь. Если ты не владеешь темой, не высывайся. Первые полгода я молчал и только слушал, читал, вникал». И это почти в семьдесят лет!

Беспрекословно выполнял и партийные поручения, например, обеспечить ДНД – добровольную народную дружину. Дружинить мы ходили не без удовольствия: два вечера отдежуришь, а точнее попрохлаждаешься с красными повязками на руках по улице Серышева.

(на фоне сегодняшнего времени уличных хулиганов практически не было), и получаешь два отгула, а если с Сынком, то целых четыре дня вольный казак. И сотрудники брали с собой в ДНД взрослых детей, мужей, чтобы заработать побольше отгулов. Хуже – овощебаза, где грязь и вонь. И откуда, спрашивается, у ученых-экономистов брались прямо-таки кулинарные способности по засолке огурцов, помидоров, капусты. Соль из мешков в бочки с овощами сыпали не жалеючи, ведрами. Неприхотливый покупатель все с полок магазина подбирал, но мы принципиально свою продукцию игнорировали, зная в какой грязюке она готовилась. Были у Вошковца партпоручения и более неприятного характера.

Однажды, чуть ли не под личную подпись, нас вместе с инженерами-электриками, хозяевами здания, согнали в огромный актовый зал (ныне здесь развернута торговля ширпотребом) на экстренное собрание по поводу «антисоветчика» Сахарова. Следовало выразить мнение интеллигенции, то бишь заклеить позором академика, а с ним заодно и «белоэмигранта» Солженицына. Это грязное дело поручили Вошковцу. Секретарем институтского партбюро был тогда Виктор Смоляк. Человек умный, прозорливый, кандидат исторических наук В.Г. Смоляк в переполненном зале лишь обозначил тему дискуссии. Расправляться на полную катушку с диссидентами, предстояло Владимиру Елисеевичу. Со всем тщанием готовился он к этому партпоручению, не вылезал из институтской библиотеки, изучая подшивки газет. Перед огромной аудиторией читал по бумажке выписанные цитаты из «Правды». Нашлись, конечно, выскочки-партейцы, дежурные ораторы из хозяев здания, кто шпарил убойными «правдистскими» цитатами: «Пасквилянт, отщепенец...».

Как крута, противоречива жизнь. Казалось, совсем недавно иное говорили о Солженицыне. На пятом курсе, когда проходила практику в «Крокодиле», в Доме культуры той же «Правды» шло обсуждение «Одного дня Ивана Денисовича», опубликованного в «Новом мире». Собрались журналисты «Известий», «Огонька», «Комсомолки», «Вопросов философии» - весь цвет пишущей братии страны. Главный редактор «Крокодила» Семенов велел и мне, практикантке, быть. Ах, какие дифирамбы пели ораторы в огромном полутемном зале ныне опальному кумиру: «Исконно народный писатель, гордость нации, ему чужда лакировка ...» А сейчас Солженицын, по их же беспардонному посылу, стал «матерым делягой». Да что же это за племя газетчиков-перевертышей? И журналистам вторят такие же подневольные, верные партии коммунисты, как наш еще бодренький на выполнение партпоручений Владимир Елисеевич. А куда ему было деваться?

Как-то в наш кабинет заглянула секретарша Лидочка и зашептала: «Вас там, на вахте, какой-то бродяга требует. Его не пускают, он скандалит». Кто бы это мог быть? Изредка навещали меня знакомые, герои очерков из Охотска, Нижнего Амура, Колымы, выезжая в отпуск в западные районы страны. Ведь для северян Хабаровск как перевалочный пункт. Но со многими связь за эти годы уже была потеряна. Последний раз нанес визит бригадир старательской артели из Мой-Уруста, что на Колыме, Егор Кукушкин. Самобытнейшая личность. На вид – натуральный дед, обросший, с бородой, зимой и летом на золотых полигонах не снимал телогрейку. А поводом для написания очерка о нем был один любопытный эпизод.

Как известно, в некоторых старательских артелях был сухой закон. Именно по этому признаку Кукушкин выбирал коллектив золотодобытчиков. Прекрасный организатор, мастер-золотые руки, трезвенником не был, а совсем наоборот, но положил себе за святое правило - в процессе промывочного сезона не прикасаться к стакану. А сезон у «золотушников», как у хабаровских дачников, не считая подготовительного периода, длился полгода - с апреля по октябрь.

В тот раз его бригаде пофартило: если поднажать, к концу сезона могли выйти с опережением плана по добыче золота. И надо же, какие-то ушлые коробейники привезли в Мой-Уруста спирт. Артель оказалась парализованной. Взывать к совести, угрожать бесполезно. Выбрав покрепче горбыль, направился на поселковую площадь, к коробейникам, куда в невменяемом состоянии с пустой тарой двигались недобравшие. Спирта оставалось два полнехоньких ведра. Он купил их. И, грозно выставив вперед горбыль, обратился к собравшимся: «Кто будет пить? Ты, Ленка, может ты, Степан? Нет таких? Завтра всем на работу!» И чиркнув спичкой, опрокинул ведра, зажег вспыхнувшую огнем соблазнительную влагу.

«Горбыль я взял, чтоб защищаться, если бить будут», - смеясь, рассказывал мне позже Кукушкин. По себе знал, пьянице, коль в штопоре, преграды нет. Таковым становился он сам, как только получал отпускные. Тащился в холодном автобусе по трассе, и самолет с Берелеха уносил его на теплый материк. Узнав мой адрес в Хабаровске, явился, как денди лондонский одет - при

шляпе, в модном плаще и навеселе. Рассказав о колымских новостях и планах на отпуск, суетливо раскрыл чемоданчик, забитый бутылками коньяка: «До Москвы семь суток, по бутылке на день, бормотуху пить не буду».

Мой отец, строгий, неулыбчивый человек, увидев содержимое чемоданчика гостя, приподнял в недоумении брови: «Это же две моих месячных пенсии и пропить за неделю!» Не знаю, о чем они говорили, но отец бутылки экспроприировал. Это мне не очень понравилось: воспитывать пятидесятилетнего мужика - занятие пустое.

Прошла зима. Как-то забежав на обед к родителям, увидела на кухне Егора Кукушкина. Вновь заросший, одетый как бродяга, с трясущимися руками, на родительской кухне он уминал мамин борщ. Где в отпуске побывал, не помнит. В куче железнодорожных билетов значились Москва, Симферополь, Ленинград. Утверждал, что в Москве не был, а вот море, то ли Балтийское, то ли Черное смутно припоминает. Остался без копейки денег, все пропил и добраться в Магадан не на что.

И тогда мой отец выставил на кухонный стол все семь бутылок пятизвездочного коньяка. Наш колымский гость онемел и даже обалдел, увидев свое забытое богатство в сохранности. С трудом, обретя дар речи, изумился: «Вы трезвенники?» Ничуть не бывало. За эти полгода у отца столько родни перебивало, столько тазов вареников слеplено и съедено, хохляцких песен перепето под бутылочку, которой всегда почему-то не хватало в душевном разговоре, что пером не описать. Но на чужое добро рука отца не поднялась.

С этим коньяком вместо дензнаков гость благополучно прибыл в Магадан, о чем сразу же сообщил телеграммой. А уж Колымская трасса, 300-километровая дорожка старателя к дому – родненькая, где все свои и даже кустик ночевать пустит.

Этот эпизод вмиг промелькнул, когда я спускалась по лестнице к вахте. Неужто старатель после очередного опустошительного отпуска вновь пожаловал? Во всяком случае, иных знакомых бродяг у меня вроде не было.

За барьером вахты, к удивлению, увидела Матвея Журавлева, воинствующего трезвенника. В невообразимом тулупе, с нечесаной седой бородой, где застряли крошки сайки, которую невозмутимо дожевывал, он производил впечатление человека, только что вышедшего из тайги. И не спрашивая, только глянув в тревожные глаза, поняла – ему плохо, хуже некуда. «Здесь у вас не вахтеры, а цепные псы, - вместо приветствия пробурчал он. - Нужна твоя помощь. Выручай». Мы поднялись на второй этаж в фойе. Встречавшиеся по пути ученые при галстуках с недоумением разглядывали моего собеседника, не узнавая в нем того, кто еще недавно в элегантной косоворотке с гитарой в кабинете Чичканова услаждал их слух.

История знакомства с Журавлевым – давняя. Его привел в «ТОЗ» поэт Аркаша Федотов. Тот самый Аркаша, по инициативе которого у нас, на танцверанде ОДОСа впервые прозвучали полузапрещенные джазовые ритмы. Аркаша, самозабвенно вел партию гитары, а танцующая толпа, и мы, стилиаги, упивались румбами и фокстротами. Новомодные танцы хабаровская милиция встречала в штыки, стилиаг выводили из круга, а уже в пикете «воспитывали». Да и путь музыкантов к румбам был непрост - нот не существовало и только энтузиасты, как А.Федотов, кто имел абсолютный музыкальный слух, черпали новые мелодии из фильмов.

Спустя лет пять-семь после войны для хабаровчан единственным окошком в чужой незнакомый мир культуры, звуков были экраны кинотеатров, где шли невиданные заграничные фильмы «Серенада солнечной долины», «Большой вальс» и много других трофейных. В «Гигант» и «Совкино» горожане, наслаждавшиеся жизнью без войны, валом валили. Очереди за билетами выстраивались невероятные. Здесь, как и у цирка, все дышало ожиданием праздника, бойко шла торговля цветами. Суетились спекулянты. Ими были недавние пацаны, с кем играли в лапту и в чьи дома не вернулись с войны отцы, а если вернулись, то калечные. Отроки, став кормильцами, скупали по утру билеты и втридорога продавали перед киносеансом. Их безжалостно ловила милиция.

И здесь не могу обойти стороной некоторые детали жизни старого города. Например, никто не поверит, что в послевоенный, культурный храм «Гигант», как и в цирк, можно было проникнуть без билета, на пробирушку. Да еще на вечерний сеанс, куда детям до 16 лет вход был категорически запрещен.

Старшая сестра Надюшка, фэзэушница, покупала один билет, и, крепко держа меня за руку, уговаривала контролера, что де ребенка не на кого оставить. Конечно, получала категорический

отказ. Уже в желанном фойе, отведя меня в сторонку, громко, дабы усыпить бдительность контролерши, давала указания возвращаться, дома закрыть печную трубу, не зажигая керосиновую лампу, немедленно ложиться спать. И заметив, что толпа напирает, а контролер отвлекся, давала знак бежать, мы опрометью мчались в зал и растворялись среди зрителей – ищи, свищи малолетку-безбилетника.

В «Совкино» был другой маневр. У входа на Карла Маркса мы терпеливо ждали окончания сеанса, когда толпа посмотревших фильм вываливалась из кинотеатра, ввинчивались в нее против течения, проникали в зал и прятались, как карта ляжет: за бархатными портьерами, в темных углах балкона или под жесткие кресла партера, выжидая, пока не погасят свет. Если фильм был премьерный и нравился, то, не вылезая из своего укрытия, согнувшись или в стоячку, смотрели два сеанса кряду.

В подобных рискованных операциях, когда подчас ползком пробирались между ног зрителей, у нас даже был пароль: «Муля, не нервируй меня», что означало, – не дрейфь.

Когда у моей сестры появился ухажер Толя Буланов, красноармеец, - он служил в Князе-Волконке, то мы с Надюшкой придумали ему ночлег - зрительный зал «Гиганта». Дело в том, что наш солдатик курсировал из Князе-Волконки в город и обратно, километров тридцать, пешком. Автобусы тогда в пригород вовсе не ходили. По центру Хабаровска и то ползало всего два - красный и синий. Как только это чудо появилось в городе, крылатым выражением среди конфликтующих пацанов было: «Тебя, что, красным автобусом трахнуло?». Так вот, познакомившись на уборке картофеля на князе-волконских полях, красноармеец Толя, уроженец Сталинграда, влюбился в нашу Надюшку. Порядки в те годы в семьях были строжайшие. Если ты даже невеста – в десять вечера, как штык, быть дома. Подавшего в загс заявление старшину Толю Буланова в увольнительную отпускали на два дня. Проводив невесту к десяти домой, он бежал на последний сеанс в «Гигант». При завершающих кадрах фильма устраивался под жесткими сиденьями, а утром уже маячил около нашего дома на Театральной. И вскоре увез молодую жену в Сталинград.

Так я потеряла своего поводыря, но от этого жизнь не стала скучней. У хабаровской ребятни было еще одно место тусовок – гостиница «Дальний Восток», где, если повезет, живьем можно было издали увидеть знаменитых артистов, приезжавших в Хабаровск на гастроли. Кто-то из счастливиц видел Кузнецова и даже Лядину. Они подъезжали к гостинице в черных «Эмках», надменные, красивые, из другого, загадочного мира. Приблизиться, взять автограф – подобного не водилось. Мы и слова такого «автограф» не знали. Наш уровень грамотности был близок эрудиции пастуха, главного героя «Веселых ребят», где на просьбу дамочки сердца об автографе, артист Утесов, имея фотку и не понимая, о чем его просят, покаянно признавался: «Мне для вас жизни не жалко, но чего нет, того нет».

После удачных или пустых ожиданий, возвращаясь из гостиницы оживленной толпой, мы не могли равнодушно пройти мимо «Гиганта», где заканчивался последний сеанс. Беспрепятственно проникали на финальные кадры фильма – уставшие контролеры досрочно открывали засовы на дверях для выхода зрителей из зала. Еще раз увидеть радостные кадры, венчающие знакомую ленту, услышать трогательно-возбуждающую мелодию стоили того, чтобы перетерпеть дома взбучку с тумаками или с углом на коленях за позднее возвращение.

Девушки, вроде моих старших сестер, заводили альбомы для песен, украшая их незабудками и розочками, – в продаже уже появились цветные карандаши. Патефона у нас дома не было и тексты оперетт: «Сильва», «Летучая мышь», которые мы заучивали наизусть во время просмотра фильма, переключившись с экрана на личный альбом. Хабаровские театры были для нас не по чину, шантрапу-малолеток туда и близко не пускали. И лишь в выпускном классе в театре музыкальной комедии – ныне концертный зал - я посмотрела «Бахчисарайский фонтан» с Игорем Войнаровским и Ольгой Гробовской. Была ошеломлена, покорена. Весь тот вечер провела в обнимку с томиком Пушкина, выискивая новый смысл, природу тревоги и печали.

В глупеньком отрочестве, заболев «гамлетовскими» вопросами задолго до того, как узнала о существовании «Гамлета», в фильмах, с заграничным антуражем, «Мост Ватерлоо», «Судьба солдата в Америке» видела не сентиментальные мелодрамы, а тему греха, любви, предательства. Сопровождающая их проникновенная музыка, очень не похожая на нашу «Ой цветет калина», усиливала впечатление таинственной неведомости. По радио-«тарелке» мелодии этих фильмов не звучали. Но мне повезло, услышала их в полном комплекте в нашем парке ОДОСа, после танцулек.

На лавочке с гитарой в руках в окружении любопытных играл невысокий, как принц, изысканно по тем временам одетый юноша, гитарист из ансамбля Аркадий Федотов. Не имея нот, он подбирал на слух заграничные киношные мелодии, сочинял к ним тексты и апробировал будущий репертуар квартета. От слушателей в парке на лавочке, не было отбоя, а среди них и я, десятиклассница.

И вот прошли годы. Наши пути разбежались. Я - в «ТОЗе». Аркаша - солист ансамбля песни и пляски ДВО, в коем качестве прослужил 35 лет, неизменно писал стихи и уже тогда печатался в газете. А когда в паре с Журавлевым пели под гитару - Матвей баритоном, Аркаша тенором - нельзя было не уверовать в формулу Борхеса: «Все питательные вещества, требующиеся духу, можно получать и в провинции».

Музыкальной площадкой для их исполнения мог стать небольшой кабинет, красный уголок, заводской цех; и неважно, сколько зрителей – три, семнадцать, триста тридцать человек - всегда эта поющая пара выкладывалась со всей страстью, светло возбуждая, неся ощущение бодрости и душевного подъема.

Именно такое чувство они пробуждали, хотя сердце мое со студенческих лет безоговорочно было отдано песням Булаты Окуджавы. Первые магнитофонные записи необыкновенного барда оказались именно в нашей общежитской комнате - моя соседка по койке чудом добыла в ЦДЛ и вся общага днем и ночью шастала к нам послушать и переписать. А потом в город на Неве прибыл сам Окуджава и дал единственный концерт в Доме Искусств. Тогда же в Ленинградской «Смене» появилась разгромная статья. Автор, наш выпускник Игорь Лисичкин, распекал Мастера, тогда еще не атакуемого всеобщим восторгом и даже сомневающегося на тот момент в своем мастерстве. Будто не понимая двух-трех смысловых пластов Окуджавских песенных текстов, журналист комментировал: «Ах, девочка плачет, шарик, видите ли улетел», мне бы, мол, ее проблемы. Мы, студенты, бурно возмущались публикацией коллеги.

А между тем этот журналист не сгорел от стыда, покушаясь на талант. И один ли Окуджава пострадал от журналистской критики по заказу. А мы почему-то недоумеваем. Ну что за чертовщина, ставшая отличительной чертой творческого человека «без кулаков» - прежде чем добиться признания, всегда нужно что-то перебарывать, пересиливать, проживая во мраке «милльона терзаний», на что уходит, подчас, лучший кусок жизни.

Почти то же самое происходило и у поющего хабаровского дуэта. Вершинная, штучная мелодия Журавлева на стихи Федотова «У Амура белым парусом» к тому времени уже лет пятнадцать исполнялась авторами в узком кругу. Как ни колотились Аркаша с Матвеем в дверь редакции – давали концерт для нас с Верой Побойной прямо в отделе культуры, позже для всех «тозовцев» в Красном углу, «Тихоокеанская звезда», не угадала, что песня станет для хабаровчан знаковой, и отказалась (формально из-за «полиграфической сложности»), напечатать ее партитуру (опубликовал «Молодой дальневосточник»). И это не зависело ни от Веры Побойной, которая тогда курировала культуру, ни тем более от меня.

А однажды в отдел культуры, где я уже работала одна, пришли разъяренные родители. И перебивая друг друга, потребовали приструнить Журавлева. «Мы в крайком партии пойдем. На него управу найдут Что он себе позволяет? Кто такой вообще Журавлев? У него хоть образование есть?» - наседали родители на меня. Консерваторского образования у Матвея действительно не было. Но то, что он музыкант-самородок под свое крыло собирал талантливую молодежь, создавал инструментальные ансамбли и это стало его жизненным хобби, мотором творчества, мне было известно. Уже в послевоенные годы из шантрапы бедняцких семей фронтовиков, он лепил музыкантов, маленьких творцов, преданных «певучей гитарной струне», как позже писал о своем друге Федотов.

«Сага о Хабаровске»

Чтобы понять значимость созидательного начала, которое нес в себе Журавлев, следует воссоздать атмосферу, в которой жила хабаровская ребятня. Например, в 1953-м году из мест заключения по амнистии, Хабаровск заполонили уголовные элементы. Их еще больше было в Совгавани. Это я достоверно знала – там погиб мой 29-летний братишка Владимир Гриценко.

Отслужив семь лет, пройдя всю войну до Берлина, он вернулся в Хабаровск – вся грудь в орденах, с подарками сестрам, маме, без рубля и специальности. Отец не нашел ничего лучшего, как отправить его за длинным рублем в Совгавань инкассатором. Отчаянный, бесшабашный, брат возил выручку из торговых точек в сбербанк на грузовике. «В одной руке держу чемодан с деньгами, в другой – пистолет, а на полном ходу за борта цепляются экашники» – рассказывал он в свой последний приезд в Хабаровск. Что произошло в Совгавани, не ясно, хотя долго шел суд над погубителями – меня, школьницу, почему-то брали с собой. Как сейчас вижу почерневшую от горя мать.

Блатных с золотыми фиксами в Хабаровске стало еще больше. Ворюги искали себе шестерок, помощников. Девчонок не брали, я бы уж точно знала. А вот «биксы» – расфуфыренные девки легкого поведения в Хабаровске были чаще на танцах в «Динамо». «Бикса» – самое тяжелое оскорбление в адрес девушки. Я слышала, как горько плакала недотрога Галина, рассказывая моей старшей сестре Лизе о блатном провожатом, который все лез целоваться: – «Пришли мы в детский парк, а он говорит: «Ну что, прощайся с детством». Тут я стала кричать. А он мне – «Эх, ты, бикса». И она снова зарыдала. Но дела старших нас не касались, у нас была своя жизнь.

В нашем провинциальном, тогда небольшом городе, дворы на улицах Калинина, Запарина, Фрунзе были как бы сообщающиеся. С Театральной, не выходя на Карла Маркса, пересекали дворы, и вот ты уже на берегу Амура. Мы все друг друга знали по пробирушке в цирк, в «Гигант», по очередям за керосином, по городской балочке и купалке, куда летом перекочевывало все детское население. Знакомились быстро, и также легко возникала дружба. Я имею в виду не мамочкиных сыночков и ухоженных девочек, а ребятню из пролетарских семей. К нам, например, на Театральную улицу, когда были проводы в армию, к райвоенкомату (это здание и по сей день военкомат), сбегались, как на пожар малолетки со всего города. Будто на деревенских сходках, здесь играли гармошки, подвыпившие отцы и новобранцы плясали русскую, отбивали чечетку, рыдали матери, сестры и жены, а военкомы произносили красивые, напутственные речи о доблести и чести.

Познакомившись у военкомата, например, с ребятами с улицы Истомина, мы вели их в свой двор, где играли в прятки, лапту, без боязни приглашали в дом, подвывая содержимое пустоватых маминих кастрюль. А как только темнело, во двор, сразу с двух сторон влетала, наплывая друг на друга, музыка оркестров. Танцевальная, в том числе «Два солида» – со стадиона «Динамо» и марш циркачей из шапито. Нам, малолеткам, нигде преграды не было и, несмотря на запрет, свободно могли проникнуть на танцплощадку, но мы предпочитали зеленый купол цирка. Новым друзьям бесхитростно открывали секреты «заборных» книжек, совсем было не жалко показать новые безопасные лазейки проникновения на арену. И вот среди нас, таких доверчивых, появлялись ушлые пацаны. По чьей-то указке они выведывали, где лежит ключ от замка, у кого какое есть богатство в доме. В нашем – голяк, если не считать полбуханки хлеба на ужин и сбереженного с довоенных лет отреза коверкота. Именно эти вещи были забраны у нас «черной кошкой», когда мы все отсутствовали. Мама плакала по коверкоту, а мне жальче всего – хлеб.

Путь малолеток к воровству в полуголом Хабаровске под нажимом уголовных элементов был так прост и доступен. Вот как об этом времени вспоминает педагог колледжа искусств, старожил Хабаровска, композитор Валерий Поздняков, четверть века назад принявший от своего учителя Журавлева эстафету руководства инструментальным оркестром: «Нам, школьникам, от блатных и урок прохода не было. Идешь с гитарой по мосту через Чердымовку, стоят в кепчонках. Зазывают, обещая раздольную жизнь, – хлеб от пуза, привлекают «Цыганочкой», «Семерочкой», блатной лободой под гитарный перебор. Кто-то и соблазнялся».

И уже тогда, зная, что завтрашний день Хабаровска подрастает за школьной партой, Матвей Журавлев со своей гитарой собирал дворовую молодежь, нацеливал подростков на веселый праздник творения и музыкального волшебства. Мне даже хотелось написать о нем очерк, сколько он спас детских судеб за эти годы, скольких уберег от легкого пути, наполнив смыслом и творчеством. Конечно, в Хабаровске был дворец пионеров с балалаечниками, с кружком бальных танцев. Но в заплатках на одежде туда не пойдешь, а мы-то все – голь перекатная. Да и поцанам хотелось этакое, необычного, что сокрыто в гитарных струнах. Многие воспитанники Журавлева стали профессиональными музыкантами, педагогами с учеными званиями.

И вот тебе родительская благодарность, через столько лет – коллективная жалоба в краевую партийную газету. Дело в том, что по инициативе Журавлева его ребячий ансамбль пригласили на гастроль в Биробиджан, и родители в панике: «Там, ведь, мальчики, девочки вместе, на две недели,

мало ли что». Запретили своим отрокам ехать, а те оказывают непослушание. Для них Журавлев был безусловным авторитетом, о подобном мечтал бы любой родитель. Ревность, недоверие, желание скомпрометировать кумира своих детей были высказаны в суровых речах возмущенных посетителей. Выговорились от души, и в кабинете наступила тишина.

Все то хорошее, что я знала о Журавлеве, поведала родителям и предложила, чтобы рассеять наветы на руководителя и не разочаровывать ребят - они ведь давно готовились к поездке, откомандировать вместе с ними кого-то из присутствующих. Желающие дамы нашлись здесь же. Инцидент был исчерпан, но тогда Матвей крепко переживал, даже намеревался навсегда покинуть неблагодарный Хабаровск.

На этот раз, стоя в фойе у институтского окна, нервничая, Матвей путано поведал о цепи неприятностей. Очередная жена выгоняет из квартиры, а все потому, что он превратил жилплощадь в эстрадную площадку, где с утра до вечера занимался с юными музыкантами. Кого-то из них посылал с ведром за пирожками и снова за ноты и струны. Выходы в музыкальные залы перекрыты, газеты песен не печатают, с детьми заниматься негде. У этой темной тучи, правда, был серебристый край, в Москву послали запись его самодеятельного ансамбля «Амурский сувенир», и фирма «Мелодия» выпустила гибкую пластинку с песней о Хабаровске. Обращались в филармонию, к Соболевскому с просьбой озвучить мелодию профессионально, с оркестром, известными вокалистами. Художественный руководитель решительно отказал.

Слушая его, с тревогой размышляла, что же на этот раз нужно от меня Матвею. В газеты я невхожая, печатным словом помочь не могу. Редакции «Дальневосточный ученый», благосклонно печатавшей меня, материал о хабаровских бардах нужен как дырка в голову редактора. И у меня опять заныло сердце от собственной журналистской беспомощности. Оказывается, и в новом своем качестве могу быть полезна, по принципу «с бодливой козы хоть шерсти клок».

- Мелодии поют во мне, - кипятился Матвей. - О Хабаровске написал столько песен, что на пять концертов хватит. Ночи напролет рисую клавиры. Вот. - И Журавлев подал толстенькую пачку нотных листов: - Их нужно размножить. Куда только не обращался, где есть «Канон», друзей-то полгорода, везде отказ, мол, требуется разрешение цензуры. А к этим кэзэбистам, хоть режь меня, не пойду. - Прослышав, что в нашем институте есть множительная техника, вспомнил обо мне.

«Канон» в институте действительно был, его недавно привезли из Японии, и ценился на вес золота. На дверях его висела табличка «Посторонним вход запрещен». Хозяйничала в нем милая женщина Любовь Николаевна Мартыненко. Все, что несли ей на ксерокопирование, требовало, чуть ли не директорской визы. И я пошла к Минакиру с необычной просьбой.

Для другого руководителя был бы повод поиздеваться: экономике еще и песен не хватало – все справедливо. Но Павел Александрович был просто хороший человек и, просмотрев листы по диагонали, до комментариев не опустился. Просьба Матвея Журавлева была удовлетворена в трех экземплярах, и я увидела счастливого человека: «Ты знаешь, сколько я сэкономил ночей! – влюблено всматриваясь в свежие листы с нотными знаками, повторял. – Вот чудо техники! Решено, в типографию буду устраиваться»

Я не понимала, причем здесь типография. И только позже от Аркаши узнала суть. В трудовой книжке Журавлева десятки записей, но для получения пенсии стажа не хватало, ибо человеком Матвей был своенравным, дверьми хлопать умел. И в предпенсионном возрасте решил идти учеником резчика бумаги в хабаровскую типографию. Полиграфисты, почитатели таланта хабаровского барда помогли издать несколько сигнальных экземпляров книги «Гармония», и Журавлев передал ее на апробацию в городской отдел культуры. Консерваторские мужи «по традиции» в пух и прах разнесли творение «неуча» Журавлева. А к нему подвалили знакомые девицы судьбы: беда и удача.

По типографии разнеслась весть: ученик резчика бумаги Журавлев «попал под нож». Хроническому диабету, сердечнику преклонного возраста, одинокому, без собственного жилья, ему для полного «букета» не хватало еще увечья. Славная, сердобольная коллега по резке бумаги прониклась к пострадавшему, после больницы привезла Матвея к себе на квартиру близ железнодорожного вокзала и стала его женой. Последней, третьей, по счету Аркаши Федотова.

В свои шестьдесят Матвею Павловичу можно бы и успокоиться: обретен домашний очаг, рядом надежная, работающая женщина, в дни болезней - заботливая сиделка и друг. Но, увы! Как поется в песне Окуджавы «А как первая любовь, она сердце жжет, а вторая любовь – она к первой

льнет. А как третья любовь, ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке». Чемодан по доброй воле Матвей не собирал, а принялся за старое: квартиру супруги снова обернул в эстрадную площадку. Сюда шли музыканты со всего города, и понятно, как все счастливые, меломаны часов не наблюдали. Все это было не по душе супруге. Наставления, уговоры не помогали. И даже, о чудо! - появление на свет двух близнецов-девочек не остановило молодого отца пенсионного возраста, а придало ему новое творческое наполнение. Разгневанная мать двух малюток собрала чемодан.

Как протекали последние тринадцать лет жизни М.П.Журавлева, предстоит еще рассказать профессионалу-музыканту, кому не безразлична история Хабаровска, в которую накрепко вписался образ деда Матвея «в старой шляпе ковбойской своей». И, тем не менее, волею случая, одной из первых мне стала известна печальная весть.

В преддверии нового 2000 года, на верхотуре «белого дома» брала интервью у зам губернатора по социальным вопросам И.И. Стрелковой. Из ее окон, как на ладошке, была видна главная красавица-площадь Хабаровска, заснеженная, оживленная. Под хлопьями падающего снега рабочие украшали городскую елку, заливали горки, ставили качели, скульпторы в тяжелых валенках творили ледяные фигуры, счастливицы-прохожие несли хвойные деревца. Город перетекал в третье тысячелетие. Разговор с Ириной Ивановной был непростой, ее «уходили» на пенсию, хотя моя героиня улыбалась, бодрилась. Но я понимала, что на душе у нее тревожно, консультант при губернаторе - должность эфемерная. Ей, хабаровчанке, как никому другому, были известны «узкие» места краевой социалки, она знала всех крепких хозяйственников, местных олигархов и умела, когда это требовалось, с женской силой и обаянием нажать, подтолкнуть. Не говорила, но по всему видно, побаивалась указующего перста, власти и нарастающего могущества своего шефа.

В процессе беседы бесконечно раздавались телефонные звонки. Стрелкова вежливо извинялась и просила позвонить попозже. Свойственна ли ей столь приятная деликатность вне присутствия журналиста? Может ли бесконтрольная дозволенность сломать властвующего на столь высоком этаже? – Такие банальные вопросы лезли мне в голову, когда снова раздался звонок, и дежурная улыбка моей собеседницы вдруг исчезла, зазвучал твердый голос: «Когда? При каких обстоятельствах? Что, совсем родственников нет? Безродный? Деньги найдем. Обязательно поможем». Ирина Ивановна с тяжелым вздохом положила трубку: «Звонили из краевой больницы. Только что умер Матвей Журавлев. У него ни родных, ни близких. Хоронить некому. Надо поднимать общественность. Его песни хабаровчане любили».

«Встать! Суд идет!»

Прошное не начнешь с удобной страницы. Как и многих, жизнь испытывала повседневностью, бытом, который тоже - «война», пусть мелкая, низменная. «Отбить, обуť, быть умной, хохотать, какая мука – непередаваемо». Вознесенский писал об одинокой, ищущей спутника женщине. Мне, 42-хлетней, искать было нечего – все кончено. В моей интерпретации навязчивая фраза поэта звучала иначе. И была обращена к детям – отбить взрослых сына и дочь от случайных, плохих друзей, увлекающих в не понимаемое ими дерьмо, обоих выучить, одеть так, чтобы не комплексовали, чувствуя себя одна Золушкой, другой – нищим принцем. А самой при скверной погоде, когда в тебе все кипит от бессилия, порождаемого однообразием жизни, всем ее вздором, делать хорошую мину.

Это же надо, спустя пятнадцать лет первая жена Владимира, проживавшая на Каспии, узнав о его смерти и о наличии «Волги», подала заявление в суд на раздел нашего имущества! Да по какому праву эта дама, набившая рога юному солдатику, оставив его с одним половиком, посягает на трудно нажитое нами? И суд, конечно, принял к рассмотрению иск. Что тут скажешь. Дно человеческой души не имеет дна, всегда случается что-то страшнее, еще подлее, чем ты знал.

С этой стороны удара - покушения на мою собственность - не ожидала. В траурном, затянувшемся бреду как-то забыла и про машину и про гараж, записанные на имя мужа. Пропустила сроки переоформления документов, а когда с этой целью явилась в нотариальную контору на Шеронова, была встречена возгласами сотрудников: «А мы с ног сбились, разыскиваем вас по всему

Хабаровску!». И показали папку с делом об имущественном разделе наследства. В ней куча требовательных, слезливых писем с Каспия. Пришлось подавать встречный иск.

На заседание суда со мной вызвалась идти Вера Побойная. «С тобой пойду, для поддержки штанов. Ты ведь помнишь, меня как-то сопровождала в суд». Да, такой случай имел место. В защиту чести и достоинства на автора и редакцию «герои» статьи В.П.Побойной «На удочку лжи» подали в суд заявление. Явление по тем временам – беспрецедентное. Растерялся редактор Ф.Г.Куликов, редколлегия. А Вера храбрилась, объявляя всем: «В истории «Тихоокеанской звезды», это второй случай после Аркадия Гайдара». Что произошло с детским писателем, коллеги знали: будучи пациентом психоневрологической больницы на Серышева, он опубликовал в «ТОЗе» фельетон, и оскорбленные врачи пытались судиться с редакцией.

Вера Павловна марку борца не теряла, хотя в статье не все было безупречно расследовано. Суть публикации в том, что учительница с супругом прибегли к фиктивному разводу, чтобы захватить вторую квартиру. Вот этот самый факт – понарошку расстались герои или всерьез – оказался недоказуемым и в материале, и на судебном заседании. Но итог его помню. Суд отправил истцов восвояси, так и не восстановив утраченные ими после публикации «честь и достоинство». Не сомневаюсь, что где-то сверху был звонок, – неужто крайком партии позволит, чтобы его орган, каким являлся «ТОЗ», оказался в данном случае поверженным. Возможно, лишь Куликов получил нарекание: коль журналист свечу и за пятки не держал, зачем публично позорить учительницу.

Как утверждают социологи, в России почти каждый живущий так или иначе сталкивался с правоохранительными органами. Как говорила выше, неприятней этой встречи вряд ли можно что-то изобрести. То ли тебя хватают на толчке, то ли насильно забирают от детей родительское имущество. И даже то, что судебное заседание вела доброжелательная, справедливейшая Антонина Прохоровна Володченкова, ни на миг не снимало напряжения и внутренней тряски. «Встать! Суд идет!» Видя, как я вся сжалась, Вера, пытаясь подбодрить, напомнила свою присказку, шепнув: «Отсутствие у вас судимости, Константин, – не ваша заслуга, а недоработка системы. – И добавила: – Радуйся, тебя не посадят, а обберут как липку». Так оно позже и получилось.

От пережитых нами волнений в тот же вечер в винном отделе гастронома на Гупре на одну бутылку стало меньше. Как частенько по пятницам, мы собрались в новой квартире Веры на Амурском бульваре, куда она недавно переехала. Из суеты – в тишину, комфорт и одиночество. Вот, подчас, какие поразительные повороты готовит судьба. В «хрущевке» Побойных проживало семеро, в каждой комнатухе – по двое-трое, ступить негде было, на кухоньке обедали в три захода. Не стало Бориса Побойного, матери Полины. Выросли дети, разъехались. И осталась в этих апартаментах Вера в полном одиночестве. Даже Нины Николаевны с ней рядом не оказалось, когда я вернулась из-за границы.

О Ниночке Игнатьевой, главной подруге Веры – особый сказ: утонченные черты лица, глаза-звезды, больно смотреть, она единственная из окружения Побойной, кто мог сказать правду-матку в глаза. Обе они стояли друг друга по интеллекту, юмору, иронии, отточенной до афоризмов. Вместе учились в Москве в ВППШ при ЦК, а в Хабаровске жили в одном доме – в «Семенах», имели ровесниц-дочерей.

Нина Николаевна лет на семь раньше меня закончила тот же Ленинградский университет, работала проректором сначала в мединституте, а потом почти двадцать лет преподавала в «железке». А впервые познакомилась я с ней, конечно, у Веры. Кто-то из них приобрел новую пластинку с захватывающей сердце мелодией «Джони». И этот вечер я не забуду «по самая смерть», как сказал когда-то протопоп Аввакум.

Полутемная комната Веры, то ли свет от дальнего торшера, то ли от свечи. Мы сидим втроем на просторном диване, такие близкие, объединенные очарованием – в трагическом прозрении, душевной боли, где нет опор, звучит «Джони». Конечно, на иностранном языке. О чем этот пленительный зов, звучащий как страстная мольба, – гадаем мы. И подытожив наши бурные прогнозы, решаем – о любви. Лишь через много лет я узнала, что это прощание матери с единственным сыном, уходящим на войну.

Но, Господи, какими тогда мы были молодыми. С амбициями, ранимые, но с требовательным: «исполнись волею моею». Мудрецы говорят, что все таланты связаны с пороками, а добродетели с бесцветностью.

Зная все о себе, Вера признавалась: «Сегодня редактор говорит мне: «Вера Павловна, вы поймите. У читателя создан образ Побойной, подобной чуть ли не ангелу во плоти, страдающей, справедливой. А посетитель утром вылетел от вас возмущенный и пришел ко мне жаловаться». Ну что я с собой подделаю?» Вера и не стремилась в себе что-то изменять. Да и зачем? Она из тех избранниц, чей журналистский голос часто противоречил ее земной сущности.

Яркой личностью, но в своем преподавательском деле, была и Нина Николаевна, воспитавшая сотни хабаровских специалистов, – с ней, седой, но величавой бабулей, по сей день на каждом углу здороваются ее бывшие студенты.

Репертуар пятничных посиделок был традиционен. Ну, как могут проводить краткий досуг две немолодые, одинокие женщины, у которых все впечатляющее позади? Даже безуспешная попытка что-то изменить в своей жизни, которую однажды энергично предприняла Вера, завершилась полным крахом.

В то время в некоторых газетах стали публиковаться диковинные объявления типа: «Привлекательная женщина познакомится для создания семьи с самостоятельным без вредных привычек мужчиной...». В Хабаровске появилось первое агентство знакомств, куда со всего края полетели призывы одиноких мужчин и женщин на предмет поиска судьбы. Опубликовав материал «Последний шанс» и убедившись, что это не совсем фикция – бывают случаи, что люди находят друг друга, Веру озарило: а почему бы, не рискнуть – мы дамочки самостоятельные, житейским опытом умудренные, не дурочки.

Последняя деталь в данной ситуации была нашим минусом, ибо, как показала практика, избранницей становится легкая, с притворством и кокетством женщина. Мы к этой категории не относились, наивно полагая, что двух немолодых принцесс сразу же расхватают – вон, штабелями дожидаются мужики, такие чуткие, с широкой натурой. «У тебя, конечно, шансов поменьше. Ты с прицепом, – рассуждала Вера, имея в виду бабушку и двоих детей, обучающихся в средней и высшей школе. – А, впрочем, есть и преимущества – «Волга». Может, кто-то и позарится. Но хотя бы приходящего найти».

Мысль о «приходящем», кто бы мог вбить гвоздь в доме, перевесить ящик, долго зрела в ее сознании, хотя Вера сама могла и прибить гардину, и не чуралась никакой неподъемной домашней работы. Просто дело в другом, на интуитивном уровне понимали, что скоро наступит осень жизни, хотелось быть кому-то нужной. И мы поперлись на Пушкина, где нынче японское представительство. Понимая, что затея эта пустая, чуда не бывает, и все-таки – чем черт не шутит, Вера написала объявление: «Женщина с вредными привычками познакомится...» На это признание агент всполошился: «Вера Павловна, так не пишут, нужно красиво представиться». Чтобы не нарваться на бича или уголовника, не скрою, по благу, из заветного ящичка для нас извлекли адреса самых достойных претендентов, чтоб соответствующий образовательный ценз был, должность и отсутствовали вредные привычки. Мы не глядя, разделили адреса. А потом нам предстояло ответить на письма. Договорились действовать инкогнито, фамилию, адрес не называть.

Что из этого замысла получилось? А получилось такое либертэ, как говаривал Горький, что уже моралитэ. Возможно, нам сопутствовали неблагоприятные обстоятельства и мы не изобретали туманные иносказания, когда речь заходила о годах: «цветущий возраст», «возраст элегантности», но ни одного порядочного адресата не встретилось. То были чьи-то мужья, изгнанные женами, отработанные шлихи на когда-то, возможно, золотых песках жизни. И когда звонил очередной претендент, жертва шторма жизни, невнятно объясняющий себя, вспоминался эпизод.

После гибели мужа меня приехала поддержать, преодолев пересадки, таможи, не зная языка, подруга из Чехословакии Гелка Буллова. Она была пятым членом нашей семьи, когда мы жили за границей, обожала моих детей. При встрече, покачивая на руках свою любимую Лэрочку, на русско-чешском языке учила меня жить: «Нужен хлап. Одна не поднимаешь детей. Таких льгот, как у нас, в советском звезде одинокие матери не получают. Катка, ищи мужчину». На что я отвечала: «Их нет в Хабаровске». Но как-то, проходя по Ленина, мы увидели несметную толпу мужиков. Для меня знакомая картина – они теснились за железными перегородками в гастроном. Гелка застыла на месте, изумленная: «Катка, позри, сколько хлапов! А ты говорила...». Я молча показала на яркую вывеску магазина «Вино». И Гелка без объяснений все поняла, но долго не могла успокоиться.

Все те, кто выпендривался по телефону, еще не оказались на дне, кое-как держась на плаву. Но то было преддонье, отчаявшиеся деградированные личности. Один, из серии вечных женихов, даже прорвался к Вере на квартиру, и ей пришлось деревянной колотушкой изгонять его. «Ты

представляешь? - тотчас позвонила она, еще не остывшая от схватки. – Встретились мы на бульваре. Скажу тебе, он ничего, с благородной сединой, немного помятый, но разговор получился хороший. Ну что ж мы, как пионеры, по бульвару гулять будем? Вокруг - ни одной лавочки. Только пришли ко мне, он достает из кармана бутылку, початую, перед встречей хлебал, и требует стакан, закуску. Едва выгнала. Все, на этом акцию завершаем». Я же оную особо и не начинала. Знала, на свете никого нет похожего на Него, и нет никого лучше. Но не жалею, что убедилась в этом воочию еще раз и навсегда.

Так что в наших компаниях мужчины не водились. И вдвоем по пятницам мы скуки не знали. Вера радовалась предстоящему «Гондурасу» (так мы окрестили пятничные застолья) и моим блинчикам фаршированным «аппетитным». Главное, постучаться в дверь вовремя. Опоздание на полчаса, даже на десять минут, приводило ее в гнев. Было и такое, когда, выслушав словесные эскапады про неуважение к хозяйке, наплевательство, я поворачивалась и уходила. А в основном – неомраченные встречи. И тогда играла музыка, светил торшер, даже днем, у ног лежала Зоська, которую мы щедро подкармливали, подначивая восставшую из покойниц.

Недавно эта собачонка, старая домоседка выкинула фортель. Звонит мне Вера и говорит: «Приходи на поминки». «Господи, кто еще умер?» «Зоськи второй день нет дома. Такого за девять лет не было. Или украли, или убили. Я уже все подвалы обшарила. Хорошая была собака, давай помянем». Подхожу к подъезду, где живет Вера, а у дверей, поджав хвост и, поблескивая помолодевшими глазами, стоит замызганная Зося, около нее кобели тусуются - бал окончен. А на столе – поминальный обед. Вот было радости и хохоту! И вечер протекал по обычному сценарию. Вспоминали старую еврейскую песню: «Дамы, приглашайте кавалеров, там, где галстук, там пэред». Ее сменяла экашная, «патриотическая»: «Советская «малина» собралась на совет, советская «малина» врагу сказала – нет». Если и возникали паузы, молчание не тяготило. А в основном читали стихи. Вера любила Маяковского. И знала такие глубинные строчки, какие ни в одном учебнике не найдешь. Прокручивали в памяти смешные, рискованные эпизоды из молодости, - их была тьма, вспоминали имена друзей, кого уже не стало.

Со скрипом, но четвертую долю на Каспий за «Волгу» я отправила. И снова года три в гараж не заглядывала, ожидая, вот подрастет сын и будет старую мать возить. Но однажды обнаружила, что моя многострадальная «Волга» вся в белом грибке. Протекает масло, «карбюратор не фырчит». Специалисты сказали, что без движения погибнет. Пришлось продать, а через пару недель, сумма за автомобиль, положенная на книжку, стала эквивалентна двум буханкам хлеба, а третьей буханкой обернулся кооперативный гараж в центре города.

Однако и за два и за год до реформы никто из институтских экономистов не догадывался о предстоящем повальном грабеже законопослушных россиян, повлекшем невиданное расслоение общества, когда из огня да в полымя – из коллективизма в индивидуализм – из прожженных штанов не выпрыгнешь. Почему же, миленькие мои экономисты, ни чохом, ни вздохом не предвидели превращение рубля в опилки? Ведь Институт работал на полных оборотах.

И как всегда, у меня на столе чередой - папки с рукописями. Одни заголовки чего стоят - читатель, крепись!: «Социально-экономические условия повышения трудовой активности», «Проблемы ускорения развития машиностроения», «Развитие функций социалистического планирования и хозяйственная активность предприятий», «Основные направления интенсификации развития лесного комплекса» - язык сломаешь, голова кругом, а для авторов, ученых-экономистов - музыка победных фанфар. Но если ты уж вписалась в другой, пусть чуждый род деятельности, будь добра, неси свою ношу. И внутренний голос корит: не сумела сама ничего путного добиться в свои сорок с хвостом, служи другим, как редактор, входи в образ ученого, понимай его движение мысли, помоги яснее высказаться.

Изданные сборники научных статей, препринты, тем более монографии, опубликованные московской «Наукой», служили авторам пропуском в будущее, приближали к очередному научному званию, а вместе с ним к значительному денежному вознаграждению.

Но какие серьезные преграды к публикации стояли на пути молодых – «добро» отдела, институтского редсовета и редсовета Центра с требованием новизны, актуальности, оригинальности мышления. То же самое с защитой диссертации. «Щи хлебать» соискателю приходилось в Москве. Запомнилось, как вернувшийся из первопрестольной ученый секретарь Азаров рассказывал: «Сидят сплошные чиновники и кочевряжатся: в автореферате то шрифт не подходит, то какой-то подписи

не хватает, то для рассылки человека нет. Дни идут, в сроки не укладываюсь, хоть плач и возвращайся ни с чем. А ведь три года над диссертацией работал. Хорошо, что опытные коллеги надоумили взять с собой тихоокеанской селедки. Выложил на чиновничий стол килограммов пять, и все в миг образовалось. Сплошное доброжелательство и поддержка под обе руки».

Чтобы облегчить кремнистость этой процедуры, при Чичканове институт получил право организации своего спецсовета по защите диссертаций, и самостоятельного издания информационных материалов, которые редактировались и издавались на месте, дабы застолбить тему. Тут уж работы подвалило мне.

«Зернышки арбуза» в нашем кабинете были шумливы, впечатлительны, своими эмоциями бурно делились друг с другом. И я, корпя над рукописью, в таком гае чудом нахожу опечатки: «Джугджурский – крупный железнодорожный(!?) район Дальнего Востока (вместо железорудный), «целовая икра» (целевая игра), упакока (упаковка). Тиражировать подобные опечатки – непозволительно. Я понимаю занятость ученых и сам творческий процесс работы над будущей книгой, когда автору, озаренному идеей и погруженному в развитый рефлекс цели, не до стилистических красот и даже не до логики изложения. Как смогу, помогу, выстрою. Но ты, автор, хотя бы вычитай то, что легло на бумагу после машинки! Злюсь на гул в кабинете, и натыкаюсь на очередной опус в рукописи – «создание устойчивой двух-трехдневной семьи». Что бы это значило, – размышляю я, и с тоской бросаю взор на другую, зеленую папку с уже отредактированной рукописью, где напущена непозволительная тьма словесного тумана. При снятии вопросов с хозяином и этой папки, мнящим себя большим ученым, конфликта не избежать.

Любимые мной «зернышки» умолкают, и становятся почтительными слушателями, когда в кабинет заходит доцент Леденев. Неистовый, нетерпеливый и беспощадно искренний Михаил Иванович быстр в движениях, как всегда безукоризненно одет и страстен в речах. И я тоже отрываюсь от рукописей, чтобы посмотреть в удивительно светлые глаза ученого, послушать о Герцене, которого он обожает, или о новой концепции собственности.

М.И. Леденев одним из первых в институте заговорил о побудительных силах человека, сфокусированных в заботе о своем доме, о своей земле. Это было столь свежо и неожиданно, что, конечно же, нашлись оппоненты-ретрограды, для кого сборник научных трудов «Собственность: проблемы развития» был гвоздем, который, по словам Маяковского, «в сапоге кошмарнее всех фантазий». Потому и чинились немыслимые препятствия для публикации книги.

Михаила Ивановича, относившегося очень требовательно к своим печатным работам, я знала еще как автора «Тихоокеанской звезды». У нас завязались дружеские отношения в те годы, когда в крайкоме партии он курировал профтехобразование, и писал статьи о проблемах подрастающего трудового поколения. За короткое время, пока я в Чехословакии внедрялась в неведомую гарнизонную жизнь, он, мой ровесник, сделал блестящую карьеру: защитился, имел своих учеников, стал одним из ведущих ученых. Ему я доверяла и могла бы пошептаться, попросить расшифровать и перевести на человеческий язык смысловые рококо, обнаруженные при редактировании рукописи, что в зеленой папке. Тем самым, Леденев оградил бы от встречи с капризным автором. Что значат эти его «перлы»? «Исчерпанная плодovitость», «хозмеханизм, базирующийся на командно-административном пусковом устройстве», «труд воплощается в отходах», «зарплата отрывается от содержания», «мотивы любви и их производные», «высокие переуплотнения функций койки», «там следит частный капитал». Прочитав это, Леденев захохотал бы громко, заразительно, как только он это умел делать, но и поинтересовался бы, кто сие сотворил? А в тесном кабинете семь пар ушей, и полетела бы по институту гулять нежелательная информация о безграмотном ученом. Что ж, придется снимать вопросы наедине с этим оракулом. А он с амбициями. На каком коне подъехать? На дипломатии: «Вот у вас, Иван Иванович, глубоко затронута актуальнейшая тема, но есть досадные частности». – А в ответ: «Да что вы понимаете в науке? Кто вы такая?» И чувствуешь себя дурак дураком на фоне «зрелого» ученого мужа с его «мотивами любви и их производными».

Впрочем, «рабоче-крестьянский сын», как о себе говорил Михаил Иванович, тоже подавлял собеседника, но иным – эрудицией, образованностью, фейерверком идей, призывом к коллегам: «Человека потеряли! Думайте о человеке!». В его монологах – какие механизмы двинуть, чтобы дальневосточнику жилось хорошо, – бушевала страсть полемиста и, самым же укрощенная, ложилась в мощное повествовательное поле научных статей.

Почему я так много пишу о Леденеве, ведь институт богат на незаурядные личности. Саша Левинталь и Лиза Телушкина, Володя Сыркин и Валентина Бекошина – каждый из них знаковая фигура. Сейчас все они решают наши судьбы в правительстве Хабаровского края и достойны особого пера. А мысль неотлучно возвращает меня к Леденеву. Непросто сказать об этом, но сегодня, когда я пишу эти строки, июньским утром 2002 года прочитала в газете, что на 64-м году умер Михаил Иванович. И это потрясло, хотя догадывалась, что «русская тоска» его заела как никого другого. Трезвенник, жилистый, крепкий, он никогда не болел. Его болезнь – социальная: чем просвещеннее, возделанней, совестливей человек, тем меньше шансов выстоять в современных обстоятельствах бытия. Ученого одолели мучительные раздумья, чему служил, во что верил, порождающие сомнения, за каждым из которых пропасть.

В очередной «революционной эпохе» он увидел путь в отчаяние, свое бессилие изменить состав жизни, и, как написали друзья в некрологе: «Он жил жизнью державы, все ее боли пропускал через свое сердце, и боли эти оказались непереносимыми». Леденев относится к категории тех людей, кого англичане называют: «self-made-man» – человек, сделавший себя сам. Пацан из беднейшей послевоенной семьи начинал с осматривателя вагонов и вырастил плеяду кандидатов и докторов наук. И свою гибель он подготовил тоже сам.

Последний раз я встретила Михаила Ивановича случайно на Карла Маркса. Куда делся щегольской лоск, уверенная походка? Неожиданно, с болью увидела его лицо, измученное алкогольными цунами. Было по-осеннему ветрено, холодно. За пазухой я несла щенка, которым в очередной раз меня снабдила Вера Побойная. Увидев торчащий хвостик, Михаил Иванович улыбнулся: «Собачка? Это хорошо. Ты будешь повелевать. А вот если заведешь кота, то в доме поселится монстр. – И извлекая из кармана пачку дешевой «Примы» - раньше он курил «Бонд» - как бы извиняясь, скаламбурил: Лица кавказской национальности утратили личностные качества, кроме одного, вздули цены на сигареты так, что кандидатской зарплаты не хватит. – И без перехода: - Как назовешь? Дай собаке русское имя, будет служить верно. А вот моя жена приобрела кота. Меня-то он побаивался, а над супругой измывался». И начался яркий рассказ о проделках монстра, а в глазах рассказчика тоска, и весь он похож на больного орла. «У каждого свой понедельник», - подумала я тогда. Но «понедельники» у Михаила Ивановича были еще впереди – ампутировали ногу. А чтобы у нас лечиться, надо иметь железное здоровье, а в кармане много «зеленых». Ни того, ни другого у ученого не было. В редких перерывах от невыносимой боли, он писал то, что не успел сказать, и, как свидетельствуют его ученики, по ясности мысли, живой ноте и глоточка серебряной водицы Леденева не стоят нынешние многие борзописцы от науки.

Итак, Институт переезжал в новое здание. Роскошные помещения, несчеть кабинетов, актовые залы, столовка и даже предполагалась сауна с бассейном. Но у черта на куличках. Шумно занимая отдельные кабинеты, не догадывались, что не пройдет и полгода, как общество начнет разрушаться под ураганом «преобразований», когда в ненасытной топке «реформ» чуть не сгинула вместе с ВПК (военно-промышленным комплексом) российская наука. Во всяком случае, в 90-е годы произошла немыслимая прежде девальвация научных идей и разработок. Зарплату ученым платить стало нечем, и в Дальневосточном отделении РАН сворачивалась деятельность не только научных направлений, но и закрывались целые институты. Наш держался, что называется, на честном слове, но сокращались сектора, отделы. Почти семьдесят процентов сотрудников, не успев обжиться в новых кабинетах, оказались безработными. Профком во главе с Геньевной, так любовно мы звали бессменного референта директора Валентину Геньевну Булдакову, прекрасного организатора и талантливую поэтессу, за что я особенно ее уважала, заседал с утра до вечера. Рабочий день начинался с тревожного ожидания, в чей кабинет постучит председатель профкома, кто следующий?

В обеденный перерыв, захватив простыни продуктовых талонов, мы с Наташей Морозовой, научным сотрудником и другом, включив максимальную скорость, оббегали магазины близ поворота Спиртзавода. И если выпадала удача отоварить на мои четыре человека семьи чай, сахар, мыло, возникало радостное чувство - день прожит не зря.

О талонной системе ни сном ни духом не знала моя 89-летняя мама, по глубокой старости она уже не выходила из дома, читала лишь Библию и молилась у иконки Ангела Хранителя. Все прожитые годы бывшая партизанка, не раз плетью битая белоказаками, доверчиво ждала лучшей жизни. Ни в какую не хотела верить в талоны. «Ты брешешь!» – в бессилии кричала она. Надевала

очки, и, читая листы, разграфленные на наименование и граммы продуктов - хлеб, рис, пшенку - тихо плакала и снова молилась.

От наших многочисленных «зернышек арбуза» в отделе осталась одна я. И сильно переживала за Наташу Морозову. Мы сошлись с ней в пионерском лагере «Квант», где в благополучные годы отдыхали дети ученых, а нас посылали в качестве воспитателей. Обе везли своих чад, она – сына Руслана, а я семилетнюю дочь, боясь оставить их без присмотра. Меня пленили удивительная работоспособность Натальи Владимировны, любовь к детям, уникальная терпеливость к их выходкам. И мы подружились, не догадываясь о том, на всю оставшуюся жизнь.

Морозова занималась разработкой проблем социальной сферы, но, имея интересные научные труды, не успела защититься. Если такие социальщики, корифеи экономической науки, как М.И. Леденев, В.К.Заусаев, С.П.Быстрицкий, вынуждены были покинуть институт, к счастью, быстренько образовав свой – институт рынка, то у не остепененной Натальи Морозовой, отдавшей науке пятнадцать лет, оставался один путь - пособие по безработице. С двумя детьми, в сорок лет перестраиваться, начинать трудовую жизнь с нуля – не позавидуешь. И в таком положении, как она, оказалась несчетная армия интеллигентов.

Подобное переживала не только наука, а вся страна. Кто виноват? Что делать?

Это сейчас, через тринадцать лет, устав от ожиданий, мы не задаем подобных вопросов, притерпелись, однако, не адаптировались. И когда пенсионерам приносят квитанции с новыми тарифами квартплаты, конечно, с повышением, сначала пьем валерьянку, а потом, набравшись мужества, берем очки, изучаем трехзначные цифры. Но вспомним 1993 год, когда на полную катушку был запущен механизм «шоковой терапии».

Мои ровесники, нынешние пенсионеры, еще тогда работали. Душевному смятению нашему перед фактом нищенской зарплаты, которую не получали по полгода, инфляции с 1000%-ным ростом цен, настойчивой прививки капитализма на отвыкшую от него отечественную почву, - не было предела. Крутые дебаты о происходящем начинались поутру, как, только, спеша на работу, горожане ввинчивались в переполненный автобус. Дорога до института дальняя, за час наслушаешься и былей и небылиц - на роток не накинешь платок. От самобытных критиков-пассажиров не отставали газетчики, радостно обалдевшие от отсутствия цензуры. Нехватка глубокой вспашки перестроечного пласта жизни им простится, журналисты отражают факт, явление.

Но тут однажды за перо взялся профессиональный экономист из Владивостока. И в трех номерах газеты «Дальневосточный ученый» грозно возвестил об открытии им истинного виновника российских бед. Имя этому злодею, по словам экономиста, – Центральное разведывательное управление. И перестройка была задумана вовсе не в России, а за рубежом, службами госдепартамента, в частности ЦРУ. «Против нашей страны работает группа опытных специалистов по дестабилизации экономических и политических систем и психологическим методам войны - вещал он. И не вдаваясь в глубины анализа экономической ситуации, на весь ученый мир Дальнего Востока заявлял: - Реформа задумана для того, чтобы законсервировать богатейшие ресурсы, дабы свершился злодейский план планетарного захвата российских недр».

Не выдержало сердце нашего очень занятого директора, проповедующего иной постулат: в пестрой, очень сложной картине реального состояния общества понять происходящее – значит, дать надежду и победить. И вот в институте появляется объявление о необычном семинаре - «Современная критика экономической реформы на страницах печати».

Жаль, не присутствовал автор статьи, возмущивший профессора Минакира, и не было президента Ельцина. – Нет, я не сдурела, но, ой, как бы полезно было послушать главному реформатору, где постелить соломки при падении, смягчить удары и ушибы российские и собственные, чтобы, уходя в отставку, страна не оставалась клинически больной. А про соломку многое знал ученый-летописец экономики Дальнего Востока «конца советской цивилизации» и переходного периода Павел Александрович Минакир. Особенно после того, как профессор отпахал немыслимо тяжелый первый год перестройки в высших эшелонах власти - вице-губернатором, самым первым в администрации Хабаровского края.

Со свойственной ему метафоричностью, логикой, чистотой ноты, он начал семинар словами: «Три светлые цели, три заветные мечты несла в себе реформа – стабилизация финансов, товарного рынка, банковской структуры. Но вопреки замыслу был утрачен контроль над расчетами, что породило систему неплатежей, спровоцировав катастрофический спад производства.

Реформаторами это не предусматривалось, ибо они, затеяв переход к рынку, очевидно, видели только самый ближний слой разворачивающейся картины – свободные цены, наполнение товарного рынка, реконструкцию производства, начало безработицы».

И уже тогда, в 1993 году, задолго до появления на экранах обуржуазившегося на процентных ставках Лени Голубкова, хабаровский профессор предсказал разорение мелких вкладчиков, трудовых коллективов, обессиленных в тщетной борьбе за выживание, развал мелких коммерческих банков, куда соотечественники, соблазненные преуспевающим Леней, упорно несли свои последние кровные. Одним из первых российских экономистов директор нашего Института предсказывал, что в итоге, если неразбериха с законодательством не прекратится, начнется не процесс восстановления экономики, а всеобщее растаскивание средств: появятся безотказные схемы «накопления первоначального капитала», чрезмерного обогащения, влекущее к расслоению общества. Во всяком случае, старт к «наперстническим» комбинациям в масштабах страны, упреждал ученый, уже скрыто дан.

- Могло ли все это идти по другому сценарию? Очевидно, могло. Если бы не так мощно и неожиданно был изменен масштаб цен, безжалостно, массово сокращены бюджетные дотации. Для создания «миллиона собственников» государство должно было уйти прежде всего из тех секторов, где они убыточны – парикмахерские, прачечные. Вопреки этому, в частные руки передаются благополучные сектора, созданные трудом поколений.

- В столь критических ситуациях не подобает на страницах серьезной газеты Академии наук кокетничать апокалиптическими живо описаниями, угрожая, и проклиная всех и вся. Клацать зубами, пробуждать в себе и читателях злобу, агрессивность, это – лить воду на мельницу самых мрачных сил в России.

Редакторша «Дальневосточного ученого», получив стенографическую запись семинара, поморщилась, ибо тиражировать в свой адрес замечание хабаровского экономиста о желтой газете было нежелательным, но не решилась материал бросить в корзину. Однако при встрече с обидой упрекнула – у нас, мол, свободная пресса, хотим, печатаем о планетарной схватке или о хомячках.

«У поэта и доцента путь один – на базар»

Что сбылось, а что оказалось экономической неточностью в рассуждениях профессора? Обсудить этот факт с ныне член корреспондентом российской Академии наук П. А. Минакиром возможности не предоставлялось. Я видела его лишь на экране телевизора, слышала рассудительные, речи по радио – ушла из Института на заслуженный отдых. А вот предвиденье Павла Александровича, тончайшего знатока глубин российской экономики, о расслоении общества, «клацанье зубов», пробуждение в себе агрессивности, злобы на социальное окружение – свершилось. Этой болезнью поражалась генная структура общества. Не раз обманутые государством люди утратили терпимость, снисходительность, великодушные. Человек стал снижать пороги дозволенного – зловещий знак.

Однако Институт, куда пришла на годик-два, а получилось до трудового финала, вспоминаю с благодарностью. Он не травмировал, не усугублял психическое нездоровье, разрушенное утратами, помогал, чем мог в трудные годы.

Плохо другое: наука как никакая другая интеллектуальная сила плодит нищих пенсионеров, если ты, конечно, без звания. Мне, как и другим из вспомогательного академического звена, положили пособие по старости в размере, равном оплате посудомойки. В райсобесе так и сказали: «ИКП, коэффициент по средней зарплате – 0,886, самый низкий». А когда из почти 45-летнего трудового стажа, по-новому очень «гуманному» начислению пенсии, выпали годы учебы, работы в северных условиях, длительной командировки по месту службы мужа, ухода за двумя детьми, то получилось и вовсе с гулькин нос.

Радость от обретенной свободы от будильника, когда золотые полчаса перед сном с книгой превращались в полночи, были крепко омрачены безденежьем. Хоть уподобляйся журналисту Гиляровскому, который в начале века выходил на перекресток и кричал: «Денег в кармане в обрез: два двугривенных пятака».

К безденежью – рефрену моей жизни не привыкать. На «черный» день оставались книги, по тем временам, страшнейший «дюфисист». Где бы ни была: Охотск, поселки Приамурья, Колыма, Прага, первым делом – в книжный магазин. Каждое приобретение как подарок судьбы. Вот они тысячи две томов в книжных шкафах под стеклом до потолка в большой комнате. Но людское духовное обнищание коснулось и их: дети особого пристрастия к классике не испытывали и, небрежно потеснив дорогие моему сердцу фолианты, заложили их видеокассетами с пестрыми картинками обнаженных мужских торсов, белокурыми бестиями.

Говорят же политологи, что культурный слой нарастает веками, одичание происходит стремительно. Кому сейчас нужны подпитывающие дух и мысль многотомники Блока, Паустовского, Грина, Толстого, Достоевского. А Бодлер, Элюар, Верхарн? Хотя право владеть ими в недавние времена добывалось непросто. Почти у каждого томика, беспардонно задвинутого кассетами, была своя, памятная до мелочей история приобретения – город, поселок, люди, даже погода.

Помнится, шел обложной дождь, и в 5 утра мы, нищие студенты, стояли под зонтиками на Невском у Дома книги в длиннющей очереди за Ван Гогом и Гогеном, обрекая себя, если удастся купить, на недельное воздержание от обедов.

Не забыть, как 1 апреля 1965 г. в крохотной библиотеке прииска «Штурмовой» за печкой обнаружила выброшенную кучу списанных, запрещенных к чтению книг. Среди них – трехтомник Плеханова, видимо, наследство погибшего в колымских снегах ээка-интеллектуала, пронесшего в котомке через все лагеря и муки любимые книги.

Почему я зацепилась за эти тяжеленные фолианты? В «Основах позитивной эстетики» Плеханов предлагал рецепт людского рая, утверждая, что когда интересы вида (общества) и интересы индивида сольются, тогда и наступит радостная, чудесная жизнь. Хотелось, не спеша разобраться в справедливости его философских постулатов. Вот и волокла груз, рюкзак оттягивал плечо. До трассы пришлось идти километров семь. А мороз – 30 градусов. При этом невинно светило апрельское солнце. От холода не чувствовала ни рук, ни ног, и, когда достигла автобусной остановки, пассажиры ахнули: «Вот это Дед Мороз!» Кинулись оттирать щеки, лицо отморожено. Я еще долго ходила с черными щеками. И это в разгар календарной весны. Запомнился мне Плеханов...

Удивительное свойство книг, как и вещей, переживать хозяина. Я уже всерьез встревожилась, кому, когда меня не станет, будут нужны эти книги. Попытки передать в Хабаровскую краевую библиотеку или в школу, где учились мои дети, были безуспешны. Звонила, говорят – нет транспорта. И хотя нищета уже влезала в дом, физически не могла перебороть себя и действовать так, как это сделал Валерий Тряпша.

Бывшего поэта я недавно увидела на нашем базарчике, на Шеронова. Съездившись от холодного ветра, Тряпша уныло стоял среди молочниц, под его ногами – книги из домашней библиотеки, разложенные прямо на бордюре дороги. И сердце мое было сломлено. Видывала я здесь, рядом с китайцами-продавцами, бывшего доцента, преподавателя политэкономии, торгующего карасями и сомами, бывшего зам.главного инженера «Промсвязи» с дачными баклажанами и морковкой, но члена союза писателей с тридцатилетним стажем, это уже слишком. Смущенно сутулившийся, весь сивенький, Валера нервно поздоровался и, как бы защищаясь, без предисловий, поспешно стал рассказывать свои обстоятельства, побудившие стать за прилавок-бордюр. Поэтическое творчество в трудовой стаж не входит, пенсии на уплату за квартиру не хватает, льгот-то никаких, ветерана труда не заслужил. Работает сторожем на базе через двое суток на трети. «Вот, стою с утра. Ни одной книги никто не купил». Сердце мое продолжало подавать сигналы боли, слушая его обрывчатые воспоминания, как три года жил в одной комнате с драматургом и другом Александром Вампиловым, на каких только писательских форумах ни побывал, представляя сибирскую и дальневосточную литературу. В страшном сне не мог предвидеть такую нищенскую свою старость. А в кармане я сжимала последние 20 рэ, пришла на базар за десятком яиц. Ровно столько он запросил за «Три товарища» Ремарка – была своя, да кто-то увел, и хотя поклялась больше книг не покупать, храбро распростилась с денежкой, чем порадовала торгующего поэта.

Первую пенсионную зиму я кое-как прокантовалась. Однако с первого дня заслуженного отдыха не давала покоя мысль: как это так – проснуться однажды пенсионером? Руки и ноги те же, голова, умение, воля те же, и одновременно все не то. Знакомые пенсионерки трудоустраивались

лифтерами, дежурными на вахту. Как-то по утру, выйдя прогулять собачку, увидела легкую, стройную женщину в желтых резиновых перчатках, с веником и ведром, убирающую в нашем вонючем подъезде, и, узнав в ней Марию, жену знаменитого хабаровского тренера конькобежцев Каменева, я даже не удивилась. Хотя было чему. Мария Терентьевна, старший научный сотрудник, была самой модной дамой в нашем Институте – норковая шуба, бриллианты, гардероб из московских универмагов. Забыв про собаку, затащила необычную уборщицу к себе и за чаем, к своему удивлению услышала самодовольное: «Да я получаю, как нынешний профессор за лекцию. Пять подъездов – пять лекций. Дважды в месяц убрала, вот тебе и искомое». Милая, милая, Мария Терентьевна, - прежде чем сесть за стол, она долго как хирург мыла руки, а брови, лицо в пылице. Она и сама лучше других, кому лапшу на уши вешала с этой своей новой, «профессорской» работой, понимала, что одна лекция не равнозначна уборке пяти подъездов. Но удивительное свойство нашего брата интеллигента - из последних сил не уронить своего достоинства, оправдаться в том, в чем не виноват. Ее хватило еще на год – наш подъезд не подарок для уборщицы: кода на дверях нет, заходи, колись наркотиками, мочись. Заходили кому не лень. И это ей насточертело.

С Верой Побойной почти не встречались. По традиции на пятничные посиделки мы «съезжались» - проводили в складчину. Но как я могла позволить себе роскошествовать, если на завтра дочери-студентке надо обеспечить проезд до института с двумя пересадками. С тоской перечитывала новые стихи Риммы Казаковой, о героине, которой недоступны столики, «где разврат икры и вина» и ходит она со своим достоинством никому не нужна, но «вот даже девка продажная свою нишу нашла». Девка-то нашла, а наша ниша – пенсия, от которой, как говорила моя мама, на гиляку можно повеситься. И я на призывы Веры находила иные причины для игнорирования «гондурасов». Догадывалась ли она, не знаю, но не раз напоминала: «Ну что ты не пишешь в газету? Попробуй. Хоть какой-то гонорар». А я боялась взяться за перо. Столько лет прошло. А вдруг я – старое, разбитое корыто?

Последний эпизод меня добил. Стояла около овощного киоска с заморскими фруктами, заглядевшись на игру света, поблескивающего на персиках, яблоках и на соблазнительной груше с солнечным бочком. Занятие пустое – той мелочи, что оставалась в кошельке, и на морковку не хватило бы. А тут продавец взвешивает девушке бананы и эту самую грушу. Что на моей старой физиономии в минуту задумчивого изучения тропических даров было написано – не ведаю, но слышу: «Возьмите!». Молодая покупательница оборачивается ко мне, и как нищенке, подает ту самую с солнечным бочком грушу. Смушение, стыд вспыхнули во мне - до чего дожилась, подавание заполучила. Вот с таким флаконом чувств, пролепетав дарительнице «спасибо», с безрадостной грушей шла я по зимней улице Ленина и набиралась гнева на себя, призывая все свое мужество вновь, через двадцать с хвостиком лет, постучаться в двери когда-то родной редакции. Шел 1996 год....

Часть вторая
**МЫ ПРАВДУ ВЕЧНУЮ ИСКАЛИ
СРЕДИ ПОСЛЕДНЕЙ НИЩЕТЫ**

«Средь новых поколений»

Впрочем, в двери «ТОЗа» не стучала. Элементарно позвонила Вера Павловна и, поговорив о том, о сем – какого чудного щенка, кокершу Альку подарил сын, попевая на редкие «гондурасы», вспомнила: «Месяц заканчивается. У меня одна тема повисла – участковый. Найди хорошего. Напишешь?». И назвала адрес, где искать.

Тогда народ еще был доверчив и в экстремальных ситуациях по-прежнему в милиционере видел защитника. Но уже в те годы участкового, подобного Анискину, в Хабаровске найти, как иголку в сене. Это и понятно. Обязанностей у участкового невпроворот, и хотя власть безгранична, но зарплата мизерная, жилья не дождешься. О предпосылках грядущих негативных явлений я и поведала в материале.

Самое трудное, пожалуй, в этом возврате в родную редакцию – переступить ее порог, когда ты уже пенсионер. «Несчастный друг! Средь новых поколений докучный гость и лишний и чужой» Ну что ж, пусть лишний и чужой, но без маленькой прибавки к пенсии в виде гонорара мне – хана.

Все годы без газеты и за границей и в институте мне навязчиво снился один и тот же сон: я вхожу в золотые двери «ТОЗа», вижу узкие пустынные коридоры, десятки дверей с табличками имен журналистов. Пересекаю угловой кабинет, где между окнами проживали ужасавшие нас с Ириной Романовой летучие мыши, робко стучусь в свой, знакомый до боли, но кругом молчание и гробовая тишина. «Наверное, все на летучке». - И я бегу в «красный угол» – маленький «тозовский» музей, вместилище журналистских радостей и драм, где с нас снимали стружку на летучках или возносили на пять минут, где проходили торжества и банкеты, когда Володя Шулятьев, Валя Бавин, Андрюня Ивенский, ныне покойники, после здравниц и третьей стопки с птицей-радостью в душе приглашали на тур вальса новеньких сотрудниц. Но и «красный угол» наглухо закрыт, в редакции – пусто, ни звука, ни теней.

Надежда, что этот грозный визит останется в кошмарном сне, не оправдалась. Прифрантилась как могла, нацепив на себя все лучшее, - но не утаишь предательский возраст, выпила валерьянки – и на нерве, на ознобе двинулась участкового сдавать.

Как здесь шумно и как все изменилось! Незнакомые лица, озабоченная молодежь, сосредоточенно снующая с рукописями и сигнальными полосами. А интерьер редакции! Стены, лестничные переходы из немыслимо шикарной плитки! Здесь все дышало евро. В том числе – загадочная, цельнометаллическая дверь с сигнальным засовом-секретом, накрепко закрывающая от посетителя второй этаж, будто там не секретариат, а кладовые госбанка. Нынешний «ТОЗ» – это вам не хухры-мухры.

От нашей старой гвардии, как я поняла, остались Гена Зырянов – узнав меня, он с недоумением кивнул, Саша Чернявский, Сережа Торбин, в мои годы собкоривший в Амурске, а нынче он – в недостижимом кабинете Ф.Г.Куликова. И, конечно, Вера Побойная: «Ну, что напластала? Опять развезла на пять страниц. Придется сокращать, быстрее пройдет на полосе» - «Да, что хочешь, делай, без разницы». И она, перевернув листы, что-то черкнув в рукописи, на минуту исчезает.

У Веры Павловны стало слабеть зрение. Почитай-ка 45 лет немыслимые почерки авторов, соколиные глаза и те не выдержат. И чтобы пощадить глаза, читает «по диагонали». Убедившись, что материал более или менее стоящий, сразу отдает в машбюро, где нынче уже нет «Оптим», а стоят компьютеры - пусть наборщики ломают голову над авторскими загогулинами. И мой текст – правка на правке, осталась верна себе. Но в машбюро уже давно нет ни Тони Шершневой, ни Веры Сапожниковой, кто меня легко когда-то расшифровывал.

Малая дрожь, подло обуявшая меня при входе в «ТОЗ», слабеет. В редакционном коридоре я уже могу различать на дверях кабинетов таблички с фамилиями журналистов. Их в мое время не было, а - удивительно - виделись в том навязчивом, неприятном сне. Различаю, вспоминая, лица вахтеров, курьеров, когда-то молоденьких девчонок, а нынче чуть ли не бабушек. Меня тоже помаленьку узнают, шумно окружив на вахте, расспрашивают: «Как сын? Уже тридцать лет!» И когда телетайпистка Валя Букреева, припоминает, как во время дежурства по газете мой когда-то

двухлетний Сынок на ее разрешение: «Пока мама читает газету, посмотри мульти-пульты», поправлял: «Не мульти-пульты, а мультипликационный фильм», и шумно комментирует: «Представляете, малыш был, а выговаривал такие трудные слова», мы дружно смеемся. Но все, все здесь уже безвозвратно чужое.

За исключением пары, другой случаев, темы газетных выступлений мне никто не давал. Их в изобилии приносила неустойчивая, с нешуточными фокусами и людскими драмами жизнь. Так что если в публикации, как про «Блокадный Ленинград», пишу: «В редакции раздался звонок» - лукавлю. Следует читать, что, позвонили домой. Но подобное отражать в газете не принято. А что делать? Я всего лишь внештатник, читательские письма с «изюминкой» и «бомбой», понятно, разбирали журналисты, числящиеся в аппарате газеты. Но пол-Хабаровска – мои знакомые, с кем вместе росли, учились, работали. И у каждого второго – свои «бомбочки», трагедии, обиды, нанесенные бесцеремонной перевернутостью привычных устоев жизни. Так что моя квартира превратилась в неофициальный, нигде не зарегистрированный корреспондентский пункт, куда звонили и шли жертвы поборов, несправедливости, обманутые государством, ограбленные старики, к которым я относилась особенно трепетно, ведь мы из одного племени пожилых людей, брошенных без всякой ниши на ветру.

Сказать по правде, будучи молодой, недолюбливала стариков: ворчат, нудят. Никто не научил, что старость надо уважать как свое недалекое будущее. Верили Маяковскому: «Стар – убивать. На пепельницы черепа». «А польза какая от них? – с гонором думала я в свои двадцать лет, - Да лучше не жить, чем быть старухой». И вот надо же, как незаметно подкралась... За былое высокомерие, нечуткость юности Господь меня покарал: душа была напугана свалившейся старостью, болезнями, одиночеством. Да еще эти жалкие пенсионные гроши, с постоянным, неизменным: «Как свести концы с концами»? Подобное переживали поголовно все мои неработающие сверстники, сиднем сидящие, как не выдернутая редька в четырех стенах. А когда в эти стены входила реальная угроза, беда – кому кричать, кого звать. Все, конечно, зависело от пропорций, масштабов беды.

И как может не дрогнуть сердце от безутешного рассказа бабушки Любы. После безвременной смерти дочери, ее пятилетнего внука передали в полную власть наркомана-отца. «Я думала сердце потеряю» - рыдала бабушка (когда-то она работала с моим отцом в управлении ДВЖД и через столько лет разыскала). А по справкам в органах опеки папаша значился как благонадежный кормилец. Доказать истинную сущность зятя и взялась героиня моей публикации «Как бабушка Люба стала детективом». Вместе с ней и я бегала по значным местам и ямам вместо того, чтобы сразу же обратиться в милицию. Где, оказывается, уже полгода назад на папашу заведено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотических средств. И что было бы с малышом?

Почему пострадавшие от житейских бурь обращались не в редакцию? То, что даже на конверт для письма в газету сэкономили - это уж точно, таков нищий контингент будущих героев публикаций.

Хотя тоже, скажу вам, разные жалобщики бывают. Как, например, Н.Ф.Ерофеев. По телефону говорил проникновенно, со слезой в голосе: «Положил здоровье и силы на алтарь отечества. А когда стал старым, инвалидом 11 группы, ниоткуда помощи не получаю. Врач участковый не приходит, хоть ложись под образа, да помирай». И я бегу по ул. Зеленой, мимо домиков-завалюшек. Среди них, не веря своим глазам, вижу добротную, на фоне других, пятистенку пенсионера, с капитальными воротами, за которыми надрывно лают собаки. Из окон просторной веранды, где в тепле, уюте мы сидим вдвоем, видны ухоженные грядки, на которых моложавая супруга легко управляется с мощными кочанами капусты.

Годы не пощадили Николая Федоровича. Перенес два инсульта. Рассказывает о прожитом, и в глазах бывшего парторга, вспыхивает жизнь, голос крепчает: «Была партийная дисциплина, закон. А сейчас что?» Решительно и надолго переводит разговор на темы политики. И я ловлю себя на мысли, что собеседник уходит от сути тревожного звонка. Возвращается Ерофеев к сегодняшним проблемам с неохотой. А что хорошего: старость, бессонница замучила, всякие мысли ночью в голову лезут: написать бы Ишаеву или Ельцину обо всех этих безобразиях. Каких? Нет, пенсию получает регулярно, но маловато, соседу-участнику войны положили в два раза больше, и всю пропивает. Врач новый на участке уже приходил, выписал бесплатные лекарства, а улучшения в

здоровье нет. «В пособии по нуждаемости отказывают, из райсобеса не навешают», – напоминает на прощание Ерофеев.

«Не зубами скрипеть ночью долгою», – раздраженно размышляю я, возвращаясь с пустым блокнотом. – «Из этой тучи дождя не будет». Многие во сто крат хуже живут. И все-таки пытаюсь влезть в шкуру 77-летнего старика, объяснить себе, чем вызван звонок. Конечно же, простым и по-человечески понятным желанием сказать: «Мне плохо, я старый, у меня беда – утрачено здоровье. Когда рядом шумит веселая жизнь, вкалывает супруга и нет сил, как раньше, поднять одним махом куль картошки. Посидеть, как прежде, с товарищами по партии в заводском красном уголке – все в прошлом». Но как нам, старикам, и мне в том числе, не ропща принять земную истину – необратим вне нас установленный жизненный цикл: молодость, старость, угасание. Для достойного, без истерик восприятия жизни в «третьем возрасте», нужна энергия нового опыта. Где ее взять эту самую энергию, чтобы отрешиться от попреков всему белому свету.

Посмею заверить, немного иная психология у ветеранов войны. Мой замечательный сосед, последний в Хабаровске летописец войны, вдосталь понюхавший ее пороха, Юрий Леонидович Яхнин в преддверии Дня Победы звонил мне и требовал: «Возьми ручку, запиши фамилии, адреса. Об этих достойных людях еще никогда не писали». Он и сам мог это сделать лучше меня, но по горло занят в оргкомитете по подготовке к празднику. И я шла по адресам. Встречалась и видела, что они радуются как дети, когда накануне Дня Победы их находят журналисты, чтобы рассказать о былом подвиге. Нет, участники войны тоже живут, недоумевая, шумно возмущаясь новыми беспорядками. Но быть может потому, что более опекаемы государством: льгот больше, пенсия выше. К тому же бывших фронтовиков согревает сознание – за согнутыми ныне плечами большое дело, сотворена великая Победа, у них нет вот этой неприкаянности, пробуждающей злобу.

И все-таки, что сделали с нашими стариками? Почему среди них нет счастливых? Если под «счастьем» подразумевать отсутствие тяжких дум, боли, страдания. В материале с нескладным заголовком: «Кому из пенсионеров жить хорошо?» пыталась создать социальный портрет пенсионера перестроечных лет, на примере института «Хабаровскпромпроект».

Судьба этого большого коллектива, насчитывавшего около 700 человек, как в зеркале отражала судьбы подобных хабаровских предприятий. Промышленное строительство приостановилось, надобность в проектировщиках отпала, и специалисты высокой квалификации оказались на улице. Первыми, естественно, попросили покинуть стены института работников пенсионного возраста. Каково же их жизнеобеспечение?

Из 170 пенсионеров – большая половина живет в одиночестве, в основном вдовы. В двери 27 пенсионеров нужда еще не стучала – самим удалось устроиться на работу или дети не позволяют бедствовать. У остальных единственный источник существования – пособие по старости. Его, возможно, и хватило бы как-то перебиться, но львиную долю пенсии «съедают» дорожные лекарства. А без них никак нельзя: более ста пенсионеров страдает хроническими заболеваниями. Одних сердечников – 67 человек, многие перенесли инфаркт, у 19 – диабет, 29 стариков – инвалиды. Особенно нестерпима жизнь 45 пенсионеров, кому за семьдесят, когда в сражении с недугами, человек, лишенный качественных лечебных ресурсов, ухода, может оказаться побежденным.

Старикам не дает покоя мысль, кто и как их похоронит? «Дельфин», куда вкладывались немалые суммы, лопнул, оставив без гроша на черный день и без ритуальных услуг. Более того, распоясавшиеся внуки, дети – претенденты на жилплощадь, отравляя жизнь главных квартиросъемщиков (таких 13), досрочно подгоняют стариков к преисподней.

Вот такой печальный расклад людских судеб на спуске жизни только одного коллектива. Помножим его на сотни аналогичных, картина прорисовывается тягостная. Но ведь нынешние пожилые люди не дармоеды и не иждивенцы. Богатство, отнятое у них, и наши рыночные реформы, убей меня Бог, это не столько драма, сколько элементарная, бытовая уголовщина. Отсюда истоки таких материалов, как «Жить больше нет сил», «Полоса отчуждения», «Роковое наследство», «Милосердие у последнего приюта», «Кто построил Площадь Свободы?»

В этой темной палитре алгоритма жизни редким исключением были звонки, как этот – Ларисы Глатко. С ней мы, ликующие первоклассницы, носились с флагами и визгами по площади Свободы 9 мая 1945 года, наивно веря: вот вернемся домой и хлеба натрескаемся, ведь По-бе-да. Вдруг через столько лет звонит и спрашивает: "Ты знаешь, кто площадь Ленина построил? То-то. Вот тебе номер дома, квартиру не помню, спросишь Еремину. Ей за восемьдесят. Очень плоха, поторопись».

Старый дом специалистов - так его звали после войны. Здесь располагался наш кормилец, хлебный магазинчик, где, сжимая карточки и подпирая стены, мы проводили бессонные ночи, а сейчас – круглосуточный, сказочного изобилия и дороговизны «Колосок», на жилых этажах - решетки, коды. Квартиру Ереминой искала долго. К счастью, успела. Вскоре вдовы первостроителя не стало. Хабаровск с печалью проводил в последний путь и старейшину городских архитекторов Е.Д.Мамешина, с кем уточняла детали давних событий, запечатленных под рубрикой «Уходящая натура».

«Площадь Свободы – Сталина – Ленина»

Мерцающий свет керосиновых ламп в окнах жахтовских домишек с буйными цветами в полисадниках, крошечная темень площади Свободы и на краю ее, на асфальтированном пятачке - светящийся, праздничный цирк-шапито с зазывной музыкой оркестра – таким мне запомнился послевоенный вечерний Хабаровск. Возможно, здесь я, малолетка, неизменная зрительница «по заборной книжке» циркового чуда и встречала этого сурового человека-мечтателя. Но то, что он однажды повел свою молодую жену в шапито – вполне достоверный факт. Как и то, что одна из цветочниц, заметив счастливую пару, подошла к героям моего маленького рассказа и подала букетик розовых колокольчиков: «Барышня, возьмите». Цветы были необычными – гроздь лазоревых капелек, в народе называемых «Разбитое сердце». Таких, Марина Еремина в Комсомольске, откуда приехала, не видывала. А муж, смеясь: «Вот видишь, барышня, тебе уже дамы цветы дарят», приобнял жену за плечи, мягко повернул в крошечную темень площади Свободы, продолжая прерванный разговор о неведомых фонтанах, залитых светом десятков красивых фонарей, которые будут возведены на месте нынешнего земляного полотна, о кремлевских елях, усаждающих взор хабаровчан. Позже об этом не раз вспоминала Марина Даниловна, воспринимая рассказ мужа как несбыточную мечту, красивую сказку.

Какие там фонари да серебристые фонтаны, когда хабаровчане таскали воду на коромыслах с городских водокачек – лишь недавно отменили карточки на воду. А основной источник освещения в жилых домах – керосинки да лучина. Единственная в городе площадь Свободы представляла собой необозримое глиняное месиво, куда в распутицу без резиновых сапог доступа не было. Ночью – ни единой лампочки, даже в центре ее памятник вождю пролетариата не освещался, а в глубокой нише, как поговаривали в народе, пряталась «черная кошка». Так что уже в сумерках горожане старались обходить площадь стороной, тем более, что когда-то эта территория служила местом захоронения.

Но исторически так сложилось, что горожане стали здесь собираться в дни государственных праздников, не без риска остаться без галош, ибо разгуляться больше было негде.

И в самый великий праздник весь город, не сговариваясь и не боясь утонуть в грязи после ночного бурного дождя, ринулся с флагами, с песнями, гармошками именно сюда. Первыми были, конечно же, пацаны – мое нынешнее поколение стариков. Под гром салюта люди, хмельные от трепетножданного и пришедшего счастья, обнимались, плакали, целовались. Это случилось 9 мая 1945 года.

Кто же первый покрыл настоящим асфальтом эту площадь, называвшуюся ранее Николаевской, Февральской Революции, Свободы, проложил асфальт, воздвиг фундаментальный фонтан, увенчанный венками и семью малыми, боковыми, забившими серебристыми струями, зажег десятки фонарей, и ставшую достопримечательностью Хабаровска?

Строил ее человек, принадлежащий своей эпохе, называемой в истории сталинской. Не обойти ее, не объехать, она сформировала легионы верных ей людей, а среди них создатель площади – Алексей Дмитриевич Еремин. Его уже давно нет среди нас. Краеведческая литература не проливает особый свет на его имя. Но мне повезло - удалось разыскать вдову первостроителя Марину Даниловну Еремину. Бережно и памятно хранит она прожитое и пережитое.

С именем А.Д.Еремина связано строительство в Комсомольске-на-Амуре завода № 126, ныне имени Гагарина, которое он возглавлял. И когда цеха заработали на полную мощность, Еремина направили в краевой центр - председателем горисполкома. Назначение состоялось накануне 32-й

годовщины Октября. Торжественные военные парады в те годы в Хабаровске редко заканчивались без казусов. Нет, боевая техника была в полном порядке, но, поднимаясь с речки Плюснинки, танки, на подступах к площади, буксовали и вязли в сплошной грязи. Их приходилось извлекать тягачами.

Первое задание председателю горисполкома звучало буднично – уложить булыжником улицу Пушкина. До красной даты оставался месяц. Но не столько сжатые сроки беспокоили Еремина, сколько нехватка лопат, носилок, телег. Военный парад должен был принимать Р.Я.Малиновский. К нему и обратился за помощью Еремин.

Вместе с энтузиастами горожанами на укладке булыжника работали солдаты и, что долго скрывалось, военнопленные японцы. 7 ноября 1949 года военный парад прошел без ЧП. Эту дату можно принять за начало строительства площади, которое на первом этапе осуществлялось с возведения более-менее цивилизованных подходов к ней. И в дальнейшем она станет главным делом краткой жизни А.Д.Еремина, «первого председателя города», как тогда говорили о нем.

Ему предстоял колоссальный труд, сравнимый с возведением на болотистой кочке цехов авиазавода. С некоторыми особенностями - извлечь десятки гробов бывшего кладбища, перезахоронить останки. Перевезти тысячи кубов земли, провести коммуникации. И это в условиях, когда материально-техническая база у тогдашнего, юного горисполкома на нулях.

Из многих проектов утвердили тот, где планировка радовала глаз, и пешеходу пожелалось бы присесть на скамейку и отдохнуть. А как, к примеру, согласиться с тем, чтобы в центре площади вместо памятника вождю революции стоял главный фонтан? «Кошунство! Вы что, издеваетесь?» – возмущались партийные чиновники. Спас положение прибывший из Москвы новый секретарь крайкома Ефимов. Подумав, он сказал кратко: «В Москве площади озеленяют и фонтаны строят. Не мешайте Еремину».

Ежедневно на строительстве работало по 500 человек, а в выходные и того больше. Всех надо было сполна обеспечить носилками, тачками, лопатами, гужевым транспортом. Среди строителей в спецовке с неизменным: «Давайте, братцы, давайте» не чурался лопаты, носилок и главный прораб стройки А.Д.Еремин. И так изо дня в день. Четыре года подряд.

Площадь он построил. Чего это ему стоило?

- Инфаркта, - задумчиво говорит вдова. – Алеша умер в 46 лет. И не площадь повинна в ранней смерти Алексея Дмитриевича. Он посмел сорвать праздничный рапорт о сдаче жилого дома, к которому и на танке не подъедешь. Акт приемки не подписал. Такое не прощалось. Отстранили, оказался не у дел. А ведь всю жизнь он не принадлежал ни мне, ни сыновьям, все заполняла работа. – Марина Даниловна умолкает. О чем-то тяжело думает. – Строили завод, я после ФЗО – шофер грузовика, он - чернорабочий. Болел цингой, черный весь, едва отходила. Ничего хорошего не видел. Партии служил. Сейчас говорят, вот мол, партаппаратчики жили в свое удовольствие. А мы с мужем ни разу в санатории не были, за пределы края никогда не выезжали. Вот если на карьер в Корфовский едет за щебенкой и меня с собой захватит, тогда уж в кабинке «Студебекера» наговоримся. Еще, правда, в цирк Алешу однажды вытащила, там мне незнакомая женщина цветы «разбитое сердце» подарила. Хоть и название печальное, но были хороши. Я их выращивала в палисаднике и носила на могилку мужа.

Товарищи по партии легко забыли опального первостроителя. Но кое-кто из соседней страны помнил. В одной из первых поездок А.К.Черного в Японию на церемонии к нему обратился японец, бывший военнопленный: «Скажите, как звали вашего начальника, который строил главную площадь в Хабаровске? - Алексей Клементьевич нахмурил брови – о ком речь? А японец пояснил: - Тот, что не давал бездельничать. Сам лопату в руки, а чуть задремлешь, он тут же: «давай, япон, давай!» Чиновники от партии недоуменно переглядывались. Да ведь это Еремин! Кто-то при этом хохотнул, кто-то взгрустнул.

Как об этом казусе узнала Марина Даниловна, я не стала выпрашивать, ей девятый десяток, инвалид 11 группы. И хотя жила недалеко от площади, не могла по болезни пойти взглянуть на любимое творение мужа - из дома пять лет не выходила. Оказавшись с сердечным приступом в 3-й горбольнице, на площадь насмотрелась:

- Встану у окна палаты и смотрю, смотрю. С утра дворники площадь убирают, чистенькая, ухоженная, в рамках живые ковры цветов. Вечером – от фонарей светло, как днем. Наглядеться не могу. А от молодых слышу, мол, площадь, что строил Алеша, старомодна, аляповата. Кому, как! Постройте современную».

Мы мало задумываемся над тем, кто из градоначальников Хабаровска не на словах, а на деле оставил добрую память. С именем Ивана Романова мы связываем появление городского трамвая и памятника Хабарову. Александр Панченко воздвиг площадь Славы, одел в гранитную раму Амур и Утес. Павел Морозов построил городские пруды. Среди этих патриотов, внесших свою лепту в создание неповторимого облика города, и малоизвестный ныне А.Д.Еремин.» (статья опубликована в 1996 г.)

«Будуарный колокольчик молчит»

Через четыре года отстроили такую красавицу-площадь, что глаз не оторвешь. И когда я стою у серебристого фонтана, в душе пробуждается нечаянное самоуважение: как замечательно, что именно Хабаровск - мой город. Однако сознательно отворачиваю лицо от прикрытого кремлевскими елями пятиэтажного здания. В 3-й горбольнице такие условия, что и здоровый человек может заболеть: коридоры забиты больничными койками, на общем обозрении - людские тела из-под сбившихся одеялец, клочковатые, в ржавых пятнах матрасы. Летом – синие мухи и круглый год - тараканы. Здесь работает весь цвет городской медицины. Как они-то смогли притерпеться ко всему этому? Почему не бьют в колокола газетчики? И мне, старенькому воробью от журналистики, не удалось, как ни пыталась, и будуарным колокольчиком прозвенеть.

Все дело в том, что сигналом к журналистскому расследованию обычно служит читательское письмо, готовность автора и в суде подтвердить бесспорность негативных фактов, которыми оперирует газетчик. Маститые журналисты, как та же Вера Побойная, могут без всякого письма «подсмотреть» свежую для газеты тему, а, получив «добро» от редактора, расследовать ее, опубликовать. Мне же согласовывать будущие темы было не с кем. Если людские обиды, несправедливость хватили за душу, я внедрялась в тему. Право на это давал неопровержимый повод - глас народный, читательские письма. А их по больнице №3 не было.

Внештатница «ТОЗа» 70-х годов Валя Рудзевич, энергетик, навещавшая умирающую в нервном отделении однокурсницу, от возмущения с круглыми глазами рассказывала: «Смачиваю Милочке губы водой из стакана, а там - тараканы». Ее сбивчивый рассказ о баланде, которой кормят больных, в то время как во дворе в машину главврача грузят сметану, рыбу, продуктовые коробки (больные-то все видят), распаляет меня и я прошу изложить все это в письменном виде для редакции. Валентина протестующе машет руками: я же после похорон уезжаю.

Потеряв надежду, обращаюсь в санэпиднадзор с просьбой организовать что-то вроде рейда. В высоких инстанциях долго согласовывают предстоящую акцию и выносят вердикт: «Больница конечно, бедная и тараканы есть. Однако не надо беспокоить горожан. Есть предписание на ремонт». В специалистах для проверки отказали. Так эта тема и повисла, не реализовавшись.

А между тем, в судоргах-реформах что-то непостижимое происходило и в самой медицине. Мало того, что Россия занимает 185-е место в мире (среди 192 стран) по уровню заботы государства о здоровье людей, в судоргах-реформах что-то непостижимое происходило и с самими медработниками.

«Покушение на чуткость»

Кого сейчас удивишь тем, что зарплату люди не получают месяцами и даже годами. Это стало раздражающе привычным, как повышение цен, исподтишка, вроде бы невинное - на 10-70 копеек на тот же хлеб. Как говорил в «Вишневом саде» чеховский герой: «Каждое безобразие должно иметь свое приличие». Но о приличиях забыто. В суматохе несчастных реформ, жертвам их, нам с вами, предложено выкарабкиваться из безденежья, нищеты своим ходом, самостоятельно. При этом вовремя являться на работу, полной мерой проявлять профессионализм, пыл сердца, за вознаграждение в весьма отдаленной до невообразимости перспективе. Одними из первых, познавших тяготы преодоления субкультуры бедности, – так в

социологии называется сохранение социального статуса, стала хабаровская интеллигенция, в частности врачи.

КОГДА ПИСЬМА С УГРОЗАМИ об отключении света были приведены в действие, и подъезд пятиэтажки погрузился в темноту, жильцы поспешили в домоуправление выяснять личность злого неплательщика, предполагая, что в их среду законопослушных граждан проник или пьяница или тунеядец. А им оказалась всеми уважаемый участковый врач Елена Борисовна. Боясь разборок, после работы она тихо проскальзывала к своей двери. Но к чести соседей, они не ломились в дверь неплательщицы и не выставляли ультиматумов.

- И я решила снова идти в ломбард, - рассказывает Елена Борисовна. – Кольцо, сережки, подаренные мамой, я уже заложила. Остался фен.

Елена Борисовна пять лет работает в поликлинике № 1. О молодом враче говорят: «Труженица. И к больным приветлива, и от нагрузок не отказывается». Есть у медиков термин «переработки» - работать сверх тарифной ставки врача, составлявшей 270 рублей (!). Дабы приумножить эту сиротскую сумму, Елена Борисовна, в случае болезни коллеги, принимает вдвое больше пациентов, не отказывается работать в выходные, берет на себя функции медсестры, хотя документация преогромная: развернутые диагнозы больных, заполнение статталонов, регистрация льготных рецептов и за все это - 10-ти процентная прибавка к основной ставке. Как из них выкроить на квартплату - непостижимо. Можно, конечно, где-то взять ставочку, но этого позволить себе не рискует, боится оставить малолетнюю дочь до темноты без присмотра. А Олечка – свет в окошке, талантливая, прекрасно рисует, музыкально одаренная. В ее комнате стоит еще не старое мамино «Приморье», но музыкальная школа не по карману, потому в «Топольке» поет в хоре и ходит на гимнастику. Правда, для этого нужны карманные деньги, на проезд.

- А с автобусом, ну просто комедия, – бодрится Елена Борисовна. – Олечка хрупкая, но высокая. Чтoб сэкономить, пред оком кондуктора приседает, будто детсадовского возраста, прячет портфель. И откуда в ней это? – недоумевает мать.

Стыдясь бедноты, она умалчивает о том, что Оля с малых лет носит бэушные чужие вещи. Не знает вкуса домашних мясных котлет и заморских сладостей. Их заменяют рисовая каша с «Рамой», а на десерт – мамины вафли из муки и яичного порошка.

Детские Елена Борисовна не получала два года. Имея бойцовский характер, и наслушавшись по «ящику» депутата Вовка, нынче подала исковое заявление в суд и выиграла его. – «Но в соцзащите мне сказали: «Если бы у вас было двое детей, мы бы заплатили». Я перестала оббивать пороги. Зато добилась субсидию за квартиру. Свет сейчас не отключают»

Оптимист по натуре, она усвоила, что жизнь это соревнование в выносливости, и не теряет веру в лучшее.

БОРЬБА ЕЛЕНЫ БОРИСОВНЫ со скудным жизнеобеспечением – оттиск образа жизни большей части коллектива муниципального медицинского учреждения поликлиники № 1. Иначе не было бы этого тревожного письма в редакцию за подписью 127 человек с вопросом: по чьей воле они оказались за чертой бедности, хотя коэффициент их трудового участия ничуть не меньше, чем десять лет назад. «Постоянные задержки и низкий уровень зарплаты отразились на здоровье сотрудников. Многие страдают белковой дефицитной анемией на почве неполноценного питания, участились голодные обмороки. Матери, а коллектив в основном женский, не могут прокормить своих детей, дать им приличное образование». И выдвигают вполне законное требование, записанное в статьях 96, 201, 210, КЗоТа, получать зарплату пропорционально вложенного труда. А труд медиков – значителен.

Поликлиника № 1, имеющая дневной стационар, обслуживает 132 тысячи хабаровчан, проживающих в Центральном и Железнодорожном районах. На каждого участкового приходится по две тысячи жителей, за здоровье, душевное благополучие которых в ответе врач. С утра на два телефона в регистратуре обрушиваются сотни звонков, зовущих на помощь. Просторные фойе, коридоры заполняются больными, проживающими от 19-й школы до железнодорожного вокзала. Внешне здесь все, как и в дореформенные годы (а поликлинике этой 60 лет): чистота – идеальная, врачи вежливы, чутки. Но внутренняя жизнь, если в нее проникнуть, напоминает бурный, но хорошо скрытый от пациентов, вулкан, эпицентры которого – регистратура и касса. На прошлой

неделе получили полный расчет за апрель санитарки и медсестры, на врачей денег не хватило. И «разведка» докладывает неутешительное: «Денег нет, и не будет».

Прежде чем начать прием больных, бегут к сестре-хозяйке, хотя знают ее реакцию: «Доктора, помилуйте, кроме половых тряпок у меня ничего нет», но ведь второе орудие труда врача после фонендоскопа ручка, писать приходится много, а со стержнями - казалось бы мелочь, сплошные проблемы. Положенные семь штук на месяц расходятся за неделю. Устав от нареканий, сестра-хозяйка на свой страх разрешила предпринимателям поторговать обувью на крылечке поликлиники, за что выписана квитанция на 30 рублей, которые целевым назначением пошли на покупку стержней.

По пути на вызова, участковые врачи одалживают у «богатых» санитарок, получивших аванс, рубли, хотя бы на транспорт. Кстати, транспортные расходы – особая статья для волнения и стрессов. Раньше, имея проездные билеты, бед не знали. Сейчас на автобус тратят собственные средства и заполняют маршрутные листы, то есть примитивно клеят на бумагу-простынь до 150 штук автобусных билетиков. А уж потом высокая комиссия решает заплатить или нет. В случае положительного решения, возможно, через 3-4 месяца получишь свои кровные, за вычетом странного налога. Ну а если в кармане пусто, шагай, доктор, на Облачную, в аулы, тьму-таракань пешим.

Семь вызовов в день – это минимум. Согласно циркуляру, за 30 минут врач должен проникнуть через железную дверь, подняться на соответствующий этаж, осмотреть, выслушать больного, выписать рецепты. Уложиться в это прокрустово ложе не каждому медику удастся. Как и за 12 минут «узкому» специалисту установить диагноз. Как остроумно заметил фельетонист: «за 12 минут можно раздеть больного, одеть, перекрестить фонендоскопом и отправить на все четыре стороны». Фактически на первичного больного хороший врач (а в этой поликлинике работают высококвалифицированные специалисты) тратит вдвое-втрое больше за счет личного времени.

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ общеизвестны: поставить верный диагноз, не допустить острых заболеваний, оградить от хронических обострений. Как же врач достигает искомое? Для диагностирования нужна современная аппаратура и оперативность. Но на УЗИ, фиброгастроскопию очередь – два месяца. Можно сделать и через два дня, через бухгалтерию, но пациенты нынче неплатежеспособны. Сроки обследования затягиваются. Страдающему, например, язвенной болезнью врач рекомендует дробное, щадящее питание – паровые котлетки из свежего мяса (окорочка Буша здесь во вред), обилие фруктов, соков. Выписывает наиболее эффективное лекарство квамател. На десятый день такого лечения больной признается: «доктор, мне хуже». Никаких котлеток он не ел, лекарство не покупал - три его упаковки на курс лечения стоят 420 руб. Могут, конечно, предложить дневной стационар, но опять же современное лечение посредством вакуума, лазера, иглоукалывания, массажа за бесплатно не предусмотрено.

Изменилась и психология больного. Немного полегчало, просят, умоляют побыстрей выписать на работу с мотивировкой: «меня уволят» или «я получу копейки». Да и сами врачи, ежедневно имеющие контакт с инфекционными больными, стараются переносить недуг на ногах. Как известно, по больничному листу нынче платят по тарифной ставке, невзирая на то, что заболевание получено на трудовом посту.

А чего стоят участившиеся случаи конфликтов из-за льготных лекарств. Гнев, возмущение ветераны шумно выказывают врачу. Были случаи, когда, безрезультатно набегавшись по аптекам, бывший гвардеец врывается в двери врачебного кабинета с костылем: «Что вы меня за нос водите! Боритесь за наши права!» Подобные стычки в стенах поликлиники заканчиваются валерьянкой и приглашением невропатолога. Хуже, когда подобное происходит на вызовах, в неблагополучных, пьющих семьях. Сюда без сопровождения участкового милиционера приходиться рискованно.

Привычный образ добродушного, всеми почитаемого врача из серии газетных очерков 70-х годов «Здравствуйте, доктор», «Спасибо, доктор», сильно деформировался. Сегодня врач на своем участке знает все притоны, «ямы», куда его вызывают в случае передозировки наркотой или алкоголем. И врач смиренно готов к грубой словесной атаке, не реагирует на «усохни, старуха». А «старухе» нет и сорока, у нее за плечами институт с красным дипломом, ординатура в столичном городе, десятки спасенных жизней и... прозябание от аванса до аванса, когда трудно победить в

себе зависть к пенсионерам, получающим пособие по старости хоть и на сотню другую меньше, но зато вовремя.

В ЭКСТРЕМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ медработники живут с момента появления основного финансиста – фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Сюда от каждого предприятия независимо от форм собственности направляется 3,6 процента от фонда оплаты труда. Денежный поток немалый. Сетую на предприятия-банкроты, хронических недоимщиков, ФОМС переводит мизерные суммы учреждениям здравоохранения. Например, по платежному поручению в июле поликлиника № 1 получила на зарплату 30 тысяч рублей на 190 работающих, чтоб каждой сестре по серьге выдали по 150 рублей.(!) Второй источник финансирования - городской бюджет, но город в лице его мэра Филиппова оказался столь недееспособным, что, по мнению медиков, если бы не ФОМС поликлиника давно бы прекратила свое существование. И фонд, зная это, держит медработников в черном теле.

Результаты многочисленных проверок его финансовой деятельности не дают оснований эту бурно развивающуюся структуру упрекнуть в лукавстве, сокрытии. Но шила в мешке не утаишь, – чиновники ФОМСа себя, любимых не обижают. Здесь и волшебные ставки, путевки для оздоровления, лечебные к отпуску, конечно, своевременно. Все это естественно и замечательно – так должны жить все. Но на фоне бедствующих врачей и медсестер подобные блага воспринимаются не иначе как социальная несправедливость.

Впрочем, понятие «справедливость» нынче обернулось в устаревшее, стало допотопным архаизмом. И все-таки, покушение на нравственные ценности – милосердие, соучастие, чуткость, всегда освещавшие облик человека в белом халате, может привести к необратимым процессам. При любых катаклизмах, высшая целесообразность общества, которая заключается в проявлении заботы о сохранении здоровья человека, должна оставаться неизменной. (1998 г.)

Ну и к чему эти журналистские призывы? Исподволь начавшись, «необратимые процессы» в нищенствующей медицине породили среди «продвинутых» медиков, в чьих руках здоровье людей, систему прокорма на чужой беде. Перефразируя слова булгаковского Воланда, можно сказать: «Милосердие иногда по-прежнему стучится в сердца медиков, хотя финансовый вопрос их сильно испортил». С полисом, но с пустым карманом рассчитывать на эффективное лечение - это обречь себя на досрочное поступление в пределы «третьего» Хабаровска. И то, что врачам мало платят - словесная «отмычка», ставшая по сей день очень удобным самооправданием непомерной дороговизны медицинских «услуг», поборов, неприкрытого цинизма наших медиков, превративших врачебные кабинеты в торговые лавки.

Все это видели, знали, возмущались, а газеты молчали. Возможно, в «ТОЗе» и были письма, но Вера Павловна, курировавшая медицину, их не предлагала и газета помалкивала. Создавалось впечатление, что взят курс на корпоративную солидарность. Многократные мои подходы к этой злободневной для читателей теме заканчивались безуспешно. Спрашивается, ну что журналист может выплеснуть на страницы газеты, если не располагает конкретными, адресными, выверенными вдоль и поперек фактами? Общие фразы, типа, что врачи в некоторых медучреждениях вводят индивидуальную неоправданно высокую «платную медицину». Разве это новость? Беспредметный журналистский треп. И ни одной газете он не нужен.

С антирекламой по городу

Даже для своей статьи «Зубы на полку» о неумеренных ценах в стоматологии, где каждый приведенный факт на собственном кармане выверен, - вот они, платежные квитанции, на случай судебного разбирательства, - не нашла в Хабаровске газету, которая могла бы опубликовать ее. Со всеми редакциями у данной поликлиники, где имеется «салон для особо важных персон», заключены договора на рекламу. «Нам платят, на антирекламу права не имеем». И только «Хабаровский экспресс», к которому городские журналисты-классики относятся скептически, опубликовал материал.

В процессе реформ незаметно закончилась эпоха очередей, знакомая всем до боли. На смену пришли иные времена – потребителя ждуют, он желанен, особенно тот, у кого тугой кошелек. Однако среднестатистический, небогатый хабаровчанин придумал себе новое занятие – бегать по торговым точкам города, сопоставлять, отвергая или обретая. И представьте, изыскивает. Разница невелика, от полтинника до червонца, однако, в совокупном варианте – чувствительная для обедневшей семьи. Движение страждущих ширится. В его ряды вступили потребители разнообразного вида услуг, в том числе стоматологических. Здесь разница в денежном выражении измеряется не рублями, а тысячами. Вот что об этом сообщает в редакцию хабаровчанка Л.Н.Егорова:

«Я пенсионерка, и как льготница состою в очереди на протезирование. Но потребовалось срочное вмешательство стоматологов. В широко рекламируемой умеренными ценами хозрасчетной поликлинике на Ленинградской, где предусматривается 30-типроцентная скидка для пенсионеров, мне определили стоимость объема услуг в 3000 рублей с предоплатой. В стоматологии старого мединститута затребовали 4500 руб. На Забайкальской – 2380 рублей. На ней я и остановилась. Возможно, в Хабаровске есть стоматология с еще более умеренными ценами. Не прогадала ли я? И почему столь высока разница в оплате?»

Не праздные вопросы. С ними мы обратились в комитет по политике цен Администрации края и выяснили, что причин плавающих цен на один и тот же объем ортопедических услуг множество. Цены утверждаются на основании фактических затрат на медикаменты, материалы, зарплату, услуги, развитие материально-технической базы самого учреждения. Структура затрат предусматривает повышение цен за аренду, коммунальные услуги, в калькуляции есть строка о расходах на капитальный ремонт.

В стоматологической поликлинике старого мединститута действительно произведен капремонт, который обошелся в миллион рублей. Значит, по логике, и эта сумма частично включена в стоимость услуг.

Но вот другой факт. Здание поликлиники, что на Серышева, построено лет 15 назад. Казалось бы, все строительные долги позади, и в структуру затрат на услуги не должны входить. Однако эта поликлиника – одна из самых дорогих для внеочередников-пациентов. Это я испытала на собственном кармане.

В 70-е годы в газетах мелькали рубрики «Журналист меняет профессию». Через 30 лет мне не пришлось менять профессию, чтобы попытаться расследовать мощный пласт проблем, связанный с ортопедической помощью, в которой нуждается 150 тысяч пенсионеров нашего края. Острая зубная боль, флюс от уха до уха погнали меня, в который раз, в эту поликлинику, услугами которой пользуюсь по месту жительства много лет. Не буду наводить тень на плетень, специалисты, аппаратура здесь классные. Но как в каждом производственном процессе бывают досадные исключения. Среди них – я: поставили два штифта, за которые плачено по прейскуранту, через год пришлось один за другим удалять. Вслед за ними недавние «мосты» тоже развалились и эта боль, хоть на стенку лезь. После оказания первой медпомощи, за дело взялись ортопеды. Протезирование предстояло сложным, но врач успокоил, что это удовольствие будет стоить не более 3,5 тыс.руб. Эту сумму в размере моих трех месячных пенсий добыла. Но когда дело дошло до кассы, оказалось, что предстоит заплатить 5343 руб. Ошибочка вышла солидная. Невезуха и есть невезуха. Пришлось идти на общих основаниях на поклон к главному врачу. Главный был в гнев... на меня: по какому праву я, беззубая, шепелявая дамочка, подвергаю сомнению справедливость окончательного расчета. Одним словом, - «поди вон». Ну, я, как и автор письма в редакцию Л.Н.Егорова, пошла по стоматологическим поликлиникам, в поисках услуг подешевле.

В Хабаровске 34 поликлиники, оказывающие ортопедическую помощь. Из них 22 коммерческих отменя сразу. Здесь плату только за вход не требуют. Остальные – муниципальные, где достаточно большой набор официально бесплатных услуг. При этом пациенту предлагается право выбора – не желаешь томиться в очереди, выложи соответствующую сумму, по принципу: «как только, так сразу» на лице засверкает американская улыбка.

Однако и в дореформенные времена ортопедическая помощь населению была платной. Но рассчитывалось за пациентов государство. Нынче же 19 категорий льготников имеют право

получать ее в поликлиниках, независимо от форм собственности, за счет местного бюджета и фонда обязательного медицинского страхования. Однако, усвоив, что в наше лукавое время, когда все поставлено на денежный конвейер, воспользоваться этим правом фактически нереально – долгосрочное ожидание в очередях не согревает, а уж когда дело касается беззубой улыбки, тут уж льготники спешат воспользоваться платными услугами, которые, как видим, имеют свойство плавать во все дозволенном рыночном пространстве. И пациент направляет свои усилия на поиск поликлиники, где не дерут в три дорого. Но далеко идти не пришлось. Спустилась по ул. Запарина, и вот на пути - «Вивея», где услуги за ту же цельнометаллическую конструкцию были оценены специалистами в 2324 рубля. Правда, так как эта поликлиника не по месту моего жительства, пришлось дополнительно платить за рентген, перчатки, шприцы. И все равно получилось в два раза дешевле, чем на Серышева. Да еще врач-ортопед с золотыми руками попался – Нина Тихоновна Бухтоярова, с ее тихим, успокаивающим голосом в экстремальные минуты врачевания: «Потерпи, вот и хорошо». По сей день несу в сердце благодарность за ее чуткость, понимание, и с недоумением размышляю: две стоматологические поликлиники находятся по соседству, Амурский бульвар перейти, а разница в стоимости услуг – ого-го!

Прокомментировать данную ситуацию и пояснить положение дел в стоматологии я, уже не шепелявя, попросила главного стоматолога края А.Н.Пак.

-Нужно разобраться какой вид протезирования применялся, какие комплектующие материалы использовались. Не исключено, что за время хождения пациента, произошло удорожание их, ведь цены неуклонно растут. Обратите внимание на другое, льготники-пенсионеры уже не возмущаются, что приходится платить, морально готовы к этому.

Не мудрено, стоматологи вышколили пенсионеров, большинству из которых не светит и до конца дней воспользоваться льготами. Медиков понять можно: как только поступают бюджетные средства, они справедливо отдают пальму первенства участникам и инвалидам войны, нуждающимся в ортопедической помощи. А таких в крае 6500 человек. Пенсионеры же идут по остаточному принципу.

- Рассчитывать в перспективе на серьезную финансовую поддержку со стороны Фонда обязательного медицинского страхования наивно. И вот почему. ФОМС пополняется за счет отчислений из зарплаты. В Хабаровске, например, на 210 тысяч работающих приходится вдвое больше пенсионеров и детей, чье здоровье фактически они оплачивают. Только на обслуживание 13 тысячи очередников-пенсионеров потребуется 27 млн руб. Живых денег. Их нет, и вряд ли будут.

При данных условиях, зачем же вводить в заблуждение пожилых людей, обнадеживая и заставляя ждать годами. Не честнее ли пересмотреть категории льготников, официально отдав предпочтение главным старикам – ветеранам войны, труженикам тыла, остро нуждающимся, конечно же, установив контроль над расценками за ортопедические услуги, не позволяя им в свободном полете взлетать в заоблачные выси. На эти вопросы ответа пока нет.

(Статья опубликована в 1998 году)

Конечно, в художественном отношении об этом материале нельзя сказать, что он насыщен энергетикой творческих воспарений. Как и о других моих публикациях. Мне было важно спросить прилюдно: «Люди добрые, что же творите?» Ведомая этим посылом, журналистская работа затягивала. Все, что во мне молчало двадцать лет и было Кем-то заложено, не провалилось в преисподнюю, а вдохнуло силу души, придало энергию: при первом свистке - детдомовских детей выгнали на мороз – мчаться на Красную Речку, высиживать часами в «предбаннике» чинуши-замминистра в ожидании комментария на предмет торговли дорогими, не сертифицированными товарами. И по поводу качества журналистских материалов вынуждена согласиться: длинноты, многословие, торопливость – все это тоже присутствовало. А у редколлегии «ТОЗа» вызывало одномерное, не радужное восприятие. Тем более и журналистика стала другая.

Из современной газеты исчез как жанр мой любимый очерк. Чтобы, к примеру, рассказать сколько тонкости и нежности, восторга и уважения сберег мой дачный сосед В.П.Боликов к своему другу, к уже немолодой жене, пришлось придумывать письмо в газету, якобы от дачников (на летучке, рассказывала Вера, Зырянов расшифровал этот мой ход и все хохотали). Приспосабливаться под рубрики, типа «Будьте здоровы» для рассказа о «новых бедных» пожилых

супругах Молотовых, кто и в вялой мутности жизни находил светлые, чистые струи. (Этот материал воспроизвожу в знак светлой памяти о Владлене Михайловне.) Да и во что может превратиться духовная жизнь города среди поголовно «торгующих во храме» без таких замечательных хабаровчан - подвижников, как ученый-философ В.И.Симаков, носителей кладеза знаний о «несказанном, синем, нежном» Г.И.Козлова, А.А.Плаксия, рядового эколога О.М.Мориной, которая из года в год с детьми чистит хабаровские малые речки. Не привожу тех, чьи имена постоянно на слуху хабаровчан и в «утренних звонках». Интервью решительно вытеснило старенький, теплый очерк. Видимо, таково веление времени.

На смену традиционной школе журналистики, отечественной, тяготеющей к пространному осмыслению факта, авторскому размышлению, пришла иная школа, рассчитанная на зарубежные стандарты. Газетчики называют ее компьютерной, где предпочтительней факт и немногословный анализ. В такой манере давно пытается излагать свои материалы «Молодой дальневосточник». Лаконично, темпераментно выстраивается первая полоса «Тихоокеанской звезды», не утруждая читателя менторством, банальным моралитэ. Мы же, старые журналисты, остались верны отечественной школе, и вышибить себя из привычного седла не хватало умения, а вероятней всего таланта.

Но не только по этим причинам отношения с «ТОЗом» складывались своеобразно. В газете так было всегда: вышел номер с острым критическим материалом – утром держись, автор, на стуле покрепче – резкие звонки, претензии на повышенных тонах, угрозы. Нужна дипломатия: умело «держать удар», микшировать переговоры, переводя в плоскость беседы без эмоций. Вера Павловна ничего не боялась, даже позволяла себе роскошь огрызаться – так было при мне - и почти всегда выигрывала: за ее спиной - вся редакция и Главный. А кому нужен внештатник, которых у газеты десятки, да еще пенсионер? У вас претензии к публикации? Сообщите в письменном виде, примем меры. Конечно же, к автору! А чаще нарушители прав человека упреждают возможность публикации. Не успела я расследовать письмо уволенной учительницы, посмевшей заявить о «мертвых душах» вечерней школы, как мне звонит Вера Павловна: «Что ты натворила? Кто тебя уполномочивал? Звонили из гороно. На тебя жалуются» Я не решаюсь доказывать, что ничего противоправного не совершала, а встала на защиту учительницы. И благодарю Веру – хорошо, что предупредила. Понятно, материал в «ТОЗ» вряд ли пойдет. Во избежание конфликтов с чиновниками, к нему будет повышенное внимание со стороны редколлегии, каждый выскажет свое «фэ» по поводу стиля, «сырости». Здесь уж оспорить трудно. И я снова несу рукопись в другую редакцию.

Когда материал в «корзине»

Почему-то абсолютно не воспринимаются хабаровскими газетами острые корреспонденции на милицейские темы. Князева с его прес-центром УВД, рапортующим о победных розыскных операциях, пожалуйста, - на первую полосу. Но как-то так совпало, что ко мне обратились, не сговариваясь, сразу две пожилые женщины-матери. Их великовозрастных сыновей, пьющих на улице бутылочное пиво, «застукала» патрульная машина и своеобразно наказала. Вот куча бесспорных врачебных справок из травмпункта, судмедэкспертизы, больницы, где на излечении находились потерпевшие. Их я прилагаю к материалу.

НЕ ПЕЙТЕ «ПРАВИЛЬНОЕ» ПИВО

– милиция ограбит, будет больно и долго бить

Об этом не догадывался О.В.Алешин, когда с односельчанином Г.Носовым беспечно приобрел в магазине «Пан» по бутылке «Бочкарева», чтобы скоротать время в ожидании вечернего трамвая на остановке Муравьева-Амурского. Настроение у Олега Викторовича было радужным: только что за свои сельхозтруды получил 1580 рублей. Для сохранности – здесь же, на остановке переложил их в заветный карман брюк. Не этим ли привлек внимание сидящих в близко проезжавшей патрульной машине, – размышлял он, когда с проверкой документов из нее вышел молодой лейтенант. Причин для задержания не было – паспорт у Алешина при себе, где указано,

что он житель с.Камене́ц-Подольское района им. Лазо, а устно пояснил – едет к матушке на улицу Джамбула. Но по требованию милиции пришлось, глядя на ночь, отправиться с односельчанином Геннадием Носовым в противоположном направлении - на ул. Панькова, 19.

Пребывание в «комнате» – так культурно обозначается в протоколах клетка с решетками, для Г.Носова обошлось без рукоприкладства, только заставили снять ремень, инурки – денег у парня не было. Позже, в заявлении прокурору Геннадий напишет: «Было противно от увиденного». А вот для его старшего товарища О.В.Алешина, когда стали изымать 1580 рублей, наступила натурально клиническая жизнь, как говорят сатирики. Олег Викторович требовал занести изъятую сумму в протокол. Однако никто не собирался этого делать. И предчувствуя, что прощается с кровно заработанными навсегда, стал называть этот факт своими именами и даже трясти решетку. От правды-матки дежурный милиционер крепко осерчал. Предстояло успокоить оратора. В данном отделении милиции это умеют делать радикально, двумя способами. Способ первый, не оставляющий синяков – удушение плечом. Недавнему собственнику денег зажали кадык, а он, отдышавшись, за свое: «Занесите деньги в протокол». И тогда прибегли к «ласточке»: 45-летнему мужику туго перевязали ноги, руки тонким пистолетным ремешком и стягивали на спине до предела, а, повалив, стали бить ботинками. Не каждый выдержит и час в подобной позе. Но Алешин – закаленный физическим трудом человек: у него в районе Лазо 4 гектара земли, хозяйство (от коней до коз), и со всем приходится управляться самому. Он продержался в «ласточке» три часа. «Неужели три?» – удивится позже следователь. Но и спартанское мужество не помогло. Почувствовав, что умирает, взмолился: «Лучше убейте, но развяжите».

Однако к чему, спрашивается, Алешин переносил все эти страдания? Изначально и возмущаться не следовало. В протоколе административного задержания за номером 206586 в графе «при освобождении получил» указаны связка ключей, паспорт, а о деньгах - ни слова. Естественно, в данной графе не зафиксировано, что в «комнате задержанный» получил «ссадины на лучезапястных суставах, кровоподтеки лица, левого бедра» Это уже из акта освидетельствования врачом краевого бюро судмедэкспертизы О.А. Пузыревой, куда обратился пострадавший О.В. Алешин.

С более серьезным диагнозом – «Двухсторонняя посттравматическая тугоухость с разрывом барабанной перепонки» покинул временную камеру в отделении милиции, что на ул. Лермонтова того же Центрального района, 55-летний В.Н.Глинский. Взяли его тоже близ трамвайной остановки. Мирно шел с рейкой для плотницких работ к своему дому на ул. Щеронова. А повинно опять же это самое «правильное» пиво, по паре бутылок которого купил на радостях случайной встречи давний приятель. Посидели во дворе дома Глинского, поговорили за жизнь да простились. Захватив рейку и открывая дверь родного подъезда, почувствовал хлопанье по плечу. Молодой лейтенант в милицейской форме предложил проехать в отделение. Как выяснилось позже, в этом доме случилась кража, опрашивали сомнительных граждан. Так почему бы, по логике, не подняться в квартиру Глинского и не выяснить паспортные данные на месте?

В отличие от Алешина, задержанный вел себя безропотно, денег у инвалида III группы Глинского не оказалось. Хотя единственная ценность, подаренные часы «Сейко», тоже были изъяты и не внесены в протокол, протеста от владельца не последовало. Вот только в процессе нахождения в камере «правильное» пиво дало себя знать. В соседней клетке по этому поводу прилично одетый гражданин уже давно криком кричал «Мужики, выведите!». Любителя данного напитка не выводили, и он стал делать «это» прямо в клетке, за что был нещадно бит. На пятом часу воздержания, уже ничего не соображая, Глинский невольно последовал примеру соседа. И тут же получил сзади сокрушительный хлопок ладонями по ушам. Его, хлипкого, повалили и далее по известному сценарию, пока цементный пол не стал абсолютно сухим.

То, что сломаны ребра, Глинского не очень беспокоит, не отличаясь добродетелью в молодости, он уже прошел эту школу, а вот то, что в области уха гематома и разорвана барабанная перепонка, больничная палата и перспектива полной глухоты, без средств на лечение – от этого он переживал. А еще сильнее – мать, которой на старости лет придется ухаживать за инвалидом-сыном.

Больше месяца потерпевшие, их родственники беспокоили силовые структуры Центрального района: требовали возврата изъятых денег, часов, оплаты лекарств, медицинских услуг. И хотя бы извинения за беспричинное задержание и побои. Их заявления ни прокуратура, ни

ГОМ УВД всерьез не рассматривают, спуская на тормоза. Очевидно, действует, близкий к антирекламе тезис – не пейте «правильное» пиво, да не будете задержанными, ограбленными и битыми «карманниками-щипачами» в милицейской форме.

(статья, опубликованная в 1999 г.)

«Ты была в камере? Видела эти способы – удушение плечом, «ласточку»? - Отодвигая в сторону справки с врачебными экспертизами, пытал меня руководящий коллега, прежде чем отказать в публикации. – А были ли деньги? Кто докажет? Свидетелей нет. Милиция от всего откажется. Так что - извини». Почти тоже самое, только на «вы», говорили в других редакциях. И мне ничего не оставалось, как вернуть все документы потерпевшим и признать свое полное поражение. Впрочем, вскоре Глинский умер, а Олег Алешин боится города как огня и не выезжает из своего Каменец-Подольского.

«Ищу другую газету»

В «ТОЗе» на мою седую голову постепенно собралось прилично «телег». Были, очевидно, и поддерживающие автора читательские мнения. Однако негативные эмоции запоминаются ярче. Если в материале о жилищных махинациях «Трехкомнатная квартира за полкило колбасы», когда семья в 11 душ оказалась на улице, названы чуть ли не имена специалистов службы опеки, нотариусов, оформивших незаконную сделку, – жалоб, обвинений не оберешься. А тут еще поддал жару случай: отделение Центра психического здоровья, приняв на лечение молодого наркомана вместе с родительскими миллионами, через неделю вернуло матери бездыханное тело сына. Названные в статье служивые люди, ненадлежащим образом выполняющие свои обязанности, одолевают редакцию телефонными звонками. И когда их число достигает критической отметки, а автор – человек с улицы, его материалы еще и редактировать надо, ему говорят: - «Ваше сотрудничество в нашей газете нежелательно».

Не хочу строить из себя ярую правозащитницу. В этой жизни всякое пришлось испытать, в том числе изрядно идти на компромиссы. Как с Ильинкой, где располагается 9-е отделение Центра психического здоровья. По сей день жгут угрызения совести, не подняла тему, дала слабинку. А было это в 1997 году.

Перед этим «концлагерем» на окраине Хабаровска, где уныло завершают существование истощенные до крайности люди с безумными лицами, на шумевший фильм о душевнобольных «Полет над гнездом кукушки» – детские игры в песочнице. В Ильинке пациентов держат на голодной диете, 35-летние мужики противоестественно измождены. Поставили одного, средней стати, на весы – 43 кг! Санитары бьют и измываются. Есть свой карцер. Медики, по всему видно, воруют продукты, лекарства и грабят инвалидные пенсии обреченных. Но не по этой причине отделение под угрозой закрытия – у Центра нет средств содержать его.

«Как гуманно, не нарушая законов этики, показать душевнобольных, которых еще и цинично обкрадывают те, кому доверены их судьбы», – размышляла я. Но на меня навалились медсестры, врачи: «Если статья будет опубликована, отделение разгонят. Куда пойдут эти 117 сумасшедших?». И писать не решилась. Искала себе оправдание: слабая доказательная база, никого конкретно из медиков, санитаров за руку не схватила. А если страдающих шизофренией, чьи поступки непредсказуемы, и впрямь выбросят на улицу или в жилые квадраты родственников? Нет, не могу грех на душу брать. Конечно, материал о подобном Освенциме под Хабаровском мог бы стать в газете «гвоздем». Но зачем дразнить высокопоставленных гусей – начальник центра Михайлов со своими могущественными связями меня бы раздавил. А поддержки и в самой редакции, где у внештатника – птичьих права, не найти. И без того раздражала молодых «ТОЗовцев»: нашлась, видите ли, такая умнее других, дерзкая бабушка-старушка, у теплой батареи бы сидела и ждала своего часа «в ту страну, где тишь да благодать», так она пороги редакции со своими опусами обивает.

Обивала без радости и совсем наоборот. Каждый визит в «ТОЗ» был для меня мучителен. Даже стоя в окошко за гонораром и, подбадривая себя юмором М.Светлова, говорившего, что его

любимые слова: «сумма прописью», испытывала дискомфорт. Почему-то робела в этих стенах. Старалась держаться прямо и не могла совладать, все во мне сжималось. И за это ощущение униженности тихо и долго презирала себя. А когда Вера сказала со всей прямоотой о нежелательности сотрудничества, и в доказательство тому материал «Дом, построенный на водке», где производители паленки до смерти травят сельское население, был возвращен после месячной лежки в секретариате (якобы у кого-то из журналистов в этом селе дача и в отместку за публикацию ее могут сжечь), поняла, песня моя в когда-то родной газете спета.

Однако меня остановить было невозможно - «Тот, кто направляет мой корабль, уж поднял парус». И не на одном «ТОЗе» нынче свет клином сошелся, газет в Хабаровске полно, правда, не столь влиятельных, тем не менее, печатное слово до читателя донести можно. Просто нужно мобилизоваться, аккуратней готовить рукописи, в блокноте иметь в два крат больше фактов, чем в статье – таково правило журналиста. И прихватив материал с банальным заголовком «Беспризорники», пошла по Хабаровским СМИ искать уголок на газетной странице.

«В «Молодом дальневосточнике» Саша Николашина меня выперла не сразу. Я с нежностью смотрела на мягкий изгиб руки с дымящейся сигаретой, пока она читала мой опус, вспоминала ту Сашеньку из книжного издательства, что работала выше нас этажом в редакции. Умненькую, черноглазую. Как-то они с Людой Клипель, моей любимой подругой, пришли на день рождения: обе молодые, высокие, черноглазые. Увидев их, моя прелестница, трехлетняя дочь поинтересовалась: «Вы дворняжки?» (вместо двойняшек), и мы дружно хохотали. Сейчас Александра Викторовна признанная хабаровская писательница, плетущая поистине брюссельские словесные кружева в своих полотнах, и я искренняя почитательница ее таланта. Несмотря на сурово-поучительный тон, смиренно выслушала справедливый вердикт - по стилиевой канве мой материал об армии хабаровских беспризорников молодежной газете не подходит, сделала бодренькую, неомраченную физию. Но покидала дымный кабинет как побитая собака.

Другую газету, конечно же, нашла. И великое спасибо этой редакции. Пускай бедная, как церковная крыса, но только по деньгам. У нее были такие тяжкие месяцы, когда журналисты вместо гонорара получали оклунок муки, сахара, ящик минеральной воды, пива - плата рекламодателей. Но, когда приходила в эту газету, классический вопрос, мучивший меня в «ТОЗе»: «Тварь я дрожащая или право имею?» отступал, я могла себе позволить роскошь «не сливаться со стеной», во мне пробудилось чувство, что я полноценный, как и сидящие за компьютерами, журналист. И за это спасибо. Пять лет плотного сотрудничества продлили мне деятельную, творческую жизнь в возрасте после шестидесяти, а это многого стоит. Но все когда-то кончается. Для меня, как я понимаю, иссяк вечный мой внутренний вопрос, – зачем нужна журналистика. Сегодня в ней грани между светом и тьмой смыты, а в Хабаровске не осталось независимых газет. Впрочем, об этом чуть позже.

Между тем, реформенная жизнь подкидывала в топку человеческих страстей все новые дровишки для возгорания социального стресса. И я пыталась тушить пожар публикациями: «Внучка побывала в приюте, бабушка мечтает о нем», «Прокуратура Николаевского района посчитала выбитый глаз у ребенка пустяком», «Без нужды в суд не ходят», «Цветущее здоровье за четыре рубля?», «Царская» болезнь бедных». Перечисляя заголовки, ловлю себя на мысли: «неужто, автор различает только черную краску, не болен ли сам автор»? Есть маленько. Все мы, журналисты, когда изо дня в день берешь на грудь чужое горе, душевно не абсолютно здоровы. Да только ли газетчики? Обиднее всего, когда ты душу себе выворачивал в поисках убедительных слов, чтоб достучаться до высоких чиновников, а после публикации ни читателю, ни автору не известно какие меры приняты. Но вот окольными путями узнаю, что ребенку бесплатно сделали дорогущую операцию, он не калека, а бабушка доживает дни в чистоте, заботе медработников, и что для борьбы с гепатитом, ставшим внутрибольничной инфекцией-бедствием для хабаровчан, получен новый супераппарат. И это внушает надежду: жизнь все же способна развиваться с положительным знаком.

Тем не менее, будто в пустоту канула дюжина других материалов, как вот этот.

Есть на берегу Татарского пролива, в заливе Чихачева не меньше десятка бухт. Необыкновенной, первозданной красоты, с обрывистыми скалами, поющими водопадами. Безлюдные и величественные, они - в ожидании своего часа, когда возродится в крае истинная индустрия туризма, чтобы восхищать людские взоры и сердца. А вот бухта Сомон дождалась этого часа 30 лет назад.

На живописном берегу, среди березняков и елей возвели трехэтажное кирпичное здание с уютными номерами, холлами, вокруг разбили парк, цветники и назвали санаторно-профилактический комплекс, по имени красавицы-бухты – «Сомон». Но не экзотика здешних мест с ее сказочными бухтами, подледным ловом рыбы, шумом прибоя побудила местные и краевые власти построить «Сомон». Главная его ценность – уникальные грязи, по силе лечебного воздействия не знающие аналога в нашем регионе.

ИЗДАВНА УЛЬЧИ слогали сказки о целебном маленьком озере, размером с дом-пятистенку, которое и в суровые зимы не замерзает, а вода в нем теплая, как парное молоко и где в сорокоградусные морозы беспечно зимуют перелетные утки. А уж лечит озеро – на удивление. Подрал медведь охотника, омойся в этом озерке – ран, как ни бывало, и помолодел душой и телом.

Одним из первых этим явлением заинтересовался доктор медицинских наук, профессор Е.Г.Чулков. В 60-е годы он организовал ряд экспедиций на побережье Татарского пролива. И открыл, что это озерцо находится в центре приустьевой лагуны реки Сомон, приливы над которой не властны. Лагуна же, освобождаясь от зеркала воды при отливах, обнажает отложения черной мазеподобной грязи с резким запахом сероводорода.

Исследуя физико-химические свойства, данные спектрального анализа образцов проб, взятых на разных донных глубинах, ученые обнаружили небывалое количество биологически активных веществ, микроэлементов. Сравнительный анализ характеристик с природными грязями Сад-Города оказался даже не в пользу приморских, которые тоже хороши.

Дальнейшие углубленные исследования подтвердили уникальность открытого месторождения, использование его в бальнеологических целях официально подтвердил медицинский совет Минздрава. О сомонских грязях написаны и защищены диссертации и, по утверждению их авторов, при лечении более чем 200 заболеваний наблюдались прекрасные результаты. Особенно чудодейственное воздействие эти грязи оказывают при остеохондрозах различной локализации, заболеваниях суставов, нервной системы, последствиях травм, переломов.

В санаторий-профилакторий «Сомон» на 50 мест прибывали «тяжелые» пациенты в гипсовых повязках, на костылях, в колясках, даже на носилках. От многих из них отказалась официальная медицина. Пройдя курс лечения, пациенты забрасывали костыли, присоединялись к группам неумных туристов и любителей-рыбаков, грибников. Благоприятный «пейзажный рефлекс» убедительно завершал выздоровление.

Так было первые 25 лет. А с углублением реформ все покатило по грустной общеизвестной схеме. Де-Кастринский леспромхоз, на балансе которого содержался «Сомон», не стал приятным исключением в ряду предприятий-банкротов, и финансирование санатория прекратилось. На его здании повесили амбарный замок. Покидая опустевший корпус, единственное, что удалось медперсоналу добиться – спасти его от ограбления, повременив с увольнением сторожей. Опасения не беспочвенные, ведь недавно в Ульчском районе закрыли детский сад, а через неделю от него остались голые стены с зияющими оконными проемами. Санаторий же оснащен дорогостоящим медицинским оборудованием, аппаратурой, приобрести которые нынче – никаких миллионов не хватит.

Сейчас, когда дальневосточники, по известным причинам, отделены от основных курортных баз (Кавказ, Крым, Прибалтика), добровольно разрушать созданную, что называется, «по месту жительства» основу курортной зоны в родном крае недалековидно. И на первых порах Хабаровская краевая администрация к судьбе «Сомона» не осталась равнодушной. Ею были даны поручения департаменту здравоохранения, ГП «Хабаровсклес», крайсовпрофу, фонду социального страхования с конкретным предложением о долевом финансировании санатория и передаче его в госсобственность края, придав ему статус филиала государственного лечебного учреждения «Анинские воды».

Вместо распорядительных документов по спасению гибнущего санатория названные ведомства будто под копирку сформулировали отписки-близнецы: да, проект интересный, лечить земляков надо, но в силу отсутствия средств участвовать в долевым финансировании не можем. Ответ департамента здравоохранения по «глубине» анализа проблемы, достоин полного воспроизведения: «В Ульчском районе уже имеются одна краевая бальнеолечебница «Анинские воды», а в пос. Де-Кастри участковая больница, которые решают проблемы оказания медицинской помощи населению. Поэтому организация медицинского учреждения на базе профилактория «Сомон» не имеет под собой достаточных перспектив в плане оказания медицинской помощи населению...». Уже не говоря о словесной казуистике, получается так, что Всевышний, создавая земную твердь, вопреки желаниям хабаровских последователей Гиппократы, сплосхвал, одарив почему-то Ульчский район сразу двумя месторождениями – лечебными водами, да еще целебными грязями. Не жирно ли?

Да и в части утверждения медиков, что «Сомон» не имеет под собой достаточных перспектив» - элементарная некомпетентность авторов письма. Реальная действительность говорит о другом. Пока чиновники отстреливаются отписками, Сомоновское месторождение целебных грязей при бесхозном санатории стало лакомым куском для вездесущих коммерсантов. Как это происходит, рассказывает В.Г.Пахно, глава администрации пос. Де-Кастри, на чьей территории находится лагуна:

- Неизвестные машины со стальными контейнерами или иными емкостями на борту, подъезжают к мостикам-пирсам, построенным нашим леспромхозом, загружаются и везут грязи в Комсомольск, Хабаровск, где оптом продают заказчикам по 80 рублей за килограмм. Помножьте на тонны ворованных залежей, – вот так слагается бизнес. Нам что же, ставить стражу у лагуны? Не абсурд ли?

Конечно, абсурд. Ведь мы богатые и очень, но не «зеленышками», а дарами природы. Воруют? С государства не убудет. По подсчетам ученых, общие запасы лечебной грязи в лагуне Сомона составляют более 600000 кубометров. При разумной эксплуатации с лихвой хватит на будущие поколения. Но почему-то дивиденды – ведь нынче за здоровье платят деньги и большие деньги, - от скрытого использования щедрот природы идут не в копилку края, а неведомым личностям. Более того, по словам В.Г.Пахно, от предприимчивых коммерсантов поступают предложения по приобретению в аренду или в собственность лагуны. У новых русских губа не дура, они понимают - за счет грязей можно просто озолотиться.

Это же подтвердил профессор, заслуженный врач, физиотерапевт В.Н.Загоруйко. Будучи доверенным врачом Хабаровского крайкома профсоюзов, он в свое время открывал санаторий «Сомон», подтвердив всей своей многолетней лечебной практикой врачующие свойства сомонских грязей: по составу биологически активных веществ они близки лечебным грязям, открытым на берегу Мертвого моря. Даже побывал в Израиле. И изумился, увидев воочию, что судьбы этих двух лечебных ресурсов несопоставимы. В Аравийской пустыне, где гольный песок, камни, палящее солнце без единой капли дождя, построен современный завод парфюмерных препаратов. Продукция фирмы «Агава» пользуется всемирной известностью. Месторождение стало градообразующим фактором. Жители комфортабельного поселения Кибуци заняты также пакетированием лечебной грязи и отправкой ее по всему миру.

- О подобном нам остается лишь мечтать, - устало замечает профессор Загоруйко. - Безусловно, Дальний Восток богат месторождениями природных лечебных ресурсов, но сомонское представляет собой редчайшее исключение, ибо удивительным образом сочетает в себе морские иловые и торфяные грязи. Каждый самостоятельный вид названных грязей обладает высокими терапевтическими свойствами, но сочетание обоих видов во много крат повышает их лечебную ценность. Из Сомонских грязей можно готовить массу качественно новых ферментных препаратов. Но в высоких краевых инстанциях говорят: финансово еще не созрели...

А между тем, на обезлюдившем здании «Сомона» висит уже распахнутый замок. Сторожа разбегаются – зарплату не платят. Участились наезды грузовых машин с цельнометаллическими цистернами. Где-то на стороне делится барыш от продажи сомонских грязей. Краевому здравоохранению, в первую очередь, по идее, заинтересованному в собственных природных

лечебных ресурсах, как видим, безразлична судьба целебной лагуны. Наше здравоохранение полагается на вороватое время, которое, якобы, все расставит по своим местам. (1999 г).

«Почтовые голуби»

Конечно, командировку в бухту Сомон мне никто не давал, предоставили лишь возможность говорить бесплатно по телефону с районом. Но в тех краях бывала не раз и легко могла представить этот обезлюдевший санаторий, кладовые природы, ставшие кормушкой для предпринимателей и игнорируемые истинными хозяевами.

В газете мне платили гонорар раза в три меньше штатников - 70 коп. за строчку. Но первый посыл, побудивший сесть за машинку - дотянуть доход до прожиточного минимума, давно потерял свою силу. Нечто иное влекло на страницы временно приютившей меня газеты. Может вот это, вне меня - мандельштамовское: «И не рисую я, и не пою, и не вожу смычком черногласым, я только в жизнь вливаюсь...». Перед этим голосом - седина и годы не властны. «Вливаюсь» и вижу зло, которое окружает нас. Процессы, происходящие рядом, и зачинающиеся сверху, в правительствах, в московских и местных хлопотуньях-думах, рикошетом и беспрестанно ранят простого человека.

Не дождавшись от государства заботы и финансовой поддержки (ни забастовки, ни митинги не помогали), бедствующие учителя тоже потихоньку вступили на тропу прокорма, дабы укрепить материально-техническую базу школы. Только их тропа, в отличие от медиков, вилась вокруг платежеспособных родителей, жаждавших обучать своих чад в лучших школах города.

История умалчивает, какая школа первая в Хабаровске стала брать плату за обучение первоклассников в своих стенах, однако в этот процесс влились десятки начальных образовательных учреждений. Но удивительное дело, тяжелая артиллерия СМИ оповещала о неподъемных ценах, чтобы собрать ребенка в первый класс, но упорно помалкивала о поборах и первоклашках-«пятитысячниках». Не знала об этом и я, если бы не «почтовые голуби». И к чести внештатника, а для обиженных учителей к бесчестию, первая из хабаровских журналистов подняла проблему расслоения школ на богатые и бедные, непомерных поборов в начальном звене обучения. Ломала голову над заголовком, пока не вспомнился стишок, который в начале прошлого века выучила мама, обучаясь лишь три дня в церковно-приходской школе и которым будила нас, детвору, по утрам: «Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно, попроворней одевайтесь, смотрит солнышко в окно». Так появился материал «Деньги в школу собирайте».

Спрашивается, откуда у меня, фактически изолированной от редакционного коллектива, одиночки-журналиста, прорва газетных тем? (В ниже публикуемой Белой Книге – лишь десятая часть того, что было напечатано в газетах в мои пенсионные годы). Имелись почтовые голуби – друзья, люди не панцирного стиля поведения, работающие в разных сферах и знающие невидимый для глаз весь айсберг бытия по вертикали. Мне оставалось определить на интуитивном уровне значимость темы и пуститься в долгий путь расследования. Многие сигналы обернулись острыми публикациями, в которых не упомянуты первоисточники. И сейчас не могу не назвать их имен: экономист Наталья Морозова, настройщик рояля Тамара Дошкаева, врач Нина Островерхова, судмедэксперт Александр Чернышев, медсестра Галина Иванова, очаровательная соседка Людмила Очеретько и много других. А из племени вездесущих пернатых - шляпница Любовь Вергель. Она обшивала за бесценок всю бедноту нашей округи. У самой на иждивении трое, но могла обновленное меховое изделие, за которым просиживала ночами, вручить за «спасибо». Пенсионеры-заказчицы поверяли ей свои сердца, беды, делились грузом беспомощного протеста. И она, проникательная, соучаствующая приводила ко мне вдов, обкраденных на поминках общепитовцами, многодетную семью, оставшуюся из-за мошенников под звездным небом. Прибегая в очередной раз, Любаша возмущалась: «Хирурги совсем распустились. На операцию у Матвеевны все средства ушли, а Макаровым пришлось обменять квартиру на однокомнатную».

Но к медикам подступиться оказалось не просто. Достоверно зная, что в краевой больнице № 2 за невинную операцию дерут втридорога, с блокнотом, удостоверением иду к старшей медсестре. В журнале регистрации платных услуг, которую она ведет, за три последних месяца значатся лишь пара массажей, электрофорез и ни одной операции. А ведь здесь располагается центр эндопротезирования. Вот они расценки на платные услуги: удаление мениска без шва – 3510 рублей,

при переломе ключицы надо заплатить до 10 тыс. руб, при переломах плеча, бедра до 14.600 рублей. За операцию на голове следует выложить 20 тыс. рублей. Это что же, три месяца хирурги простаивали? Может у них свой учет? За комментарием направляюсь в кабинет замглаврача Е.В.Дьячковой, но здесь на страже секретарша – в кабинет начальницы и муха не пролетит. И я понимаю, без конкретной ситуации сюда не пробиться.

А мой почтовый голубь Л.Вергель не успокаивается. «Вчера заказчица была, санитарочка, я ей норковую «Касандру» шила, так она рассказывает, что все хирурги-онкологи стали богачами, накопили себе иномарки. А недавно оперировали 30-летнюю женщину, мать двух малых детей. Вскрыли и зашили – метастазы. Но все, кто был в операционной, получили конверты. Деньги-то родственники умирающей уже заплатили». Об этой больнице неоднократно слышала, что здесь грабят обреченных пациентов. А вот как доказать? «Нужны фамилии хирургов. А санитарочка твоя подтвердит?». Любовь Федоровна, догадываясь о масштабах предстоящего журналистского расследования, опускает свои глаза с поволокой долу. Кухонные беседы к газетному материалу не подошьешь.

И все-таки мужественную пациентку нашла. Ею оказалась моя соседка по дачному острову. Анну Васильевну отличали безобманные глаза, доброжелательность. Ее обожали. Каждая из тружениц грядок старалась сесть в салоне теплохода к ней поближе, чтобы выговориться. Я же коротаю путь до дачи отстраненно, предпочитая бабским трепам окошко салона и пейзаж амурского берега. А потом она подошла ко мне и заговорила. «Знаю, что путь в больницу по месту жительства мне будет заказан. Но молчать не могу. Вот вещдок, посмотрите - На плече ее была прилеплена какая-то странная кнопка: – Врач поставила. В розницу – 150 рублей».

«Прошу не допустить к печати...»

Речь шла о ведомственной больнице, где заведующая неврологическим отделением торговала магнитными пластинками. Тем из пациентов, кто пытался сопротивляться, врач обещала ни много, ни мало старческое слабоумие. И пациенты выкладывали соответствующие суммы в карман белого халата, минуя, конечно, больничную кассу. Деньги немалые. Сама заведующая не отрицала, что кнопочные пластинки продавала, если оптом, пять штук – по сто рублей каждая, а некоторым «из своей любимой палаты № 9 ставила даже бесплатно». Более того, при проверке выяснилось, что платежные расчеты на оказание платных услуг из ее отделения в бухгалтерию не поступают месяцами. Значит, и эти деньги уходили налево.

Поразило другое. Не успела вернуться из больницы, как раздался телефонный звонок. И незнакомый голос отрекомендовался: «Лилия Курлович. Наверное - знаете?» - Еще бы - супруга бывшего комсомольского, а затем партийного функционера. Она попросила о встрече на нейтральной полосе. Каково же было мое изумление, когда на пустынной площади Славы в назначенный час я увидела группу немолодых женщин. Возглавлявшая их Л.Курлович, запросто оперировала именами руководящих газетчиков, с кем дружна, докторов медицины, от чьих услуг отказалась и предпочла свою, «домашнюю» больницу, вызвавшись защищать врача-торговку, от меня, журналиста. А чтобы не оказаться в одиночестве – вот и соседок по больничной койке привела, которых пользует кнопками невропатолог - в полном сборе палата № 9. В это время они должны мерить температуру, принимать вечерние процедуры. Видимо, почувствовав, что над головой собираются тучи, лечащий врач «приняла» меры. Среди собравшихся я не увидела богачек. Разговорились. У одной женщины, что помоложе, сын инвалид, воспитывает сама, другие - неработающие пенсионерки. Особо запомнилась опрятно одетая старушка с добрым, милым лицом. Она молча слушала энтузиастку встречи, потом тихо, будто извиняясь, заговорила:

- Я фронтовичка. Считаю, всю войну прошла. А нынче наступили такие времена, если денег нет, – хоть ложись, да помирай. Я нищая. Все, что вы видите на мне - младшая сестренка подарила. Вся пенсия, а она у меня побольше, чем у них, - кивнула она в сторону больничных соседок, - идет на лекарства. А врач бесплатно поставила магнитную кнопку, которая, говорят, большие деньги стоит.

Господи, что происходит с нами? Неужто и вправду полным ходом идет нравственная и социальная переориентация. Кто «накачал» обнищавших пациенток паническим чувством страха нерасторжимой зависимости своего тощего кошелька от симпатий врача? А эти аномалии, когда на смену святого – врачевать приходит – торговать?

Все это я изложила в материале «Да, будешь в яме долговой, так ведь здоровый, не больной». Чтобы подстраховаться, при расследовании поставила в известность управление кадровой политики крайздрави, куда уже доходили сигналы о поборах врачей. И что же? Готовый материал в одной из газет, которая всегда меня печатала довольно оперативно, лежит без движения, устаревает. Узнаю: на ее страницах недавно была острая публикация о профессоре-хирурге. Так от его звонков-угроз редакцию сотрясало. Терпеливо жду, – пусть успокоятся. Каждое утро бегаю в киоск за газетами – пусто. Спустя месяц иду к редактору, а он возвращает рукопись, и с несвойственной суровостью в голосе, предлагает, что надо бы еще поработать. Молча, но со значением подает письмо. Что это? «Телега»! Не веря глазам своим, читаю: «Прошу не допустить к печати в вашей газете статью Е.К.Рудик о невропатологе ...». И на двух листах главврач больницы обвиняет меня в «лживости и фальсификации фактов» (еще не опубликованного материала!), а пациентку, обратившуюся в редакцию – Анну Васильевну квалифицирует как психически ненормальную.

Чувствую, лицо мое покрывается красными пятнами. Перечитывая, растерянно стою на Комсомольской площади, мимо визжат машины, матюгаются водители. Нет меры чиновничьей изворотливости, но чтобы меня выставить хулиганкой, мол, ворвалась в палату во время сонного часа, а пациентку – психом, на это способен только очень опытный в подлянке человек. И тут же во мне закрадываются чудовищные сомнения. А может, и в правду Анна Васильевна состояла на учете? Но разве сумасшедшая может быть заслуженным строителем РФ, членом Совета ветеранов Центрального района? Встречаемся. И я ей – напрямую вопрос: «Вы состоите на учете в Центре психического здоровья?». Тут уж Анне Васильевне становится дурно.

Но что делать с готовым материалом, где каждый крохотный факт несчетно перепроверен, подтвержден диктофонной записью? В корзину, как и «милиционеров»? Ни за что.

И тогда я, перекрестившись и перекрестив телефонную трубку, звоню Сергею Анатольевичу Торбину, с которым давно распрощалась. Традиционно поворчав «Материал бы надо сделать иначе...», к небывалому счастью, редактор «Тихоокеанской звезды» без проволочек публикует его.

Между тем, смертельно оскорбленная Анна Васильевна оббегала все психбольницы Хабаровска. И с документами, подтверждающими полное здравие «психа», со свежим номером газеты идем в крайздравоотдел. Валентина Савкова принимает доброжелательно, читает, не выказывая ни малейших эмоций, и обещает незамедлительно разобраться с клеветниками. Однако потребовалось больше месяца, чтобы от нее получить информацию, что эта больница ведомственная, «контролируется и подчиняется не краевому департаменту, а непосредственно Министерству здравоохранения», о чем было известно и до визита к нынешнему министру. И тогда потерпевшая направляет исковое заявление в народный суд Центрального района на предмет привлечения главврача к ответственности за клевету и оскорбление.

На судебном заседании ответчик сделал поистине удивительное для руководителя крупного медицинского учреждения признание: письмо о «непущении» материала в газету сочиняла невропатолог. Судья выносит свой вердикт: «главный врач подписал указанное письмо, будучи уверен в том, что сведения, которые он распространяет, содержат правдивые данные, хотя на самом деле они были ложные» и отказывает в возбуждении уголовного дела. Выходит, что главврач одарил пациентку комплиментом, назвав ее помешанной? Во дела! Наивная Анна Васильевна, не желая верить, что клевета непобедима, подает частную жалобу в краевой суд. Результат тот же: постановление райсуда остается без изменения. Но клеветники в облике врачей, цель которых более чем прозрачна, – лишить пенсионерку гражданского права выносить на суд общественности факты незаконного бизнеса в больничных кабинетах не достигли искомого. «Тихоокеанская звезда» взяла на себя смелость и обо всех этих перипетиях опубликовала материал «Главврач подписывает, не глядя, и выигрывает суд».

Удивительная штука, после публикаций, которые попадают в болевую точку читателя, как по цепной реакции раздаются звонки. Школьная подруга: «Катя, мой сосед хочет с тобой поговорить. Он после операции, приехать не может. Ждет». И я еду в авиагородок.

У постели больного в чистенькой «хрущевке» хлопочет супруга. Еще крепкий старик, с окладистой бородой и измученным болезнями лицом рассказывает: «Лежал в реанимации. Я уже не

жилец был. Чую, врачи снимают с меня нательный крест, старинный, серебряный, матушка завещала. Слышу слова хирурга: старику, мол, хана, «все равно кто-нибудь из наших снимет». Может, привиделось? Когда уже в палате очнулся, хватя себя за грудь, а креста-то нет». «А мы такие сумасшедшие деньги за операцию заплатили, все отдали, что скопили на похороны, - добавляет седенькая жена. – Все им мало. И не боятся». Иначе как мародерством подобное не назовешь.

Обкраденный под диктовку накарябал в редакцию письмо. Известна больница, можно по дням дежурства вычислить, кто делал операцию. Направляясь в хирургию, знала, – пустая затея. Доказать факт грабежа, совершенного в операционной, практически невозможно, да хоть погугать наследников Гиппократ, чтоб не нагнали.

«С интервью по СМИ»

А спустя дня два меня находит пострадавший от медицинских услуг известный в Хабаровске литератор, человек рассудительный, интеллект. При встрече вижу следы синяка, полученного в медучреждении. Расследуя этот случай, уже покидая больничные палаты, потрясенная увиденным, понимаю, что столкнулась с вечной, неразрешимой проблемой. И как бы в подтверждение, приходит на память интервью с ведущим программы «Умники и умницы». На вопрос: «Без чего в нашей крошечной бедной стране просто жить невозможно?» кумир российских вундеркиндов ответил: «Без юмора и без выпивки». По его мнению, винопитие свидетельствует о русском национальном характере. Совсем непьющий - либо подшитый, либо не совсем русский по духу. Потому как в России жить и не пить – «непатриотично, не национально, неестественно». В частном случае было не до юмора. О том, как в больничных палатах «очень русским» по духу людям в трудоспособном возрасте врачи возвращают человеческий облик и деятельную жизнь, рассказала в публикации «За медуслуги заплатил – синяк под глазом получил».

За этот материал я особенно побаивалась, в нем были не бесспорные эпизоды. Например, попробуй, докажи, что в клинике, как утверждал автор письма, лечились неподотчетные платные пациенты. Но, очевидно, рукопись подверглась правке редакционного адвоката: острые моменты сняли. А в целом, наступательные публикации не обходятся без раздраженных звонков в редакцию критикуемых персон. Но на протяжении семи лет судьба чудом берегла меня от судебных исков. Случись – повестка в суд, для внештатника это конец: свои бы родные, острые перья защитить. Слава Богу, я не доставила хлопот «ТОЗу», редактора и без того затащали по судам.

Это я достоверно знала из интервью с председателем правления союза журналистов С.А.Торбиным, взятым еще в годы шоковой терапии. Речь в интервью шла о самочувствии городских, районных газет края. А положение тогда было аховое: счет Хабаровского отделения союза журналистов арестован налоговой инспекцией за долги, предстояла опись имущества правления. А какое такое имущество? Вылинявшие занавески, стулья, старенькая машинка «Юрюзань». Телефон за неуплату давно отключили.

Нечто подобное переживали многие газеты: районки закрывались, а журналисты тех, что дышали на ладан, с оказией – на лодках, аэросанях – выезжали на лесные деляны, рыбацкие станы, и, реализуя тиражи, на эти копейки существовали. Подпрыгнувшие цены на бумагу, типографские услуги, снижение эффекта от рекламы, которая бы должна кормить, повлекли к тому, что журналисты краевого центра по три-четыре месяца не получали зарплаты, а в «Суворовском натиске» уже вообще забыли, когда авторы расписывались в гонорарной ведомости.

Так уж сложилось, что современный человек смотрит на мир посредством газетных публикаций. Появившиеся несчетно новые, с яркими обложками издания, «работали» на своих хозяев, кто кормил с руки. И как непросто читателю, привыкшему верить прессе, разглядеть полу правду, субъективность. Запомнилась одна публикация в еще «филипповской» городской газете. В январские дни, когда замерзших, как сосульки стариков не впускали в «красные» автобусы, «Хабаровские вести» опубликовали «Письмо в номер», где радостно утверждалось, что «халявщики» - пенсионеры и военные получили по заслугам. А то ведь «на халяву, - подводит итоги автор, - и укус сладкий».

Были и другие крайности: почуяв свободу, обиженные газетой мошенники, взяточдатели в отместку завалили редакции судебными повестками, хотя журналисты, чтобы подстраховаться, устраивали в критических материалах «дымовую завесу»: изменяли фамилии «героев», место действия, обозначая возмутительное явление. На момент нашего интервью, в суд на «ТОЗ» поступило 19 исковых заявлений с требованием возместить моральный ущерб значительными суммами. С одной стороны это свидетельствует о боевой позиции газеты, а с другой - просматривается угроза пустить по миру издание, еще не укрепившееся в реформенных бурях.

Впрочем, с поиском редакции, пожелавшей бы взять это интервью к Дню печати, была настоящая морока. Газета, которой оно, по моему замыслу, было предназначено, отказалась напечатать, ибо, оказывается, редактора находились в некоей конфронтации, не поделив бумагу. Вполне логично, что публиковать в своем «ТОЗе» интервью с собственной персоной С.А.Торбину показалось не этичным. Обегала все редакции и, возможно, ревнуя к популярности «ТОЗа», никто не желал материал брать - а то, что тема для нашего брата-газетчика и читателя нужная, сомнений не вызывало.

Было неловко перед интервьюируемым, украла его время, убедила в актуальности и приходится выбрасывать в корзину. И само бегание по СМИ было оскорбительным. Высиживаешь в редакционных приемных покорной старушкой-просительницей в ожидании, когда снизойдут пригласить в кабинет, и размышляешь: да известно ли штатникам, что каждая страничка написанного мною тоже требует некоего горения, творческих поисков, а само посещение редакционных офисов обходится еще и унижительным ощущением себя маленьким человечком, тревожащем пустяками занятого настоящим делом журналистов. Пристраивая, наконец, интервью в «Хабаровские известия», приказываю себе: все, никаких инициатив, работаю только по читательским письмам.

И, тем не менее, острые темы с журналистскими расследованиями таят в себе еще большие подводные камни. Возможно, многократно перепроверяла материалы, или они были не столь остры, а быть может мой Ангел-Хранитель берег, но мне несказанно везло - и в моей новой газете за пять лет сотрудничества дело до суда не доходило, раздраженные звонки, злые письма, от которых надолго теряешь покой, сон - не в счет.

«На старуху случилась проруха»

И все-таки споткнулась на материале, в объективности которого была абсолютно, на все 100% процентов уверена. Еще бы! Неужели нам мало своих мошенников, захватывающих квартиры одиноких хабаровчан. В бой за чужую жилплощадь ринулись граждане соседней страны. И попыталась это обнародовать. Но, увы, наверное, стала совсем старой калошей, потеряла бдительность, упустив реальный факт - имею дело с очень энергичной юной особой Натальей Чжао, обладающей бесцеремонной пробивной силой. Зная, что Н.Чжао дошла до Москвы со своими жалобами на местных следователей, якобы непочтительно беседующих с ней, продолжала расследование. Но даже то, что Михаил Карпач, умный, тонкий журналист из заголовка слово «китайцев» выбросил, не смягчило силу контрудара.

БОЙТЕСЬ КИТАЙЦЕВ ДАРЫ ПРИНОСЯЩИХ

В тот январский день специалисты комитета соцзащиты Индустриального района, обсудив тревожную ситуацию, в который оказался их подопечный – 69-летний Е.Н.Гончарук, для спасения его жизни направили письма в два адреса. В первом – в горздравотдел – выражались сомнения в качестве лечения одинокого пенсионера, находящегося после тяжелого инсульта в 3-й горбольнице, и предлагалось перевезти больного в иное медучреждение. И другое письмо – в Хабаровское краевое учреждение юстиции с просьбой взять под особый контроль возможную перерегистрацию недвижимости, принадлежащую Е.Н.Гончаруку – двухкомнатную квартиру.

Спрашивается, что побудило социальщиков бить тревогу?

Покушение на жизнь одинокого хабаровчанина иностранными гражданами с целью захвата его квартиры – таков смысл эмоционального рассказа давних друзей Е.Н.Гончарука. Они вместе

учились в мореходке и полвека поддерживали отношения друг с другом. Но вот уже два года как Евгений, единственный из их дружной четверки курсантов, оставшись на старости лет без семьи, потерялся, исчез. Поначалу не очень волновались: их Женька – не промах, женщины его обожали, и он сполна пользовался их добродетелями, трезвенник, предприимчивый, свое не упустит, даже не побоялся в квартиранты взять богачей – китайцев. Однако его домашний телефон или молчал или отвечали незнакомые голоса с явным иностранным акцентом: «Зени нет. Он у бабульки».

У какой бабушки? Нет у Евгения в Хабаровске родни. И в январе этого года направились к другу на квартиру. Полуоткрыв дверь, не пропуская, незнакомая молодая женщина сказала, что хозяин приболел, лежит в 3-й горбольнице.

В приемном покое, пролистав за три месяца журнал учета, фамилии Гончарука не обнаружили. Друзья не на шутку разволновались. Уже с милиционером вновь вернулись на Краснореченскую, 209, но как ни стучались, двери никто не открывал. Ситуация усугублялась, наполняя сердца пожилых людей предчувствием беды. В 6-м отделении милиции Индустриального РОВД у них приняли заявление. На розыск пропавшего подключились специалисты из отдела по раскрытию заказных убийств.

А в это время разыскиваемый пенсионер пребывал... в «Китае». Во всяком случае, так внушали находящемуся в полубессознательном состоянии Е.Н.Гончаруку квартиросъемщики, напичкав его психотропными средствами и увозя в Покровку. Пробыв там больше месяца и придя в себя, больной старик, мечтавший вылечиться в Китае, осознал, что его жестоко обманули, он находится не за границей, а в пограничном с Еврейской автономной областью русском поселке. Без паспорта, денег и ключей от своей квартиры. Возмущаться, звать было не к кому, да и сам пенсионер был нетранспортабелен.

Между тем, визит милиции и воинственно настроенных друзей своего бывшего хозяина насторожил китайцев. Почуввав нежелательное вмешательство общественности, они кинулись в Покровку, и незамедлительно вывезли Гончарука. Вот почему уже через пару дней друзья обнаружили его в 3-й больнице.

Без направления врача, страхового полиса случайному больному с улицы доступ в стационар заказан. А здесь – пожалуйста, без проволочек в палату. Как такое возможно? Этот факт крепко смущал бывших мореходов, у одного из которых была супруга-врач. Насторожило и то, что приветивший пациента и китайцев лечащий врач носит нерусскую фамилию. Не иначе как доставившие в больницу новые собственники квартиры имеют с этим доктором скрытые связи.

В пользу данной версии говорило и увиденное: человек в палате, на которого указали врачи, не имел ничего общего с их другом, красавцем-богатырем. На больничной койке лежал изможденный старик, с тусклым, безразличным лицом, одетый в два драных китайских халата. По его невнятной речи, невозможности двинуть рукой друзья сделали вывод: в стенах больницы пациента сознательно загружают транквилизаторами. История болезни Гончарука (в ее страницы почему-то удалось проникнуть пожилым шерлокхолмам) подтверждала, что нейролептиками больного потчуют изрядно. А друзья пояснили: «Тогда же нам удалось привести друга в сознание. Женька узнал нас, жаловался, что боится китайцев, своих мучителей, которым он отписал квартиру с надеждой, что его вылечат в Китае»

Вот такой ужасник поведали друзья правоохранительным органам, соцзащите, а позже и журналисту. Кого подобный рассказ оставит равнодушным? Так появилось письмо комитета соцзащиты о недоверии медперсоналу 3-й горбольницы, внесшее нешуточную панику в их ряды. Усугубили ситуацию визиты в нервное отделение милиционеров из отдела по раскрытию заказных убийств.

А ларчик-страшилка, если отделить вымысел от достоверности, открывался просто. И помогли мне его открыть входящие в квартиру пенсионера почтовые работники, соседи, свидетели последних лет его жизни.

Не первый год Гончарук сдавал значительные квадраты квартиры внаем, предпочитая граждан КНР: платят больше, капризы не выказывают и в, случае чего, управу можно найти. Кстати мы, хабаровчане, по беспечности не догадываемся, что китайское землячество, рассеянное по дальневосточной столице, прекрасно информировано, у кого из горожан можно переночевать, где снять угол, квартиру, а в какие жилые кварталы и подступаться опасно. У Гончарука от желающих отбою не было по существенной причине – одинок. Иностранцам светила

перспектива, при должном отношении к хозяину, не без намеков с его стороны, быть наследниками недвижимого имущества, в том числе обширной дачи в Корейском поселке, что Законом РФ не возбраняется. Обихаживали его по высокому классу, со всеми изысками китайской церемонии, будто горничные в пятизвездочных гостиницах: заморские фрукты, диетические овощные, мясные блюда, образцовый уход.

Последними из китайского племени жильцами оказались супруги Цзин Чжао и 23-летняя Наталья Чжао, русская, родом из Покровки, с двумя маленькими детьми Чжао. Сам Цзин Чжао уже десять лет проживает в нашем крае...по приглашению супруги. Первые годы уроженец с берегов Желтого моря, действуя в качестве предпринимателя в области торговли фруктами, обитал в Покровке, а женившись на 16-летней Наталье и, обретя первого ребенка, стал подумывать о собственной недвижимости в краевом центре. И вот представился случай.

К тому времени инсульт поверг Гончарука в постельный режим и беспомощность. Очевидцы утверждают, что Н.Чжао ухаживала за ним, как за малым ребенком. В ту же больницу несли несчетно фрукты, пенсионера мыли, брили. Как тут не поверить, что Наташа – родная племянница, а Федя-Цзин – зять, как они себя рекомендовали.

Отношение к «дядюшке» резко изменилось, когда завещание на владение квартирой супругами Чжао было нотариально оформлено. Предпочтя довериться китайцам, которым он изрядно надоел, пенсионер стал помехой. И если бы не друзья, «лечился» бы в Покровке до кончины. Когда в январе китайцы все-таки заглянули украдкой в больницу, вместо обычных фруктов передали сигареты, необходимость в которых у бывшего благодетеля из-за полной неподвижности отпала, реакция бывших мореходов была непримирима:

-Проверить бы этот табачок на нейролептики. Жулики. Такого мужика свалили.

Подобную подозрительность решительно не разделили специалисты нервного отделения горбольницы № 3, где трижды за последние два года Гончарук находился на излечении. Каждый раз его привозили китайцы в тяжелом состоянии: постинсультная энцефалопатия – поражение всех систем мозга с сопутствующим синдромом Паркинсона.

- Ходатайство соцзащиты о переводе нашего больного в другое медучреждение, наветы на лечащего врача, чья работа безупречна, требование горздраводела писать объяснительную только за то, что у нашего коллеги нерусская фамилия, квалифицируем как оскорбление врачебной чести и достоинства.

Вот такой неожиданный оборот получила эта грустная история. Нельзя не упрекнуть друзей Гончарука в том, что их «воображение уж слишком рысисто», как говаривал Н.В.Гоголь – версия о якобы особых отношениях китайцев с медиками почвы под собой решительно не имеет. Однако бывшие мореходы, многоопытные люди перестраховались не без оснований. Граждане КНР интенсивно внедряются в наш край. Доверчивые хабаровчане небескорыстно для себя временно поселяют их. Идя на хитрость, уловки, финансовые сделки, китайцы становятся домовладельцами, главными квартирными хозяевами, землевладельцами. Им вручил свою судьбу, остаток жизни Евгений Назарович, оказавшись в капкане и став глубоким инвалидом. Состав преступления в этом акте правоохранительные органы, естественно, не усмотрели. Да и как усмотришь, когда совместная жизнь китайцев с одиноким стариком, ныне покойным - (Е.Н.Гончарук на днях умер в больничной палате) - протекала за крепкими металлическими дверями. (2001 г.)

Иностранные граждане, владельцы недвижимого имущества, упавшего с хабаровского неба, сочли себя очень оскорбленными. В своем исковом заявлении Чжао Цзин и Чжао Наталья требовали «опубликовать в газете опровержение и извинения за распространение о нас порочащих честь и достоинство сведений». К тому же затребовали компенсацию за нанесенный им моральный вред: с автора - сумму в размере почти годовой пенсии и столько же - с редакции.

У меня, как журналиста, был один «прокол»: в процессе расследования, навещая в больнице одинокого, забытого старика, снесдаемого пролежнями, не поговорила с его «благодетелями»: сбавив хозяина в больницу, и попросив соплеменника-друга пару раз навестить больного, супруги Чжао тут же уехали на Желтое море отдыхать к родителям. Что же мне за ними на юг Китая ехать для беседы.

Но не этот факт мне ставился в вину. Сильно не понравилась захватчикам квартиры вот эта фраза из статьи: «Идя на хитрость, уловки, финансовые сделки, китайцы становятся

домовладельцами, главными квартиросъемщиками, землевладельцами». Подкрепить ее цифрами оказалось непросто. В России, точно знала, проживает 300000 китайцев. А вот, сколько из них в родном моем городе? Перед судом, по второму кругу обращалась в краевые службы: визовую, миграционную, управление внутренних дел. Везде отвечали: экспансия наблюдается заметная, но контролирующей службы в Хабаровске нет, сколько граждан соседней страны проживает в крае - неизвестно. И на вопрос судьи, а она меня ловила как опытная кошка мышку, внятно ответить не могла. На чем и погорела.

Зато китайцы к суду подготовились крепко, наняли хоть и молодого, но хваткого адвоката и выбрали верную линию поведения - подчеркнуть, что не стремились угробить больного старика, а нежно ухаживали за ним. И наприглашали массу свидетелей, а наших пришло всего двое.

Судя по вопросам к журналистам, представительница Фемиды не удосужилась прочитать статью и не обратила внимания на адрес в исковом заявлении – иностранцы прочно свили гнездо в Хабаровске, проживают по ул. Краснореченской 209, в квартире 29, принадлежавшей покойному. В зал судебного заседания одного за другим вызывала свидетелей китайцев, в том числе родственников из Покровки. Судью остро интересовали вопросы - сколько раз навещали, что из еды приносили (неважно до оформления завещания или после). Заключительной нотой в пользу китайцев прозвучало свидетельское показание мамы Н. Чжао: к приезду дорогого гостя в Покровку (куда больного старика доставили в таком состоянии, что он принял ледяной панцирь Амура за Желтое море в Китае), даже кабанчика закололи. Сия животина – бездоказательный аргумент, но она стала апофеозом журналистского проигрыша, после которого свидетелям, друзьям-мореходам покойного, чьи показания могли бы перевесить чашу весов, судья не пожелала дать слова: одному, Б.Н.Пантелеенко быстро заткнула рот, а другого, прождавшего часа три, даже не впустила в зал заседания.

Джао праздновали победу, но не волею судьбы, а хабаровского судьи. Анализируя действия этой женщины в мантии, которая и попытки не сделала разузнать правду, много позже нашла точные слова в статье С.А.Торбина, о том, что наших судей «интересует не то, что происходит в обществе и почему это происходит ...Крайней оказывается пресса: вы написали, вы первые и доказывайте все факты, так сказать, отмывайтесь, а у Фемиды на глазах, как известно, повязка».

Дети-китайчата, видя повеселевших родителей, в коридорах суда радостно прыгали и тоже веселились. «Мир на почетных условиях» был по душе истцам, и на радостях Федя Чжао снисходительно согласился сбросить несколько тысяч рублей штрафа. А еще предстояли публичные извинения перед китайцами. Это черное дело, пощадив позорно проигравшую на суде журналистку-внештатницу, взяла на себя редакция, и опубликовала не десять строк мелким петитом, как раньше, а выдала огромный «подвал».

Но, Господи, лучше бы меня четвертовали, нежели эта постыдная статья «Не бойтесь дары приносящих?», прославляющая гуманность китайцев, их «бескорыстное» желание ухаживать за русским стариком. «Что здесь плохого? – вопрошала штатная журналистка Т.Владина. – Неужели молодежи, гражданам социалистического Китая делать больше нечего, как за старичьем горшки выносить». И в таком скабрезном тоне моя юная коллега обратила свой непомерный гнев на самого покойника, насмехаясь над «несчастливым», «бедным» стариком, его «друзьями» (в ее статье все эти определения заковычены), решивших побеспокоить общественность. Особенно досталось гр. Пантелеенко, который, по словам журналистки, «словно с цепи сорвался».

Читала и сердце мое занимало полгруды, срывалось с петель. Понимала, редакция высказала абсолютно чуждую ей точку зрения, удобную, согласно «мировому соглашению», китайцам, что называется, «сошла с ковра». Но как могло повернуться перо молодой коллеги? Неужели, работая над заказной статьей, автор тоже пропускает своих «героев» сквозь сердце? Хуже другое, в страстях молодая, явно одаренная журналистка так увлеклась, что не поверить ей нельзя – дайте китайцам зеленую улицу в наши города и веси, пусть беспрепятственно занимают квартиры хабаровских стариков и чтоб милиция не вмешивалась, а друзья посторонились.

Сколько же в нас, журналистах, лиц? Гордая, красивая газета публично унизила себя из-за меня, взявшейся на старости лет за перо.

Получив нешуточный, нервный стресс, в хаосе чувств, мыслей неустанно размышляла, почему газетная полоса снова обернулась плахой, где шагнула не так? Не только с этим материалом, но и на пути по долгой, тернистой журналистской тропе. Да и моя ли это тропа? Ведь кому-то было нужно отторгнуть меня от добытой с таким трудом профессии, двадцать лет свой любимый «ТОЗ»

видеть лишь во сне. Видимо, я изначально все перепутала в своей жизни: не зная, из какого материала создана, устремилась девчонкой в загадочную страну «журналистика». Здесь нужен иной человеческий материал, гибкие, без комплексов люди, способные по первому свистку манипулировать чувствами. Бескорыстие, идеалы, некая святость своего дела, когда «Трое суток не спать, трое суток шагать» остались за бортом рыночной экономики.

На этом моя журналистика закончилась. Бесповоротно и навсегда. Газета от меня не отвернулась, хотя я ей доставила и финансовые, и моральные неприятности, просто что-то невосполнимо обломилось во мне. А незадолго до того испытала еще одно потрясение иного свойства.

«Однажды январским утром»

В комнату сквозь замерзшее стекло настойчиво вползал зимний рассвет. Открыв глаза, с тоской подумала: «Зачем я проснулась? Впереди – вялотекущий, унылый день. - Он мне уже не нужен. И я ему не нужна. Звонков, как вчера, не будет. Но почему-то должна подниматься, двигаться. И это тоже называется жизнью? Зачем она мне, такая? Завещание давно написано, чтоб похоронили рядом с Тем, кто ушел так рано, оставив меня в одиночестве расхлебывать чашу судьбы. Место для своей ямы рядом оставила, а то отволокут в Матвеевку.

По радио шла какая-то передача, видимо, прямой эфир. Раздавались звонки. Вопросы ответы. Речь шла о журналистах. С чего бы это? Прислушалась: вопрос ведущей о том, какие публикации, какие журналисты запомнились? Да, ведь сегодня, по новому календарю красных дат, День российской печати! А мы знаем только 5 Мая и почитаем со студенчества лишь его. Стала вслушиваться. По радио – мужской голос «Понравилась статья в «Приамурских ведомостях об Эдди Рознере». И вдруг в эфир врывается торопливый голос радиослушательницы: «В Тихоокеанской звезде хорошо пишет Сергей Турбин – ведущая поправляет «Торбин» – да, да Сергей Торбин, только редко пишет. Конечно, несравненная Вера Побойная. А еще Екатерина Рудик, - тут я вздрогнула, вскочила с постели, – может, ослышалась, галлюцинация, да нет же: - Ее материалы о врачах...» Слово в слово не помню, но они были какие-то добрые, теплые. О Господи, кто-то читал, вспомнил, меня, старуху. Обхватив подушку, я зарыдала. Навзрыд – никто мне не мешал, в квартире пусто. «Жизнь кончается. Неужели и правда, не напрасно мучилась, теряла, страдала» - ой, не надо жалеть себя, недостойная слабость, хоть и без свидетелей. В комнату вломилась долматинка Сабрина, в недоумении помахивая хвостом, принялась облизывать лицо.

Что смеяться, я ведь тоже знаю цену случайному, ничего не значащему вниманию. Никто не придавал значения ни этой передаче, ни названным именам. Да и мое «пробуждение» из собственного людям преклонных лет автоматизма, «неистинного» существования, хватило на пять минут. Побеждала спонтанная реальность: никогда тебе не быть в приближении к газете, есть по-настоящему яркие долгосрочные журналисты, мои молодые кумиры Ольга Новак, Раиса Целобанова, Леонид Гапич и, конечно, Сергей Торбин – редчайший случай: главный редактор - пишущий, да так, что словам тесно, а мыслям просторно – высший класс журналистики. А тут критик из народа, незнакомая радиослушательница вспомнила журналиста давно выработавшего свой норматив. Но ей – низкий поклон. На пути в отчаяние, безысходность смягчающее жизнь слово побудило – не торопиться, еще потерпеть, продержаться хотя бы маленько на этой земле. На третьей планете от Солнца. «И отыметса и воздастса, только не ропщи».

«Сделал добро – выкинь в реку времени»

Решение покончить с журналистикой оставалось непоколебимым. А жизнь продолжается, и в ней почти форс-мажорные обстоятельства. Вот ко мне наведалась старинная подруга Лариса Глатко. Судьба ее складывалась на зависть: она врач, верный муж Эдик – инженер-электрик, ростом под два метра, оба доценты, преподаватели хабаровских вузов. Им трудоголикам, все обещало долгую востребованность и безбедную старость. Порядочные, неподкупные люди, с неизрасходованным научным потенциалом оказались «у признания не в чести». Оставшись без работы, они не сумели принять меры для улучшения жизни каким-то неосвоенным способом. И в миг сравнились с «новыми бедными», для кого горьковская фраза «Человек – это звучит гордо» превратилась в насмешку.

Но речь не о том. Лариса Николаевна просит, нельзя ли дать в газете объявление, довольно необычного свойства. 35 лет назад на протоке Бешеной ее муж Эдуард Васильевич спас десять ребятишек!!! И я вся – внимание.

Супруги Глатко были тогда молоды. Измученные защитой диссертаций, приехали на левый берег отдохнуть. Отыскали тихий живописный уголок. А на следующем катере прибыли с горном и барабаном пионеры лет 10-12. В вожатой Лариса узнала соседку по ул. Запарина, учительницу Эмму Григорьеву. Вожатая с «баббетой» на голове, хоть и была великовозрастной девицей, но у нее хватило ума посадить детишек на плоскодонку, валявшуюся на берегу, покататься по быстрой реке. Детских криков не слышали, но что-то дрогнуло в сердце, и Эдик отправился за безлюдный мысик взглянуть на «Бригантину» с детьми. Что же он увидел? Плывущую, перевернутую лодку и ни одного ребенка. Все они – под лодкой, уносимой быстрым течением, а глубина метра четыре. Опыт хорошего пловца, возвращенного в Приморье, и математический ум сработали мгновенно – за минуту и ни секундой больше он должен их всех вытащить из воды, иначе – гибель... Последней он ухватил за «баббетту» вожатую, которая так вцепилась в своего спасителя, что чуть не потопила.

А потом на берегу от пережитого потрясения началась массовая истерика ребятишек – зрелище непередаваемое. И здесь уже на помощь пришла врач Лариса Николаевна. Что же происходило дальше?

Вы предполагаете, что спасителю принесли благодарность? Ничуть ни бывало. Узнай в гороно о том, что десять детских жизней подвергались смертельной опасности, увольнений вплоть до школьного директора и громкого скандала не избежать. В годы советской цивилизации детей, видимо, заставили забыть о случившемся. Тогда же, встретив Эмму, Лариса поинтересовалась самочувствием спасенных. Но учительница со словами «Ничего не знаю» шарахнулась в сторону. Впрочем, и супруги Глатко забыли об этом эпизоде.

А нынче, будучи пенсионерами и приобретя недавно дачу близ пр. Бешеной, вспомнили. Начитавшись рекламных строчек «утерян тех паспорт, барсетка» - а здесь ведь жизни, решили обнародовать.

Для объявления - не тот случай, размышляла я, не поймут. Из этого драматического эпизода, представленного здесь в пулеметном изложении, можно сделать остросюжетный материал. Какой? Ну, вот куда денешься? Вмиг включается журвоображение: в толще мутной воды, как на замедленной пленке, под лодкой - детская схватка за жизнь, гибельно сопротивляющиеся неокрепшие тела, не хватает воздуха, судорожно ручонками цепляются друг за друга, и к ним, чудесным образом подплывает благородный, как капитан Немо, спаситель. Очнись. На смену картины смертельного сражения за глоток воздуха приходит реальность – все это было так давно. Зачем ворошить былое? «Понимаешь, Катя, - смущенно говорит подруга, - перебирали мы с Эдиком нашу прожитую жизнь. Что хорошего сделано? Наш век измерен, скоро уходить. А тем ребятишкам сейчас пятый десяток и, честное слово, хочется узнать, кого же мы спасли. Неужели не откликнутся? Ты напишешь?»

Не скрою, несмотря на внутренний запрет, искушение было велико. Исключительность эпизода давала простор для размышления: существует некий механизм предавать забвению святыне моменты в жизни. Сейчас, когда звучат персидские мотивы «купи-продай», стираются из

подсознания даже те, кто нам вчера протянул руку. Но какой газете это надо? Снова обивать пороги редакций? И я дипломатически процитировала подруге ею же избранный постулат, которому она следует в своих поступках: «сделал добро - выкинь в реку времени».

На уровне «мафии и моря»

Почтовый голубь – Любаша Вергель, замечая, что я охладела к ее сообщениям, перестала доставать меня. А однажды чуть ли не со слезами на глазах пошла в наступление: «Моему Ваньке чеченцы угрожают. Не знаю к кому обращаться». Как так? Ее Ванюшка светловолосый внук-первоклассник, добродушнейший ребенок. Оказывается, по соседству живут чеченцы, богато живут, имеют свои магазины, где торгуют золотыми украшениями. Дети играют в одном дворе, видимо, не поделили качели. И пятилетняя кнопка вместо привычного, детского «дурак» с недетской злостью, визжа, пообещала Ваньке: «вас, русских, стрелять будем, тебя - первого». Выскочившая на шум мамаша чеченской девочки, не разобравшись, уже кричала на весь двор о проклятых русских. «Нет, ты представляешь, на нашей земле живут, за наш счет обогащаются и нас же ненавидят». Конечно, не написала, лишь выслушала и по-обывательски повозмущалась. Но вот то, что я отмахнулась от еще не тронутой журналистами темы - агентства по недвижимости, простить себе не могу. Ведь известно, что со злом легче бороться, когда выставлены на солнышко его корни.

О рыночных отношениях с культом наживы, алчности, где крутятся сумасшедшие деньги, наслышаны вдосталь, но как бы не касательно к нам, низшему сословию. А тут самой пришлось окунуться в эти самые отношения.

Как бывает в каждой семье, приходит время – чада выросли, завели себе семьи, со стариками жить не хотят, надо разбегаться. И вот у меня наступил этот финальный момент: – пока взрослые дети снимают углы, неважно стало платить за квартиру. А на дверях подъезда – пачки объявлений агентств, предлагающих свои услуги.

Нас до смерти напугали, когда речь идет о купле-продаже жилья, обходиться без посредников. Друзья-ровесники, уже испытывшие эту процедуру, сразу предупредили, что риэлторы за пятьсот у.е. и разговаривать особо не станут, будут тянуть годами размен, предлагая бичевники и клоповники. Измученные от ожидания, узлов, коробок, собственники презентовали ретивым агентам, коль не получалось деньгами, гаражи, погреба, подержанные машины, хотя официально, по договору, услуги стоят 2100 рублей.

Действительно, еще вчера риэлторы бегали к своим клиентам пешими, а нынче все как на подбор на иномарках. И начальница одного из первых хабаровских агентств лет пять назад, когда обращалась сюда, была доступна и добродушна. Сейчас – и на коне не подъедешь, в приемной потребовали сообщить мотив визита и через пару дней назначили часы приема, предупредив «ни минутой позже» – растут люди. Вспомнив меня, предложила «лучшего» агента. И действительно, энергичная молодая женщина, обговорив со мной цену, и чаевые – тысяча долларов - сразу же нашла покупателя. Еще бы – огромная «сталинка», на красной линии города.

А дальше все происходило как в дурном сне: без подписанного мной договора об оказании услуг, без поручения, взяв у покупателя задаток, исчезла и только через месяц наконец-то показала квартиру бичей, в которой мне предстояло завершать свою старость. Но когда в прайс-листах отыскала свою квартиру, пределов изумления не было – за нее ретивая агентша выставили сумму на пять тысяч долларов больше оговоренной нами цены. Это что же получается, за наше жилье она положит на карман 192 тысячи рублей, а моему сыну светит - у нас три доли - комната с подселением на пятой площадке?

Пришлось искать другое агентство. На этом, однако, изгибы «дружеских» отношений не закончились. Когда пришла в БТИ оформлять техпаспорт, огорошили так, что холодок сковал мою плоть снизу доверху – «Ваша квартира продана», во всяком случае, техпаспорт на нее уже выдан, нового хозяина не назвали, коммерческая, мол, тайна, и предупредили: «Срочно идите в юстицию по недвижимости, ставьте квартиру под арест». Что я пережила в минуты, когда на полусогнутых с

ул. Яшина добиралась до ул. Дзержинского, - детей оставила без жилья, сама на старости лет с сумой пойду по чужим людям, как герои моих материалов, - у меня не было слов, одни выражения.

Оказывается, у этого агентства, чья звонкая реклама: «Большая компания! Большие возможности! Выгодно продать квартиру!» заполонила город, имеется договор с БТИ, согласно которому, и без участия собственника могут выдать техпаспорт кому попало на чужую жилплощадь. Вот где беспредел и журналистская тема. Серьезная тема, смею заверить, на уровне материалов Бориса Резника: «Мафия и море». Но локального, городского характера. Подобные агентства Хабаровска преобразились в рыночный невиданный мегаполис. Сотни агентов по вертикали и горизонтали пронизывают, прощупывают мощное недвижимое имущество нашего города, манипулируя им. Ежедневно свершаются десятки сделок. При этом в обход законов, в частные руки отсекаются налогонеоблагаемые суммы, такой барыш, что уму непостижимо. Эти коммерческие фирмы, пожалуй, единственные в городе, кто за услуги, оказываемые старикам, не сбрасывает ни гроша, а совсем наоборот - видят в совках, профанах лакомый объект для наживы.

«Муравьева Амурского – улица примирения»

Вспоминая пережитую эпопею купли-продажи, размышляю: есть грань, которую преступать не позволено, если считаешь себя человеком. В эти игры за чертой-гранью, где сатана, фетиш денег, ставших невероятной силой в обществе, старики, понятно, не играют. И не потому что «от смертинки – три пердинки», как говаривала Вера Побойная. Нам отмерено краткое время, не оказаться жертвами этих игр, думать о душе, экономить на всем и согласиться, что жизнь – процесс примирения.

Но как примириться, если такие мощные пассионарии, как Солженицын, бьют в набат, призывая к «сбережению русского народа», а представители власти, не желая слушать этот зов, опять навешивают сны золотые: «в 2003 году пенсии вырастут на 30 процентов, а инфляция составит лишь 15 процентов». – Вот заживем! Но лгут же. В январе на каждую душу преклонных лет добавили аж один доллар, победно прозвенев на весь честной мир и не соображая, что это ничто иное, как компромат на государство. А инфляция – такая ретивая лошадь - удержу нет. Не стану напоминать о зверских тарифах за квартплату, – нешуточная дрожь берет. Но вот малость - хлеб насущный «Амурский», полюбившийся старикам, за две недели дорожал трижды!

Если исходить из формулировки дедушки Маркса, что «Деньги – это отчужденная свобода», то в данном аспекте наши правители отчеканили у стариков свободу напрочь. В «Светлый», что напротив моих окон, с утра до вечера облепленный заморскими авто, редкий пенсионер зайдет. Наш удел – городской рынок, где обвесят, и диаматов наслушаешься, а еще спаситель - «Ветеран», но и там назревают знакомые по социализму очереди, а цены прыгают как в ознобе. Даже на родную левобережную дачу, если ты не инвалид, не попадешь, когда пожелается. А нынче вновь грозят повысить цены за проезд. Хотя и без того молодежь отказывается помогать старикам-дачникам, прикрывшись как щитом, убыточностью данного занятия.

О пенсионерских дачах – особый сказ. Наши хабаровские, так называемые «дачи» – добровольная зона труда до пота, до дрожи в коленках и сердечных приступов на фоне трелей соловья и шелеста дубравы. Нынешним летом 2003 года медики «скорой помощи» забили тревогу: вызовы на теплоходы к умирающим дачникам-старикам грозят побить рекорд среди экстренных домашних больных. Ситуацию усугубил многокилометровый, при сильно обмелевшем Амуре, тяжелый путь по песку, после которого даже моя, литой мускулатуры собака-долматин Сабрина валится в грядку бездыханной. Но мы, пенсионеры – из железа, стали и нежного сердца, любящего землю, ведь мы - земляне. И будто зомби, вопреки здравым экономическим расчетам, влекомы возможностью побыть на природе и страхом голодной зимы, набиваем карманы сердечными каплями, штурмуем теплоходы. А что будет осенью, когда как усталые «КАМАЗы», старики навьюченные рюкзаками, корзинами, телегами и тележками повезут свой груз домой. И я с тревогой думаю, как бы и мне, со своей язвенной болезнью, тыквами и баклажанами в этой шеренге дачных бурлаков не отдать Богу душу. Но хуже, если это произойдет, как у моей дачной соседки, в уединении, на грядках. Хорошо, что былолюдно – воскресный день, мы обнаружили ее лежащей у водоколонки, видно, из последних сил качала воду для полива. Таблетки не помогали и до

теплохода ее тащили по песку на телеге, на которой возят газовый баллон. Но не будем загадывать о плохом, ведь дача – отрада, кормилица. Однако подобный уик-энд стариков вряд ли сравним с дачным отдыхом владельцев замысловатых трехэтажных коттеджей.

Пишу и ловлю себя на мысли, что же это я качу бочку на тех, кто поспел и все съел. Однако исследователь нравов Оноре де Бальзак утверждал, что у истоков каждого крупного состояния лежит преступление, – честным путем капитал не сколотишь. Как ни крути, ни верти, но богатые и бедные суетятся на разных орбитах, а пропасть между кошельками уже так велика, что просто секир башка, конечно, бедняцкая. Наверное, не я одна чувствую, что мы разделены и наш Хабаровск превращается в многоэтажный дом контрастов: на верхних этажах провели евроремонт, вставили пластиковые стеклопакеты, а снизу сплошь замызганные «хрущевки» и между ними выстроили общие лестничные марши – роскошную улицу Муравьева Амурского. Улицу примирения – для совместного пользования. Но все старания обожаемого хабаровчанами губернатора, неутомимого энтузиаста В.И.Ишаева тщетны. Согласия, понимания между теми, кто обобрал с подачи московских реформаторов, и кто обобран, нет.

Когда мне невмочь, и я оказываюсь на этой сказочно обновленной улице, благородством линий, старинной кладкой, величием напоминающей Невский проспект, душевное смятение отступает, сменяясь на холодок восторженной мечты: в таком оазисе красоты может и должен жить человек! Однако надо возвращаться в свою подворотню, она рядышком, за углом с переполненными контейнерами, где копошатся бичи, отгоняя нищих чужаков – хабаровские помойки давно поделены между бичами. Такое открытие я сделала, когда при переезде каждое утро обходила ближайшие помойки в поиске пустых коробок для книг. Заподозрив, что появился конкурент на отбросы, ко мне подвалило трое бичей и стали качать права. Хорошо, что в то утро они не успели похмелиться, конфликт был улажен, и мы мирно побеседовали. У двоих из этой тройки было когда-то свое жилье, но все продано за бесценок и пропито с горя. У каждого свой путь в нищету, в бедность.

Мы, хронические пешеходы, конечно, уступаем дорогу «Крузерам», «Мерсам». А кто же тогда спер деньги за мою «Волгу», выкрав вклады из сбербанка? Уж точно, что грабители не сидят на нарах. Совсем наоборот – обрели лучшие марки автомобилей. Потерпевшим от грабежа подкидывают скудную подачку. К примеру, чтобы пожилые хабаровчане не заросли как Тарзан и Бара, которые одна пара – парикмахерские «Утренняя звезда» или «У Марины» это уж точно колыбельная песня по утраченному среднему благополучию, здесь обслуживают местных богачек, – соцзащита обеспечила точки для стрижки по дешевке – толпы в доме ветеранов на ул. Пушкина, как за докторской колбасой при социализме. Уставшая пожилая парикмахерша, не мудрствуя лукаво, стрижет всех под одну модель – Тарас Бульба. Быстро, за семь минут и вылетаешь (была перед Новым годом). Очередь движется весело, но мы, все подстриженные одинаково под кружок, как близнецы-бабушки. После одного такого посещения предпочитаю учебные парикмахерские, даже если случится один висок выше другого, зато есть элемент индивидуальности и доброжелательности.

Чего таить, запросы остались прежними, но коль оказались заложниками пустых карманов, вынуждены наступить на горло собственной песни и милых сердцу привычек. Из года в год приучились, подобно киногероям рязановского фильма, 31 декабря навещать баньку. Нынче, чуть свет, в преддверии 2003 года, по традиции собрала необходимую амуницию с веником во главе. В самой дешевой, старой бане, что близ «Энергомаша», с неизменными ржавыми тазиками и грибом на стенах, столпились знакомые любительницы пара – уже старушки, с вениками, омолаживающими кремами, целебными травками. У банной кассы шумят, галдят, считают рубли. Что случилось? Билеты на помывку подорожали в четыре раза. «Да это пять литров молока! Какое там молоко? – Десять буханок хлеба!» – кричат как на митинге. И разошлись мы, толпой прочь, кто куда, не омытые, без чистоты хотя бы телесной на встречу Нового года. Конец традициям. И в малой радости старикам отказано.

А каково тем, кто живет в частном секторе, без услуг, в Хабаровске таких пятая часть населения, и опять же в основном пожилые люди. Газетная тема? Пусть из вечных, хабаровских. Но уже не для меня. Я не отвечаю на вызов времени, остаюсь наблюдателем, но, поверьте, не холодным, все в душе вспыхивает, рука тянется к перу – люди добрые, как же так? И опускается.

К 145-летию Хабаровска торжественно открыли новую городскую баню. Вот где фурор был! Все СМИ ринулись освещать это славное событие. Без ехидства замечу – приятное событие. Между тем, вот что любопытно: прошло пять месяцев, как взметнулись цены на банные услуги, но на них

уже не купишь ни десять буханок хлеба, ни пять литров молока. Однако ни за какие коврижки бабка, живущая без услуг, не расщедрится аж на десятую часть пенсии за помывку, а дед предпочтет «Пять капель». Да и ваша нижайшая слуга, с «золотым» пенсионным дождем, которым осыпало нас государство, не позволит воспользоваться благами цивилизации. Навкалывавшись на любимой даче, куда пахучий навоз давно не возим машинами, а носим килограммами, прибежит, простите за откровенность, к известной методике омовения в домашних условиях (редкий летний месяц бывает горячая вода) – в собственной ванне на коленках из кастрюли ковшичком, тем самым позволит сэкономить три литра молока.

Когда же наступит окончательный финал этому удалому росту цен? Мартовские снижения их хоть на копейки в послевоенные годы – мы замирали, когда из тарелки репродуктора доносился голос диктора, знакомый по сообщениям о победах на фронтах, детвора кричала «Ура!», родители улыбались, добрели – воспринимались народом как оздоравливающие шаги, как свет в конце тоннеля. И вот уже 13 лет унылых реформ, а для рядового человека впереди ни одного огонька.

В 70-е, да и в последующие годы дурной практикой в газетных критических материалах считалась концовка «до каких пор», например, будут течь трубы, сдаваться объекты с недоделками и проч. проч., в зависимости от темы. Вопрошающее «До каких пор?», набившее оскомину, стало непозволительным штампом в уважающей себя газете. Но при поиске синонимов смысл на десятилетия оставался цветуще актуальным.

Сколько тревожных газетных страниц исписано о нынешнем поколении детей, которое ни в количественном, ни в качественном отношении не восполняет поколение родителей. А тяжеловесный воз и ныне там. Еще лет пять назад в таинственную глубь дымящегося сантехнического колодца, что на нашей площади Блюхера, лишь заглядывали любознательные пацаны. А нынче, и уже не первый год, колодец обжили младшие братишки и сестренки героев моего материала «Беспризорники» (1996 г.). Поутру вылезают чернущие от сажи с обмерзшими руками, осматриваются и идут к хлебному киоску просить милостыню.

В послевоенные годы мы, хабаровская ребятня, голодовали, ели картофельные очистки, кисель из жмыха, но милостыню никогда не просили. И возвращались только домой, к доброй, уставшей маме. Куда же нынче подевались заботливые мамы и что делать с нынешними обитателями колодцев? Вызывать милицию? Приезжают, и орава разбегается кто куда. «Восемь тысяч беспризорников! Их что, отстреливать?» – жестко вопрошают «Хабаровские вести» в одном из своих номеров. Достоверно знаю, что не восемь тысяч, а во много крат больше – за эти годы вряд ли успели разбогатеть родители 105 тысяч скудно обеспеченных детей, о чем взывали специалисты Хабаровского крайоно в 1996 году, составляя «Социальный паспорт в защиту несовершеннолетних». И с болью понимаю, что ни правоохранные органы, ни журналистские призывы ничегошеньки не могут поправить. Корни этой беды – в современной семье, вкусившей «самый тягостный вид бедности – нужду среди богатства». Не потому ли семья давно перестала быть малой церковью, где свой порядок, где икону заменила бутылка, спасая родителей от уныния, травмируя детскую душу и нагнетая градусы социальной напряженности.

Политологи говорят, что для зарождения нового сословия нужно как минимум десять лет, а для образования преступного мира – шесть месяцев. Живем, считай, в центре. На окнах, балконах металлические решетки уже и на четвертом этаже не спасают от домушников, насильников. Мораль с постулатом «не убий!» выглядит слишком экзотичной для нашего общественного климата, где каждодневная насильственная смерть уподобляется прогнозу погоды.

Вряд ли пошатнется плацдарм для «не убий!», если в высших правоохранных эшелонах власти, призванных защищать нас, первична показуха и психология страуса. В нашем подъезде, где проживает самый главный милиционер Дальнего Востока, человек почтенный, уважительно здоровающийся с нашим сирым братом, произошла серия квартирных грабежей. Пострадавшие, соседски обратились к генералу и его супруге, полковнику милиции, мол, помогите, на что звездные люди сказали, что в домашней обстановке заявления не принимают. В упрек сей факт поставить нельзя – элитные соседи очень занятые люди. А тут предновогодним вечером у почтовых ящиков свершился дерзкий налет. На шум отчаянной потасовки выскочили соседи. Налетчик с сумкой исчез. Жертва нападения вела себя странно: на наше «Что случилось?» пожелала оставаться неузнаваемой, подняла повыше воротник шубы и, держась за перила, тише побитой мышки пробиралась к своей железной двери. Потом услышали запоздалый лай знакомой овчарки. Догадались, но не поверили. Позже в «МД» прочитали о нападении бандита на супругу звездного

человека. В милицейских сводках этот случай не значился, нас, соседей, возможно, видевших чужака, никто не расспрашивал.

Как бы вела себя рядовая обывательница, у кого на родной лестничной площадке грабитель вырвал сумку с деньгами, документами? Да орала бы как резаная: «Помогите! Ловите!» А здесь – ни звука. Все мирно, благопристойно, будто букет цветов генеральше преподнесли, а не чернуший синяк под глазом, с которым она проходила все святки. Защищая престиж, мундир любимого мужа, да и свой собственный – чем не пожертвуешь.

«Ни ящик, ни книга – транквилизатор»

Мир, как заметил еще Галилей, совсем расшатался. Сбрэндил по-нашему. Каждый вечер решаю проблему снотворного: таблетка, чтение, или телевизор. По ящику подсовывают насилие, чернуху, с апелляцией к «телесному низу» по плотности греха близкие абсолюту – вырубаю. И давно утрачены золотые полчаса перед сном. Вместо прежней литературы, требующей властного «встань и иди», пришла иная. «Словесность русская больна, лежит в истерике она» - не о нашем ли времени писал Пушкин. В некогда любимой «Литературной газете» с тиражом 78 тыс.экз приглашают читателя вывозиться в дерьме, на полном серьезе цитируют стихи некоей Нины Искренко. «И не видно как в сверкающей в вышине летает сам собой гражданин охуевающий с распиздякой молодой». А известная критикесса Галкина вместо того чтобы возмутиться, зачем нужен мат в языке богоносного русского народа, подбадривает матерщиницу: «язык словесного куража насыщен сленгом, ненормативной лексикой, тем не менее сохраняет все качества «высокого стиха». Полный отпад, как говорит молодежь. И я принимаю транквилизатор.

Крушение гуманизма, психологическое перерождение идет буквально на глазах и очень заметно с моего пятачка жизни уже без блокнота. Года четыре назад, три дня продежурила в приемном отделении Дальмедцентра («Жертвы и спасатели»), и восхитилась врачебному подвигу в буднях, ведь привозят с подворотней в моче, г... - на пушечный выстрел не подойдешь, а его отмывают, чуть ли не молятся, чтоб задышал. И вот узнаю – «скорая» этой больницы вывезла двух полураздетых еще живых бичей замерзать на городскую свалку.

Не прошло и двух лет после публикации материала «Милосердие у последнего приюта», от которого отшатывались газеты, ибо в нем содержалась не опозтизированная реальность - каждый пятый хабаровчанин покидает сей мир всеми забытый, в нищете, без родных и близких, их некому, кроме санитаров хоронить. А местная статистика уже вносит драматическую поправку на значительное повышение данной категории ушедших. Что за этим стоит? Последние дни, а может годы величайшей ценности – жизни с ее светом, звуками, они, исстрадавшиеся горемыки, в одиночестве влачили жалкое существование – некого позвать, некому подать кружку воды, покаяться, сказать последнее «прости».

Дело дошло до того, что нынче, к хабаровскому моргу подкинули завернутое в байковое одеяло тело 55-летней женщины, без следов насильственной смерти. Первая версия – хоронить не на что. Так ли это? Правоохранительные органы, конечно, разберутся. Но в любом случае интонация времени пробуждает «тени, тени без конца».

Однако все может преобразоваться. Нам бы побольше таких людей, как мои героини Т.А.Пронь и О.М. Моруна, по сути, очень разные, уже немолодые женщины, но обе, словно природой закодированные одна - на заповедную доброту к незащищенным, слабым, другая, с ее науками о Земле - на поиск и воспитание талантливых детей, которые могли бы сохранить для хабаровчан чистый воздух, кристальную воду, и, не дожидаясь «завтра», неумолимо чистит хабаровские речки. Но и в них происходит некий слом. Как такое возможно, растерянно размышляет Моруна, вернувшаяся из Москвы, ее гениальные дети, которых пестует, из года в год при безденежье ухитряется возить на московские олимпиады по экологии, с неохотой идут в Третьяковку, музей Дарвина, предпочитая, бутылки и пиво «Три толстяка», которым залита столица.

Меняется модель поведения и Т.А.Пронь, конечно, от земных причин: сначала в Татьяну, бабахнули из газового пистолета («Шла женщина по улице») и ее полуслепую, зовущую на помощь, равнодушно обходили люди, потом обчистили квартиру, а соседи-старушки, за кем годами

ухаживала, и в свидетели отказались идти. Татьяна ожесточилась, вместо ухода за бабушками, бегала по вечерам на лекции, окончила юридический институт, и сейчас она правовед. Но фактуру в полном объеме для второго такого материала, как «Прикосновение к доброте», я вряд бы уже нашла. Готовность педагога к самоотреченности, интеллектуальному покровительству, как и обращение к человеку страдающему, неустроенному блокируется на всех мыслимых уровнях.

Мы - дети XX века. Любимые или нет, но в нем прошел главный виток жизни с нашей способностью необычайно интенсивно, концентрированно переживать не лучшие обстоятельства бытия и при этом создавать атмосферу высших интересов. Из нашего родного века уходим, так и не поняв его. Другого у нас не будет. Наступившее столетие не для нас. Оно станет близким для других поколений, с новой цивилизацией. Но это будет уже «другое небо и другая земля». А пока:

*И горд и наг пришел Разврат,
И перед ним сердца застыли,
За власть Отечество забыли,
За злато продал брата брат.
Рекли безумцы: нет Свободы,
И им поверили народы,
И безразлично в их речах,
Добро и зло, все стало тенью,
Все было предано презренью,
Как ветру предан дальний прах.*

А.С.Пушкин (1824 год)

Интернет-ресурс: екатерина-рудик.рф